МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

10-11

1939

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
ВСЕСОЮЗНОГО ЛЕНИНСКОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО
СОЮЗА МОЛОДЕЖИ

*Художественная литература, наука, искусство,
публицистика, критика*

ГОД ИЗДАНИЯ XVIII

ВЫХОДИТ ПОД РЕДАКЦИЕЙ Б. ЛАПИНА, В. ЛУГОВСКОГО,
Л. СОБОЛЕВА, И. ПАПАНИНА, Л. СЛАВИНА,
Б. ЧИРКОВА.

1939

КНИГА ДЕСЯТАЯ—ОДИННАДЦАТАЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

СОДЕРЖАНИЕ

В. М. МОЛОТОВ. XXII ГОДОВЩИНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. Доклад на торжественном заседании Московского Совета 6 ноября 1939 г. 5

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЛЕСЯ УКРАИНКА. ОДНО СЛОВО, поэма.—Перевод с украинского и вступительная заметка Маргариты Алигер 18

З. ФАЗИН. КРЕПОСТЬ НА ВОЛГЕ, повесть 26

СЕМЕН КИРСАНОВ. СТИХИ АНДРЕЯ ПРИХОДЬКО (Из «Поэмы поэтов»). Свет в детстве. Товарищу. Вечерние чтения. Тишина. Пространство. Земля. На войне. В Москве. Сказка о слепом. Ответ на сказку.—Предисловие автора 88

НИКОЛАЙ ВИРТА. КЛЕВЕТА, ИЛИ БЕЗУМНЫЕ ДНИ АНТОНА ИВАНОВИЧА, комедия 95

СТАРИННЫЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ. Песня о Бондаривне. «Коломыйки». Дума о братке-Игнатке. Кого полюбить? Морозенко. — Перевод с украинского Б. Лапина 140

ПИСАТЕЛИ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ. ВАСИЛИЙ СТЕФАНЫК — Новость. *МАРКО ЧЕРЕМШИНА* — Опозоренная. *ЛЕСЬ МАРТОВИЧ* — Войт. — Перевод с украинского и вступительная заметка И. Дюшена 145

ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ. ПАВИЛЬОН ГРУЗИИ. МИЧУРИНСКИЙ САД . . . 154

ОЧЕРКИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

[illegible] ИЗ ЛШТАРАКА 158

О. САВИЧ. В ПАРИЖЕ. 1. Вступление. 2. Идет дождь. 3. Старость величественна. 4. Сережки. 5. Цветы. 6. День Жана Дюпона. 7. Табурет. 8. Приемыш. 9. Забастовка туберкулезных 163

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

Б. КУЗНЕЦОВ. ПУТЕШЕСТВИЕ В 1960 ГОДУ 172

ФАКТЫ И ДОКУМЕНТЫ

КАК ЭТО ПРОИЗОШЛО?. Жизнеописания польских крестьян.—Перевод с польского и предисловие Е. Усиевич 188

ПУБЛИЦИСТИКА

А. ОСИПОВ. Об очерке «В одном колхозе» 211

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

В. МАНУЙЛОВ. *ЛЕРМОНТОВ И НАРОД* (К 125-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова) 215

Н. БОГОСЛОВСКИЙ. *ВЕЛИКИЙ РЕВОЛЮЦИОНЕР-ДЕМОКРАТ И ПРОСВЕТИТЕЛЬ* (К 50-летию со дня смерти Н. Г. Чернышевского) 221

А. КОЛОСКОВ. *ВЕЛИКАЯ СТРАСТЬ* 228

Е. КРЕКШИН. *МАЯКОВСКИЙ О ПОЛЬШЕ* 233

С. ЕВГЕНЬЕВ. *ПОЭТ-АГИТАТОР* (О книге Толена Шамшиева «Город Алатоу) 238

И. САЦ. *«ГОРНАЯ ДОРОГА»* (Сборник стихов И. Мухачева) 239

XXII ГОДОВЩИНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Доклад тов. В. М. Молотова на торжественном заседании Московского Совета 6 ноября 1939 г.

Товарищи! Годовщина Октябрьской Революции всегда давала и сегодня снова дает нам возможность отметить крупные успехи Советского Союза за пройденный период. Будто под счастливой звездой родилась Советская власть, если мы, советские люди, можем делать это в каждую годовщину Октябрьской Революции. Но вы, товарищи, согласитесь, что дело, конечно, не в какой-то «счастливой звезде» и совсем не в помощи небес большевикам, а в том, что со времени Октябрьской Революции народы нашей страны сбросили с себя власть буржуазии, освободились от гнетущих пут капитализма и потому стали способны на великие дела и на чудеса творчества новой жизни.

1. ПУТИ КАПИТАЛИЗМА И СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

Октябрьская Революция вырвала нашу страну из капиталистического общества, и с тех пор образовалось два мира: старый — мир капитализма, который охватывает все капиталистические страны и подвластные им колонии и полуколонии, и новый — мир социализма, рожденный Советской властью в нашей стране. Подгнивший и дряхлеющий капитализм смотрит уже назад и явно доживает свой век. Рожденный Октябрьской Революцией новый мир, набирая с каждым днем новые силы, все выше поднимает свою голову.

Капитализм живуч, хотя он находится уже не в полосе подъема, а в периоде своего упадка. Капитализм цепляется за все, чтобы продлить свое существование. Но что он несет народам капиталистических стран и на что он способен в наше время?

Капитализм, собравший и сконцентрировавший в руках узкой верхушки буржуазного общества огромные богатства, не дает и не может дать правильного пути использования этих богатств в интересах народных масс, в интересах трудящихся. Накопление этих богатств в руках немногих крупнейших капиталистов, банкиров и денежных королей порождает лишь бешеную конкуренцию и борьбу за власть в господствующих классах современного капиталистического общества как внутри этих

стран, так и между капиталистическими государствами. В верхушке такого общества, живущего погоней за новыми и новыми богатствами и не терпящего на этом пути никаких препятствий, могут существовать лишь волчьи правила жизни и общественной морали и полное пренебрежение ко всем и всяким интересам широких масс трудящегося населения.

Рабочим, крестьянам и широким слоям интеллигенции остается влачить свою долю полуголодного существования, существования забитых и подневольных людей без проблеска лучшей жизни при капитализме. Напротив, капитализм порождает все новые экономические кризисы, убийственную безработицу в городах, беспросветные голодовки в деревнях, увеличение тягот национального и колониального рабства для многих сотен миллионов людей и нескончаемые кровавые войны, без которых капитализм не может существовать. Недавно еще, в годы от 1929 до 1933, капиталистические страны пережили тягчайший мировой экономический кризис со всеми его бедствиями, безработицей и упадком материальной жизни народных масс города и деревни. Едва более или менее схлынул этот тягчайший кризис, как с 1937 года начался новый экономический кризис, захвативший ряд крупнейших капиталистических государств, вплоть до самых богатых из них, как Соединенные Штаты Америки, Англия, Франция.

Нужны ли еще доказательства, что накопление несметных богатств верхушкой капиталистического общества не дает никакого просвета к улучшению жизни народных масс. Нужны ли еще доказательства того, что внутренние дела в странах капитализма из рук вон плохи, что здесь естественно накопляется недовольство в эксплоатируемых и угнетенных массах и подготовляются непредотвратимые новые взрывы народного гнева против власти капитала. В разной форме, но во всех капиталистических странах это имеет место.

Чем больше мы узнаем о внутреннем положении и о внутренних противоречиях в странах капитализма, тем нам становится яснее, почему в последнее время буржуазные страны все больше ищут выход из создавшегося положения во внешних авантюрах, в захватах и ограблении чужих земель и колоний, в новых переделах мира путем войны. Даже самые богатые и, так сказать, ожиревшие от нахапанных богатств страны не находят в своих внутренних силах выхода из создавшегося положения, да они и не способны искать выхода, сколько-нибудь удовлетворяющего народные массы. Как видно, источник дальнейшего подъема внутренних сил современного капиталистического общества более или менее исчерпан и вообще подходит к концу. В этом следует видеть коренную причину новых внешних авантюр империалистических держав. В этом заключается действительный корень современных войн, число и размах которых растут на наших глазах.

В вышедшем в прошлом году известном курсе «Истории ВКП(б)» и в докладе тов. Сталина на XVIII партийном съезде была дана яркая картина второй империалистической войны, захватившей в последние годы ряд стран Европы и Азии. Как известно, с тех пор эта война не пошла на убыль, а, наоборот, значительно увеличила свой размах.

Что мы имеем к сегодняшнему дню?

На Востоке вот уже третий год идет война между Японией и Китаем. Это означает, что в войну втянута Япония с населением в 72 миллиона,

а также колонии Японии с населением в несколько десятков миллионов человек. Это означает также участие в этой войне Китая с населением в 450 миллионов человек. Таким образом, около 570 миллионов человек в той или иной мере втянуты в империалистическую войну в Азии. Эта война уже вызвала миллионы человеческих жертв, разорение многих городов и нескольких тысяч деревень Китая, причем так и не видно конца кровавым жертвам и громадным бедствиям.

В последние месяцы вспыхнула большая война и на Западе. В этой войне участвуют — с одной стороны, Англия и Франция, которые все больше втягивают в войну не только свое собственное население, но и население своих доминионов и колоний, — а, с другой стороны, — Германия, второе по величине государство Европы. Это означает, что войну на Западе, — если считать, что и колонии Англии и Франции в той или иной мере привлечены к участию в войне, — втянуто до 750 миллионов человек.

Получается, что на Западе и на Востоке, даже не считая колоний, втянуто в войну уже около 700 миллионов человек, а вместе с колониями это составит свыше 1.300 миллионов человек. Таким образом, больше половины населения земного шара, насчитывающего 2.120 миллионов человек, в той или иной степени уже втянуто в войну в Европе и Азии.

Таково главное, если можно так выразиться, «достижение», с которым капиталистический мир пришел к сегодняшнему дню.

Несмотря на это, нельзя сказать, что дальнейший размах войны уже приостановлен. Дело обстоит совсем напротив. Правда, вышла маленькая осечка. Сорвались кое-какие планы по расширению войны, например, путем втягивания в войну и Советского Союза. Мы, советские люди, еще раз во-время показали, что мы живем не чужим, а своим умом. (Аплодисменты. Голоса: «Правильно»).

Но, если говорить о капиталистическом мире, то сейчас идет напряженнейшая борьба воюющих держав за увеличение числа своих союзников, за привлечение на свою сторону нейтральных стран. Нельзя закрывать глаз на то, что втягивание в орбиту войны нейтралов проводится весьма активно и уже имеет известные результаты. Этим подготовляется дальнейшее расширение поля, охваченного войной. Известно, например, какие серьезные вопросы породило заключение пакта взаимопомощи Англии и Франции с Турцией. Развертывается борьба за втягивание в орбиту войны некоторых Балканских стран, отдельных стран Скандинавии, а также других государств. Если европейской войне суждено затянуться, — а правящие круги Англии и Франции делают все именно для этой затяжки и разжигания войны, чтобы использовать ее в интересах укрепления своего мирового господства и закрепления за собой своих многочисленных колоний, — то число нейтральных стран в Европе будет все уменьшаться, а число втянутых в империалистическую войну государств неизбежно будет все увеличиваться. Известно также, что для некоторых стран нейтралитет служит только маской для прикрытия поджигательства и расширения войны, от которой они надеются иметь высокие барыши за счет воюющих народов, за счет их горя, жертв и разорения.

Таким образом, пока не только не видно конца войны в Европе и Азии, но скорее, напротив, страсти вокруг этой войны все разгораются,

так как империалистические круги, как видно, окончательно разуверились в возможности улучшения своих внутренних дел и строят свои расчеты, главным образом, на новых империалистических захватах, на новом переделе мира в пользу наиболее сильных империалистических держав и на том, чтобы разгромить и снять со счетов своих конкурентов и всякие претензии на их колонии и колониальные богатства.

Следовательно, в теперешней войне заложены основания для новой, и уже всемирной, империалистической войны, если, конечно, рабочий класс согласится терпеть продолжение такой политики империалистических держав.

Сегодня мы стоим перед опасностью, что война в Европе, вместе с войной в Азии, превратится, — если этому не будет дан решительный отпор, — в новую, всемирную, кровавую бойню народов. Вот с чем пришел капиталистический мир к сегодняшнему дню.

С другими итогами встречает XXII годовщину Октябрьской Революции Советский Союз. Благодаря последовательному проведению своей мирной политики, СССР, как и раньше, пользуется благами мира, чтобы двигать еще успешнее вперед по пути подъема все отрасли хозяйственного и культурного строительства страны. В свете новых успехов социализма, с которыми Советский Союз пришел к сегодняшнему дню, беспросветный кризис капиталистического общества становится еще более очевидным.

Сравните положение дел в многонациональном Советском Союзе с тем, что произошло в Польше, вчера еще представлявшей собою многонациональное буржуазное государство, построенное на угнетении всех непольских национальностей. Созданное польскими помещиками и капиталистами государство обанкротилось вместе со всеми его руководителями. Буржуазная Польша развалилась, несмотря на обещанные ей «гарантии» некоторых великих держав, показав этим не только свою собственную слабость, но и кое-какое явное неблагополучие в политике определенных держав Европы. Но, если многонациональное Польское государство, построенное вопреки воле самого польского народа, на угнетении непольских национальностей, показало, при первом же испытании, свою слабость, непрочность и несостоятельность, то Советский Союз — многонациональное государство иного типа, — построенный на совершенно другой основе, а именно — на основе равноправия и дружбы всех его национальностей, — показал, наоборот, свою силу и несокрушимую прочность. В СССР обеспечена дружная жизнь всей семьи многочисленных советских народов и неуклонно крепнет морально-политическое единство советского, социалистического общества, что является залогом несокрушимой мощи нашего государства, построенного на основе великих принципов ленинско-сталинской национальной политики, на основе равноправия и братского союза наций, входящих в его состав. (Аплодисменты).

Внутренняя крепость, военная мощь и международный авторитет Советского Союза теперь дают себя знать все больше и больше. В результате этого, в связи с распадом Польского государства и успешными действиями нашей Красной Армии, Западная Украина с населением в 8 миллионов и Западная Белоруссия с населением почти в 5 миллионов теперь воссоединены с Советской Украиной и Советской Белоруссией.

(Бурные аплодисменты). Это—один из самых замечательных успехов нашей внешней политики за последнее время. Это к сегодняшнему дню — один из самых славных наших итогов, которым может гордиться Советский Союз, верный принципам своей миролюбивой внешней политики и пролетарского интернационализма. (Аплодисменты).

Советская Белоруссия увеличилась по своей территории и населению почти в два раза и сделалась государством с 10-миллионным населением, чего не имеют многие европейские государства. Отныне положен конец расщеплению белорусского народа. На всей территории белорусский народ объединен в одно целое, и можно теперь сказать, что Белоруссия полностью воссоединена. То же самое следует сказать и об украинском народе, который в течение многих веков был расколот на части и пережил долгое время тягчайшего национального гнета. Теперь и украинский народ на всей территории объединен в одно целое. Воплотились в жизнь заветные мечты лучших людей украинского народа, принесших делу своего национального освобождения неисчислимые жертвы. Наконец-то, пришло время сказать: отныне Украина воссоединена. (Аплодисменты). Надо думать, что Украина, со своими теперешними 39 миллионами жителей и быстрым ростом населения, в скором времени сможет догнать некоторые великие страны, хотя бы ту же Францию, с ее 42-миллионным населением. Выросли наши братские республики — Украина и Белоруссия, а наши братья из Западной Украины и Западной Белоруссии с громадной радостью и верой в свое будущее вступили в ряды советских граждан. (Продолжительные аплодисменты). Вырос, тем самым, и весь Советский Союз, продвинув свои границы значительно на Запад. Есть с чем поздравить Советский Союз к XXII годовщине Октября! (Бурные, долго не смолкающие аплодисменты).

Мы, разумеется, не должны забывать, что $^{9}/_{10}$ человечества все еще живет в рамках капиталистического общества, под господством капитализма. Советский Союз составляет меньше, чем $^{1}/_{10}$ населения земного шара. Но, как видите, капиталистическому миру пришлось в последнее время немного потесниться и отступить (веселое оживление в зале), а Советский Союз, с включением в него Западной Украины и Западной Белоруссии, вырос по своей территории, а также по количеству населения — примерно, на 13 миллионов человек. На этом основании мы имеем право поздравить народы Советского Союза с тем, что наша советская семья из 170 миллионов превратилась в 183 миллиона советских людей. (Бурные, продолжительные аплодисменты).

Итак, сравнение путей развития стран капитализма и Советского Союза говорит не в пользу капиталистического мира, а как раз наоборот.

Еще в начале первой империалистической войны, анализируя теперешнюю, высшую стадию капитализма, Ленин дал гениально-глубокую оценку современного капиталистического мира. Еще тогда Ленин сказал, что при всех своих достижениях в области материальной культуры и техники современный капитализм это — капитализм одряхлевший, паразитический, гниющий на корню. С тех пор прошло, примерно, четверть века и данный Лениным марксистский анализ капитализма получил бесчисленное количество подтверждений практического и научно-теоретиче-

ского характера. С тех пор обнажились многие зияющие трещины и зловонные гнойники во всем организме капиталистического общества, не говоря уже о том, что Октябрьская Социалистическая Революция практически поставила вопрос об окончательном сломе всей капиталистической системы.

Теперь все говорит за то, что внутренние силы капиталистического общества настолько подточены процессами гниения капитализма, что без войны, без новых и новых внешних империалистических авантюр капитализм не может больше существовать. Подавляющей массе населения капиталистических стран, рабочим, крестьянам, широким слоям интеллигенции капитализм уже не может обеспечить сколько-нибудь сносного и устойчивого положения, несмотря на все огромные богатства, скопившиеся в руках верхушки господствующих классов. Чем больше размеры этих богатств, тем яростнее стремления империалистов к мировому господству и тем непримиримее они в отношении своих конкурентов, с которыми готовы покончить любой ценой за счет своего народа и других народов, но только не уступкой по части своего мирового господства.

Поэтому давно уже забыты прежние речи лидеров буржуазии о том, что первая всемирная империалистическая война будет, вместе с тем, последней войной. Напротив, лидеры современных капиталистических государств, особенно наиболее могущественных из них, и их подпевалы из группы Блюма и Эттли ищут улучшения своих дел и выхода из своих внутренних затруднений в новой империалистической войне. Преступность современной войны лежит на их ответственности, на ответственности тех, кто затягивает и разжигает теперешнюю войну, на ответственности тех, кто не перестает заниматься преступным одурачиванием широких масс, что будто-бы все это делается во имя защиты демократии. Отсюда следует сделать вывод, что от современных заправил капиталистического общества и их «социалистических» приказчиков нельзя ждать добровольного отказа от войны, от ее разжигания и расширения, а, наоборот, можно ждать скорее всего — превращения теперешней войны в Европе и Азии в новую всемирную кровавую бойню народов ради сохранения и укрепления мирового господства заинтересованных империалистических держав.

Всему этому противостоит Советский Союз с его политикой мира, с его горячим стремлением обеспечить скорейшее окончание войны. Из этого видно, что миролюбивая внешняя политика Советского Союза не только отвечает коренным интересам народов нашей страны и интересам союзных нам государств, но и интересам всего человечества, если на самом деле иметь в виду действительно народные массы других государств, а не господствующие кучки заправил империалистических держав. Это означает, что всемерный рост внутренних сил Советского Союза и укрепление его международного авторитета является не только нашим священным долгом, священным долгом всех советских людей, но и отвечает глубоким интересам всех народов, жаждущих мира и скорейшего окончания войны.

Вот почему великие имена — имя Ленина, отца Советского Союза, и имя Сталина, вождя народов СССР (бурные, долго не смолкающие аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают), произносятся с такой любовью и верой в будущее не только в нашей стране, но и далеко-далеко за пределами Советского Союза.

Имена Ленина и Сталина рождают светлые надежды во всех уголках мира и гремят, как призыв к борьбе за мир и счастье народов, к борьбе за полное освобождение от капитализма. (Продолжительные аплодисменты).

2. РОСТ ВНУТРЕННИХ СИЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Во всем теперь сказывается рост внутренних сил Советского Союза, — в нашем хозяйственном строительстве, в развитии культуры советских народов, в возросшей мощи обороны страны, во всей нашей политике и ее успехах.

В экономической области нами выдвинута программа, осуществление которой означает, что за короткие 10—15 лет мы сможем догнать и перегнать наиболее развитые капиталистические страны также и в экономическом отношении. Этим сказано, что наша страна, несмотря на все успехи и достигнутый громадный подъем технического уровня промышленного производства и транспорта, в экономическом отношении еще стоит позади некоторых капиталистических государств. Но этим сказано также всем нам, советским людям, всем рабочим, крестьянам и интеллигенции Советского Союза, что еще сильнее должны зажечься чувства советского патриотизма в наших сердцах, чтобы не только решить, но и всемерно ускорить решение этой основной экономической задачи СССР.

Сегодня мы можем подвести некоторые итоги развития народного хозяйства за последний год или, точнее говоря, за 10 месяцев 1939 года.

Соответствующие данные, при сравнении с прошлым годом, показывают, что наша промышленность, взятая в целом, дает рост на 14,4 процента, а непосредственно крупная промышленность дает рост на 15 процентов. Это значит, что темп подъема нашей промышленности в этом году выше темпа подъема прошлого года, когда промышленность дала также не малый рост, а именно — на 12 процентов. Это значит также, что темп подъема нашей промышленности не только идет на уровне заданий третьей пятилетки, по которой средне-годовой прирост определен в 14 процентов, но и превышает это задание. Выделяется своим ростом продукция машиностроительных и оборонных предприятий. Здесь увеличение достигает 29 процентов. Что же касается непосредственно оборонной промышленности, которая росла усиленными темпами и в прошлые годы, то здесь мы имеем в соответствии с возросшими нуждами нашей обороны еще большее увеличение, а именно, — скажу уж вам по секрету, — на все 45 процентов. (Оживление в зале. Аплодисменты).

Можно сказать, что наша промышленность выполняет свои задачи в основном успешно. Это не снимает, однако, с нас ответственности за совершенно недопустимое отставание таких важнейших отраслей, как металлургия и топливо. Мы бы хотели, конечно, большего роста и нашей легкой промышленности, хотя мы хорошо знаем, что и теперь мы все еще должны отдать безусловное предпочтение нуждам укрепления обороны страны и ее индустриальной мощи. Однако, наша легкая, включая текстильную, промышленность, должно быть, успешно справится с выполнением установленного для нее годового плана.

Дальше, следует отметить наши достижения в области подъема про-

изводительности труда в крупной промышленности. Проведение известных мер по укреплению трудовой дисциплины и по приближению руководства промышленностью к самим предприятиям дали уже свои положительные результаты. Если в прошлом году мы имели увеличение производительности труда в промышленности на 11 процентов, то в этом году у нас имеется увеличение производительности труда с превышением установленного плана, а именно — на 17 процентов. Это означает, что значительно увеличенный, против прошлого года, объем промышленного производства мы сумели выполнить с тем же, и даже с несколько меньшим, составом рабочих, что при недостатке рабочих кадров в нашей стране имеет весьма положительное значение.

В области сельского хозяйства за последний год был принят ряд существенных мероприятий по колхозному строительству. Достаточно указать на такие решения партии и правительства, как постановление о мерах охраны общественных земель колхозов от разбазаривания, мероприятия по укреплению трудовой дисциплины в колхозах и весьма важные мероприятия по подъему общественного животноводства в колхозах. Все эти мероприятия проникнуты одной основной мыслью: устранить мелко-буржуазные извращения в практике колхозного строительства, в результате которых частные интересы колхозников зачастую выступают впереди общественных интересов колхозного хозяйства.

Результаты этих мероприятий на лицо. Несмотря на некоторые неблагоприятные климатические условия, мы добились в этом году новых существенных успехов в сельском хозяйстве. Так, сбор по зерновым достиг 6,5 миллиарда пудов, что на 11 процентов превышает сбор прошлого года. По хлопку-сырцу мы имеем дальнейшее увеличение продукции на 5 процентов, по льну — на 16 процентов, по сахарной свекле — на 26 процентов, по картофелю же это увеличение достигает 60 процентов против прошлого года. Идет также неуклонный рост, можно сказать, по всем видам животноводства. Хлебозаготовки в этом году также дали увеличение против прошлого года.

Скажу еще несколько слов о Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, тем более, что в будущем году она будет иметь свое продолжение. Выставку посетили почти три с половиной миллиона человек. Ознакомление колхозников и вообще населения с выдающимися достижениями нашего сельского хозяйства будет иметь большое значение для дальнейшего подъема творческой инициативы передовых колхозников и вообще для подъема колхозного хозяйства. Выставка дала возможность многим тысячам колхозников ознакомиться с многочисленными выдающимися достижениями колхозов и колхозников, имеющими нередко мировое значение. Так, звенья т.т. Ефремова и Чуманова в Алтайском крае послужили толчком к целому движению в колхозах за урожай в 400—500 пудов пшеницы с одного гектара. Причем, выставка широко разнесла по всей стране не только то, что колхозник Чуманов получил урожай пшеницы в 512 пудов с гектара, а колхозница Ковбаса — 510 пудов пшеницы с одного гектара, но и такой факт, как достижение в этом году колхозницей Сергеевой 607 пудов пшеницы с одного гектара. Широко популяризированы выставкой и такие достижения, как урожайность, достигнутая звеном колхозницы-азербайджанки Алиевой, в 151 центнер хлопка с гектара или урожайность, достигнутая в Узбекистане звеном

колхозника Худоева, в 125 центнеров хлопка с гектара. Как видите, мировой американский рекорд урожая хлопка в 60 центнеров с гектара перекрыт в Советском Союзе в несколько раз. Широко по колхозам разнеслись теперь вести и о многих замечательных достижениях колхозов в области животноводства.

На выставке был проведен ряд мер для того, чтобы широко популяризировать лучшие образцы работы в нашем сельском хозяйстве и содействовать этим перенесению опыта лучших колхозов, колхозников и колхозниц в новые районы и в новые отрасли сельского хозяйства. Но надо признать, что сельскохозяйственная выставка может сделать гораздо больше, чем она уже сделала для развития соревнования между колхозами, между районами, между областями и республиками и что она должна многое сделать в дальнейшем, чтобы обеспечить еще более быстрый подъем колхозного и совхозного хозяйства.

В области подъема культуры народов Советского Союза мы сделали за последний год новый крупный шаг вперед. Об этом говорит рост наших школ и библиотек, неуклонный рост нашей печати, театров, кино и других видов искусства. На наших глазах идет не только подъем национальных культур, но и сближение этих культур между собою. Всё новые декады показа национального искусства в Москве, свидетельствующие о больших достижениях наших республик и вызывающие большой интерес в нашей столице, наглядно свидетельствуют об этом. Об этом же свидетельствуют и такие факты, что к всенародному празднованию юбилеев таких великих людей, как русский поэт Пушкин и украинский поэт Шевченко, присоединяются новые прославленные имена национальных поэтов и легендарных героев других народов нашей страны. Поэтому гениальные творения грузинского поэта Шота Руставели и армянского эпоса о народном герое Давиде Сасунском становятся достоянием всех народов Советского Союза и пользуются огромными симпатиями в среде всех культурных советских людей.

Надо признать, что социалистическая культура сделала уже в нашей стране немалые успехи. Глубоко революционный характер этой новой культуры не означает отрицания культурных достижений прошлого, не означает отказа от культурного наследства народов. Напротив, все действительные достижения культуры народов, как бы они далеко не уходили в прошлое, высоко ценятся в социалистическом государстве и встают теперь перед своим народом и перед народами всего Советского Союза возрожденными, в своем действительном идейном блеске. Большевики не из числа людей, не помнящих родства с своим народом. Мы, большевики, вышли из самой гущи народа, ценим и любим славные дела истории своего народа, как и всех других народов. Мы хорошо знаем, что настоящий прогресс, который возможен только на базе социализма, должен опираться на всю историю народов и на все их достижения в прошлых веках, должен раскрыть подлинный смысл истории жизни народов, чтобы полностью обеспечить славное будущее своего народа и, вместе с тем, светлое будущее всех народов. (Бурные аплодисменты).

Самое важное в достижениях Советского Союза к сегодняшнему дню заключается в том, что у нас, по всей стране, у всех советских народов выросли кадры новых, сознательных советских людей, которые ведут за собой миллионы и десятки миллионов. Эти люди по-новому, не

так, как это встречается на каждом шагу в капиталистическом обществе, и не так, как это было еще недавно в нашей стране, а действительно по-новому, по-социалистически относятся к своему труду и к своим обязанностям перед государством. Это не значит, что в нашей советской среде нет отсталых людей. Нет, их еще немало. Больше того, нельзя не признать, что общественно-культурный уровень широких слоев еще поднялся совершенно недостаточно, если судить с точки зрения перспектив коммунизма. Но наши люди, люди советской страны, прошли уже 22 года Октябрьской Социалистической Революции, у них уже, в известной мере, выросли новые представления об отношениях между людьми и новые взгляды на обязанности перед народом и социалистическим государством, которые в корне отличаются от представления людей, пропитанных буржуазными предрассудками капиталистического общества. Именно эти-то новые люди и задают тон в нашей стране, вплоть до заводов, фабрик и колхозов.

Вы знаете, что лучшими представителями этих новых людей в рабочем классе являются стахановцы и стахановки, действительно ломающие старые, низкие нормы производительности труда и дающие замечательные образцы высоко-производительного социалистического труда. Число таких стахановцев растет, что, в свою очередь, является хорошим показателем повышения культурно-технического уровня рабочего класса. Их ряды сейчас пополняют инициаторы многостаночной работы, которые перешли с работы на одном станке к работе на нескольких станках, не только не понизив, а даже повысив производительность каждого станка в отдельности. К их числу следует отнести и инициаторов проведения совместительства профессий, а также выдвинувшихся из среды советских женщин инициаторов в деле освоения некоторых новых для женщин профессий и производств. Широко распространенная в нашей промышленности новая техника и наличие возросшего производственного опыта и знаний в широкой среде рабочих и работниц позволяют надеяться, что эти новые формы стахановского движения будут успешно развиваться и дальше. Это двинет вперед производительность труда, ослабит недостаток в квалифицированных производственных кадрах и, вместе с тем будет способствовать дальнейшему подъему культурно-технического уровня рабочего класса и сближению его с уровнем работников инженерно-технического труда. Стахановское движение, во всех формах его роста, является показателем того, что новые, воспитанные Советской властью люди, приобрели большой вес в Советском Союзе и имеется широкое и все растущее стремление в массах равняться по этим передовым людям нашей страны.

У нас растет стахановское движение, и новое социалистически-сознательное отношение к труду захватывает все более широкие массы рабочего класса и колхозной деревни, делая особенные успехи там, где имеются достойные руководители дела.

У нас все прочнее становится среди молодежи, и даже просто среди детей, новое отношение к учебе, проникнутое искренним стремлением к знаниям и, вместе с тем, глубоким стремлением стать действительно полезными гражданами своего государства, своего народа. Каждый настоящий руководитель, учитель, воспитатель знает об этом и находит в этом величайшее удовлетворение.

У нас велика тяга к культуре, к искусству и к различным формам об-

щественной жизни в самых широких массах трудящихся города и деревни. Нам бы только научиться шире и лучше удовлетворять эти растущие запросы и тягу народных масс к культуре и к новой, светлой жизни.

У нас заложены надежные основы советского патриотизма, которым славится наша Красная Армия и чувствами которого так широко охвачены народы Советского Союза. Этот советский патриотизм взял свое у берегов Хасана и на монголо-манчжурской границе. Духом высокого советского патриотизма проникнут был поход нашей Красной Армии в Западную Украину и Западную Белоруссию, когда наша Красная пехота делала переходы по 60—70 километров в сутки. Мы знаем высокие качества советского патриотизма, мы знаем, что, когда наши бойцы самоотверженно, как герои, бросались в бой на врага с возгласами: «за родину!», «за Сталина!», то все мы, воспитанные партией Ленина—Сталина, и народы всего Советского Союза видели в этом, что для советских патриотов родина и коммунизм соединены в одно нераздельное целое. (Шумные аплодисменты).

Все это и означает, что Советский Союз — это не только мощная передовая индустрия, с ее быстрым и неуклонным большевистским подъемом, и не только созданные советской властью колхозы, представляющие высшую форму организации крестьянского хозяйства,— но это, прежде и раньше всего миллионы и десятки миллионов советских людей, новых людей на земном шаре, проникнутых социалистически-сознательным отношением к труду и учебе, вдохновляемых советским патриотизмом на славные дела для своего народа и для общего дела народов всего мира. (Аплодисменты). Для коммунистического воспитания советских людей сделано уже немало. Но это только начало работы. Мы и теперь одной из главных задач нашей внутренней политики должны признать задачу коммунистического воспитания рабочих, крестьян, служащих и всей нашей интеллигенции. Помогая во всем передовым людям нашей страны и высоко возносия имена самоотверженных героев социализма, мы должны особенно заботиться об отсталых и отстающих — о тех, кто особенно нуждается в большевистском руководстве. Вместе с тем, мы должны во многом усилить нашу заботу по выращиванию кадров своей, советской интеллигенции, никому не уступающей по своему культурному уровню и до конца преданной народу и социалистическому государству. (Аплодисменты). Нечего уже и говорить о том, что забывать в области внутренней политики о врагах народа или давать им какое-либо послабление — значит, совершать преступление против своего народа, против своей родины.

На очереди новые выборы в советы трудящихся. О размахе этой избирательной кампании свидетельствует тот факт, что по всему Советскому Союзу в сельские, районные, городские и областные советы должно быть выбрано 1 миллион 300 тысяч депутатов. Число этих депутатов превышает, как видите, число жителей некоторых малых европейских государств. (Смех). На этих выборах мы должны еще больше закрепить блок коммунистов и беспартийных. Мы не только не будем жалеть, но будем приветствовать, если выборы проведут чистку советского аппарата от негодных и бюрократически-испортившихся элементов. На то и новые выборы, чтобы провести хорошую работу по очистке наших органов от всякой бюрократической плесени. Для этого, меж-

ду прочим, и нужно всячески укрепить блок коммунистов и беспартийных.

Вместе с тем, у нас есть полная уверенность в том, что новые выборы в советы трудящихся будут новой мощной демонстрацией несокрушимого морально-политического единства советского общества, сплоченного вокруг нашей партии и правительства. (Аплодисменты). На этих выборах должны занять главное место вопросы повседневной жизни трудящихся и улучшения работы местных советов. Это, конечно, правильно. Но правильно также и то, что эти выборы во многом помогут поднять всю нашу политическую работу и сделать еще понятнее широким массам не только внутреннюю, но и внешнюю политику Советского Союза.

Мне нет нужды особо останавливаться сегодня на внешней политике Советского правительства. Все основное сказано недавно в Верховном Совете и вам хорошо известно. Но все же полезно напомнить о некоторых событиях и о полученных нами уроках, в связи с имевшейся в нашей среде недооценкой опасностей, связанных с существованием Советского Союза в условиях внешнего капиталистического окружения.

Разбитые ныне враги народа, из числа всех этих троцкистско-бухаринских агентов иностранных разведок, как известно, делали из факта капиталистического окружения свои предательские выводы. Они шли на распродажу Советского Союза, на отделение в пользу капиталистических держав и Приморья, и Украины, и Закавказья, равно как Средней Азии и Белоруссии. Этим преступлениям против народов Советского Союза не суждено было совершиться, потому что народы Советского Союза крепко верят в свое дело, потому что жива наша большевистская партия, потому что наш корабль ведет тов. Сталин. (Бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают). Несмотря на все происки врагов, внутренних и внешних, их преступные планы провалились и покрыли позором их головы. Советский Союз остался непоколебим, еще больше окреп и, как вы видите, шагнул вперед, расширил советскую территорию, а наша страна стала еще грознее для врагов и еще роднее для советских народов и всех их искренних друзей во всем мире. (Продолжительные аплодисменты).

Мы по праву гордимся успехами нашей внутренней политики, но мы с удовлетворением говорим и о крупных успехах нашей внешней политики.

Капиталистический мир начинает все больше узнавать, что СССР — не то, чем им хотелось бы его видеть. Им хотелось бы видеть нашу страну слабой, податливой на нажимы извне, а на деле получается наоборот (аплодисменты), ибо Советский Союз был и остается крепко сплоченным, могучим и несокрушимым. (Аплодисменты). И это потому, что мы все эти годы неустанно заботились о безопасности нашего государства, о крепости нашей обороны. Это стоило немалых материальных жертв, но зато мы обеспечили мир народам Советского Союза. (Бурные аплодисменты).

Мы не можем знать, с какими внешними испытаниями нам еще придется встретиться. Но одно мы хорошо знаем: нужно не ослаблять, а

еще больше и еще настойчивее крепить мощь обороны нашего государства. (Аплодисменты).

Большевистская политика обеспечила Советскому Союзу громадный рост внутренних сил, и теперь нашей стране не страшны больше никакие внешние испытания. (Аплодисменты). Могучий источник внутренних сил Советского Союза неиссякаем, и с каждым годом нашим врагам все серьезнее приходится считаться с этим бесспорным историческим фактом. (Аплодисменты). И все же мы знаем, что лучшей внешней политикой Советского Союза является наша испытанная политика мира, обеспечившая уже нам не малые успехи.

Эту внутреннюю и внешнюю политику мы должны проводить неуклонным образом и дальше. В этом мы видим волю народов Советского Союза, вдохновляемых великой партией Ленина—Сталина.

Мы вступаем в двадцать третий год Октябрьской социалистической революции. Мы пойдем вперед той же верной, испытанной ленинской дорогой, как шли все эти годы. Это тот путь, который ведет нас к окончательной победе Советской власти.

Да здравствует наша Октябрьская Социалистическая Революция! (Бурные аплодисменты).

Да здравствует рабочий класс, колхозное крестьянство, социалистическая интеллигенция Советского Союза! (Аплодисменты).

Да здравствует наша мощная оборона и ее несокрушимая сила — наша Красная Армия, наш Военно-Морской Флот! (Аплодисменты).

Да здравствует великое непобедимое знамя Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина! (Бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают).

Да здравствует ленинизм! (Аплодисменты).

Да здравствует партия большевиков и да живет многие годы наш Сталин! (Бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают. Оркестр исполняет «Интернационал». В зале раздаются возгласы в честь товарища Сталина).

Леся Украинка

Перевод с украинского Маргариты Алигер

ОДНО СЛОВО

Поэма

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Леся Украинка начала свою литературную деятельность в середине 80-х годов прошлого столетия.

В ту пору культура украинского народа находилась под двойным ярмом социального и национального угнетения, и в литературе господствовала идеология мелкобуржуазного и буржуазного народничества, проповедывались узкая националистическая ограниченность, смирение и покорность. Это была литература эпигонская, в худшем смысле этого слова, заменившая бессмертные песни великого Шевченко слащавой псевдонародностью, грозный гнев его — жалким нытьем.

Совсем иначе выступила поэтесса Леся Украинка. Она обогатила культуру своего народа, показала все огромные, неограниченные возможности его поэтического языка, расширила узкий круг тем, свойственный ее современникам. Где бы ни разворачивалось действие, в какое бы время ни жили ее герои, Украинка воспевала сильного человека, человека-борца, сражающегося за счастье и свободу своего народа, в неразрывной связи с ним.

Поэма «Одно слово» ведется от лица охотника, жителя далекого глухого севера. Он рассказывает о странном человеке, о политическом ссыльном, одном из первых борцов за свободу, который умирает оттого, что у нищего, угнетенного народа, живущего в тундре, даже и слова «свобода» нет в словаре. Какая жажда свободы, тоска по ней слышится в этой поэме! А ведь она написана в первые годы двадцатого века, на Украине, когда всякое вольное слово преследовалось цензурой и полицией.

Большим и сильным человеком, смелым и честным художником должен был быть автор таких произведений!

Мне, советскому поэту, близка и понятна Леся Украинка, я с радостью перевожу ее на мой родной язык. Особенно с большой любовью знакомлю я читателей с ней в те исторические дни, когда, наконец, красными войсками, волей советского народа, освобождена Западная Украина, о судьбе которой Украинка много писала, думала и горевала.

Я не сомневаюсь, что скоро советским поэтам удастся познакомить советских читателей с новыми большими поэтами Западной Украины, которые будут петь на своем родном, милом нашему сердцу, прекрасном украинском языке о счастье освобожденной родины.

М. Алигер

Их было трое тут, чужих людей;
теперь уж нет их. Первый умер, сразу,
едва приехал. Был он очень слаб,
совсем как девушка. Дышал огнем
и ничего не ел он, кроме снега.
И потому и умер.
А другой
от нас уехал далеко куда-то,
не то домой, не то еще подальше.
Мы толком и не поняли куда.

А третий с нами долго оставался.
Он жил один.
Бывало мы к нему
захаживали в гости. Я ходил,
мой сын ходил, соседи все ходили.
Едва зайдем, он говорит:
«Садитесь»,
(по-нашему, как надо, научился
и этому и всем другим словам).
И мы садились, он давал нам чаю,
пускал к огню. И все, что мы просили,
всегда давал нам, если только было.
Делился с нами. Ну и мы сидели;
он в книжку смотрит, мы ему в лицо.
И долго так, пока не станет скучно.

Но спать он нас ни разу не оставил,
все говорил: «Иди, а я останусь
один». И нам показывает палец,
что, дескать, хочет он побыть один, как палец
А если мы не шли, то брал за плечи
и осторожно выводил за двери.
Но никогда не дрался. Иногда
ногами топал, злился и кричал
по-своему, но мы не понимали,
не разбирали, почему он злой.

Но все-таки чужой был очень добрый,
не то, что наш тойон [1], и говорили,

---

[1] Тойоном называли всякого начальника на Крайнем севере.

не потому ль он добрый, что дурной.
Но то неправда. Он был очень умный,
он понимал, о чем толкуют книжки,
и знал, откуда выбегает речка,
куда она бежит. Он знал болезни,
кто выживет и кто умрет, он знал.
Он много знал, дурной того не знает.
Он был разумный. Дома у него,
наверно, все разумные такие.
Мы спрашивали у него об этом,
но только он ответить не сумел,
а может, не хотел. И улыбался.
Потом он научился нашим песням;
бывало, нарисует что-то в книжке
карандашом, потом глядит в нее
и все поет, как мы когда-то пели.
А вот капканы ставить, невода
забрасывать никак не научился.
Мороза он боялся. Редко-редко
он выбирался из дому в мороз.
Зато, когда на небе подымалось
сияние, он выходил всегда,
в любой мороз, и все глядел на небо.
В их стороне такого не бывает,
в их стороне зимою то же солнце,
в их стороне растет такое что-то,
о чем у нас не ведают. У них
такое есть, о чем мы и не знаем.
Он нам хотел про это рассказать,
«чужой», да у него не получилось.
Он слов не мог похожих отыскать
средь наших слов. И только улыбался
И он нам говорил свои слова.
Я помнил их тогда, теперь забыл.
Я молод был тогда, теперь я стар.
Как много лет... Чужой был тоже молод,
а с бородой. Когда он заболел,
то выросла она ему по пояс,
как будто в сказке. Нет у нас таких.
Он заболел, но ел и пил и спал,
как все здоровые. И говорил: «Не больно,
нигде не больно». Только похудел,
и все лежал, лежал, глядел на стену,
ни с кем не говорил и прогонял,
бывало, прочь соседей любопытных.
Потом однажды к нам он сам пришел,
подсел к огню, рассказывал и пел
по-своему, про то, что мы не знаем.
Мы слушали его и задремали.
Проснулись, смотрим: он сидит и плачет.
Мы спрашиваем: «Кто тебя обидел?»

Он говорит: «Никто». И встал и вышел,
и больше к нам уже не приходил.

А мы ходили часто до «чужого»,
Он все лежал, но был не злой и тихий.
И никого не прогонял, но часто,
бывало, он и плакал и смеялся,
и все хотел какое-то там слово
так рассказать, чтоб стало нам понятно
Он говорил, что, если он расскажет,
а мы поймем, то сразу станет легче
его болезнь. А мы не понимали.
Мы никогда не видели такого.

Он говорил, что, если б это слово
кто-дал ему, то он бы стал здоровым
Мы спрашивали, что это: трава?
Еда? Одежда? Птица или зверь?
Он головой качал и улыбался,
а по щекам текли большие слезы.

Однажды мой отец его спросил:
«Когда б тут был отец твой или мать,
твой брат, или сестра, или жена,
наверно, ты бы сразу стал здоровым?
Наверно, их тебе и нехватает,
и все они зовутся этим словом
по-вашему?»
Задумался чужой
и головою помотал и молвил:
«Нет, с ними было бы еще труднее.
Я больше бы томился и страдал бы,
когда б они со мною в этой пуще,
как в клетке, без того же пропадали».

Тогда отец спросил его:
«А дома
у вас того, о чем ты говоришь,
того, чего ты здесь найти не можешь,
достаточно?»
Опять чужой подумал,
поднял на нас глаза, глаза оленя,
заплакавшего на большом морозе,
и произнес:
«Нет, мало, очень мало.
Мы только много думаем об этом,
страдаем, чтобы этого добиться,
себя мечтой смешною утешаем,
а иногда нам кажется, что мы
того, что ждем, немножко получили.
А иногда мы просто забываем,

что нет его... Но мы живем иначе,
ну хоть немного, да не так, как вы».

А я спросил:
«Так, может быть, у вас
еды побольше?»
«Нет, не то, не то, —
чужой ответил, —
не о том я вовсе.
Я объясню тебе, а ты подумай.
Ну, если кто из юрты выйти хочет
на воздух, а его и не пускают,
еще и свяжут...
Как тогда сказать,
где он сидит?»
«Ну, где же, значит в юрте, —
мы отвечали».
Он махнул рукой
почти сердито.
«А когда не в юрте,
а где-нибудь, где он сидеть не хочет,
то это как, по-вашему, зовется?».

Ну, тут уж мы никак не угадали.
Один сказал: «В лесу», другие: «В поле»,
да все не так.
А я уже молчал.
Зачем же говорить, когда не знаешь?
Чужой опять задумался.
«Ну, ладно,
а если кто-нибудь поймает птицу
и долго-долго у себя продержит
и выпустит — лети куда желаешь! —
то как сказать, куда ее пустили? —
По-своему кричать тут начал каждый:
кто — «в поле», кто — «на снег», а кто — «в тайгу».
Чужой ко мне сердито обернулся:
«А ежели тебя тойон посадит
в холодную?..»
«За что меня сажать?
Я все плачу исправно»,
отвечаю,
и сам уже сержусь, а он смеется:
«А если не тебя, кого другого,
то отчего ему страшней в холодной,
от голода, от скуки по домашним,
иль оттого, что не пускают выйти,
пойти домой и делать все, что хочешь?»

А это как кому, —
ответил кто-то. —

Ведь каждый человек другое любит».
Чужой тогда обрадовался очень,
не знаю почему, и снова начал:
«А если любит кто, чтобы пускали
его всегда ходить, куда он хочет,
и делать, что он хочет, как сказать,
что любит он, одним коротким словом?»

Один сказал:
«Ходить».
Другой:
«Не знаю».
А все молчали, и чужой молчал,
Задумчивый, обиженный, печальный.
«Нет, — говорит, — у вас такого слова.
Да я уж вам без слова расскажу,
вы только слушайте».
И мы сидели,
хоть нам уже порядком надоело,
да было жаль чужого человека,
разумного, больного и смешного.

Он говорил:
«А мне всего важнее,
чтоб жить я мог, как сам того желаю,
ходить туда, куда я сам желаю,
и делать все. А этого и нет».

Мы засмеялись.
Он шутил, наверно.
Ну, кто ему мешал ходить повсюду?
Он и ходил, куда и мы ходили, —
на ловлю рыбы, в поле, на охоту.
А в холода отсиживался дома
лишь потому, что самому хотелось.
А раз далеко ездил он, к «чужим»,
таким, как он, и к самому тойону.
И в наши юрты в гости заходил,
и делал все, что самому хотелось,
и шил, и чай варил, и клеил книжки,
и в них смотрел, и кушал, что хотелось,
и у него никто не отбирал.

«Кто ж не дает тебе ходить повсюду
и делать все, что хочешь, — ведь не мы?»
«Ну да, не вы».
«Тайон? Так он не скоро
сюда приедет. Ты пока ходи
и делай все, что хочешь. Мы не скажем».

«А тех тойонов много, очень много,
не только ваш один»,
сказал чужой.
«Так те ж далеко, те совсем далеко
и никогда сюда не приезжают
и не узнают. Ты не бойся их»,
все уговаривали мы чужого.
А он вздохнул:
«Ну, как мне вам сказать?
Вам не понять! Куда ходить мне здесь
и что мне делать в этой вашей чаще?
Уехать? Я уехать не могу.
Нет у меня... Опять все то же слово,
неведомое вам!»
И замолчал
и так в молчаньи просидел до ночи.

И до сих пор не понимаю я,
зачем он так сердился в этот вечер,
на что ему сдалося это слово?
Ну нет, так нет. Зачем оно ему?
Ведь мы вот без него живем на свете.
Он в книжке много слов нарисовал.
Ну, говорил бы их.
А нам не надо.
У нас и книжек нет и мало слов.

Ага! не досказал я про чужого.
Так, знаете, он умер.
Я к нему
все приходил и спрашивал не раз,
что с ним и отчего он умирает.
С мороза ли, с болезни.
«Ты же умный, —
я говорил, —
и знал ведь про других,
так почему ж ты про себя не знаешь?»
А он ответил:
«Знаю. Умираю
я от того, чему названья нету
в тайге у вас, хотя того вокруг
так много, что не в силах жить я больше.
А то, что оживило бы меня,
у вас опять названья не имеет.
И вы совсем не знаете того
живого удивительного слова.
Да и того, о чем оно толкует,
в краю у вас не ведает никто.
Когда б хоть слово было, может, я
еще бы пожил с вами».
И заплакал.

И я тогда заплакал вместе с ним,
так стало жалко бедного чужого.

А как-то он сказал мне это слово
по-своему, да я его забыл.
Оно чужое. Что им называть,
не знаем мы, и нам оно не нужно.

А вот чужим оно, наверно, нужно.
Наш говорил, что много умирает
людей хороших без такого слова.

Когда бы не забыл я это слово,
больным чужим его б мы говорили.
Наверно, в нем таинственные чары,
наверно, в нем чудесное заклятье,
наверно, в нем невиданная сила,
когда оно дарует людям жизнь,
а без него живые умирают.

З. Фазин

КРЕПОСТЬ НА ВОЛГЕ

Повесть

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Всю ночь под Астраханью, на берегу Волги, горели костры.

Густой, едкий дым стлался по крутому спуску к набережной, где среди увязших в снегу орудий и телег расположилась пестрая, оборванная армия. На пристанях и причалах, на талом прибрежном льду лежал багровый отсвет, словно при пожаре. Горожане — жители астраханского предместья Форпост, — с опаской поглядывая на костры, толпились на полуразрушенном земляном валу, предохранявшем поселок от наводнений.

— Теперь конец... — толковали встревоженные горожане. — Погибель пришла!..

Ночь была тихая, лунная, но порой из степи вдруг налетал густой мокрый снег, и на берегу становилось еще грязней и слякотней.

Степь лежала сразу за Форпостом — темная, бескрайняя, занесенная снегом. Оттуда и пришла армия.

Она пришла на рассвете. Навалилась голодная, тифозная, измученная толпа пеших и конных, а разместить ее было негде: город давно был переполнен тифозными и ранеными. Они приходили прежде в одиночку и небольшими группами, теперь пришли тысячи и, словно кочевники, осели на берегу с обозами и орудиями, со своими женами и детьми. Многие остались в степи — навеки, под снегом. От самого Кавказа пятьсот верст преследовал армию жестокий буран, и все, оставшиеся в живых, сходились на том, что на свете нет ничего страшнее снежного бурана в пустынной и безводной калмыцкой степи.

Бойцы обросли бородами, запаршивели и так исхудали, что их качало ветром. Разным говором — тут были терцы, кубанцы, ставропольцы, таманцы, — но с одинаковой яростью у всех костров ругали Астрахань.

— Подобно как Стенька Разин, — говорили знающие бойцы, — сбросил астраханского архиерея с раската вон той церкви, — и показывали на сизые макушки астраханского собора, — так и нам следовает расправиться с тутошними хозяевами. Изменники, трясця их матери!..

И грозили кулаками в лунную даль, туда, где далеко на другом берегу Волги тускло поблескивали керосиновые огни города.

Был конец февраля, и за ужином — ели сушеную воблу и запивали водой из Волги — бойцы вспоминали, как хороша бывает весна в тех краях, которые они покинули.

— Там, на Кубани, и ветер який-то другой, свойский, — говорил пожилой грузный боец Задорожный, пощипывая свою растрепанную бороду. — А земля какая родючая — нигде такой нет, во всей России. Ох и землица!..

— На Тереке — вот где земля! — отозвался тощий казак в тяжелой косматой папахе. — Ты воткни палку — вырастет груша!..

Он лежал под телегой, долговязый, рыжеватый, и задумчиво усмехался.

— И откуда взялась эта саранча? Жили б себе люди, землю б пахали, сеяли. Как вдруг, откуда ни возьмись, черной тучей налетели: Корнилов, Краснов, Деникин, Колчак, Шкуро... Господи ты боже мой! Еще Мамонтов, Улагай, Покровский!..

Казак загибал на руке корявые отмороженные пальцы и так насчитал еще с десяток генералов. Руки его были ужасны: они опухли, на пальцах кожа потрескалась и из трещин выступила прозрачная сукровица.

Казак почесал грудь под рваной черкеской и с жадностью потянул в себя дым от чужой папироски. У телеги стоял незнакомый комиссар. Казак хорошо видел его грязные сапоги и потрепанные полы шинели. Бойцы у костра недовольно зашумели.

— Отойди... Не трожь командира!..

На землю упал окурок. Казак одной рукой подобрал его, а другой постучал по голенищу сапога незнакомца.

— Эй, слухай!

Тот нагнулся. Казак осветил его лицо огоньком папироски и сказал:

— Ты молодой еще, комиссар. Отойди от смерти.

На телеге под старым, рваным кожухом хрипел тифозный.

— Георг! — звонко крикнул в темноту незнакомец. — Позови извозчика.

Он нащупал рукой жаркие сухие губы тифозного и приложил к ним горлышко походной фляги. Пока больной пил, на свет костра вышел худощавый кавказец в черкеске. На груди его поблескивали белые костяные газыри. С пояса свисал кинжал в резной серебряной оправе. На бледном лице его резко выделялись большие черные глаза и такие же черные, коротко подстриженные усики.

Он тихо сказал:

— Ты думаешь извозчика легко найти, Мироныч?

— Надо найти, Георг...

— Отойди, чуешь? — крикнул казак.

Он вылез из-под телеги и присел у костра.

Тут шел разговор о бывшем командарме Сорокине. Задорожный уверял, что Сорокин открыл фронт Деникину. Не будь этой измены, не взяли бы кадеты Екатеринодар и другие города Северного Кавказа, не пришлось бы армии так поспешно отступать в калмыцкие степи.

— Верно, продал нас Сорокин! — раздались хриплые голоса. — Разве ж он был командарм? Вино, да бабы, да музыка, вот на что он был мастер. На сорока белых лошадях оркестру держал...

Комиссар с бородкой молча взглянул на своего товарища и снова склонился к тифозному.

— Надо спасти этого командира, Георг, — сказал он. — Может быть, нам удастся его где-нибудь пристроить.

— Иду, — ответил кавказец.

Тифозный все пил, не отрываясь, и порой судорожно сжимал руку комиссара, словно боялся, что тот отнимет флягу. Георг зашагал к темневшей вдали пристани.

— Да, повоевали, — говорил у костра Задорожный. — Курам на смех.

Найденный казаком окурок шел по рукам. Когда окурок вернулся к казаку, он затянулся и сказал:

— А знаете откуда началась измена? Еще с под Екатеринодара. Как сейчас помню: солнце печет, пыль — отступают наши через мосты к станице Белореченской. Идут обозы, беженцы и войска. К вечеру в Екатеринодаре уже разгуливали кадеты... А наши стали на позиции за рекой Кубанью. А ставка, значит, главного штаба основалась на станции Энем. Хорошо. Как раз тогда прибыли мы со Степой, — казак кивнул головой на лежавшего в телеге больного командира, — прибыли в штаб Сорокина сдавать дела и печати нашей партизанской сотни. И, конечно, не пошли мы к нему сразу, а расположились в кустах отдохнуть, в дороге умаялись. Но, — казак швырнул окурок в костер и вытер свои длинные спутанные усы, — отдыхать не пришлось. Везде в кустах стояли войска, беженцы, лошади, рогатый скот — уснуть нельзя нипочем... То стрельба поднимется, то дите заплачет... Утром на самой заре встали мы, взяли дела и печати и подались к вагону Сорокина. Подходим, часовой спрашивает: «Куда?» — «До командарма». — «Нет Ивана Лукича». — «А нам, — говорит Степа, — по срочному... не можем ждать». — «А коли не можете, — говорит, — так идите по ту сторону поезда, там Иван Лукич сейчас расстреливает командира одного за неисполнение боевого приказа».

Мы пошли. И видим: Иван Лукич этот стоит без мундира, в нижней рубахе, в галифе с развязанными штрипками, в домашних туфлях и скрестивши руки на груди. А напротив, под деревом, стоит молодой командир, а сбоку на него уж нацелили винтовки. И вдруг, понимаете, то ли он испугался, то ли осерчал, что его так долго мучают, рванулся он в сторону и побежал в кусты. Тут его залпом скосили, как молодую траву... Ох! — всхлипнул казак и повторил:— Как молодую траву... А погиб за что? За то, что ослушался изменника, не стал по его приказу отступать на погибель, а открыл ураганный огонь по неприятелю и чуть не обратил его в бегство. Еще немного, и, может, сорвалась бы вся подлая затея Сорокина. Но сила на его стороне была. И порешил он прихлопнуть парня...

Казак умолк, взял охапку сухого камыша и бросил в костер.

На телеге застонал тифозный.

— Что? — наклонился к нему молодой комиссар.

— Пом... Помру, а?..

— Нет, нет, выздоровеешь, лежи спокойно...

— Помру... Тогда на бугре... стукните...

— Что? Что на бугре?

— Когда... пойдете... стукните...

Комиссар не понял Он спрятал флягу и плотно накрыл больного старым кожухом.

— Спи...

Беседа у костра продолжалась.

— А как же печати? — недоумевал Задорожный. — Отдал этому Иуде?

— Отдал...

— Ошибка, Тимофей! — с волнением крикнул Задорожный. — Ты бы Ленину отписал! Чай, грамотный, и печать у тебя была. Дурак ты!..

— Так это тебе просто — отписал!.. — проворчал казак.

Тут вступились другие бойцы.

— Да уж ладно, чего теперь разбираться.

— А хорошо сделал Кочубей, что сюда не пошел, а на Москву подался, до Ленина, — тихо сказал Задорожный. — Он ему все чисто выложит. Ленин узнает про нашу беду — так поможет... И этим, астраханским, тоже перцу задаст, трясця их матери!

Казак посмотрел на незнакомого комиссара, стоявшего у телеги, и нахмурился; тот чему-то улыбался.

— Да-да! — сердито крикнул Тимофей. — Чего зубы скалишь? На куски вашу Астрахань разнесем да по ветру развеем, чтоб не было и памяти. Кабак, а не город!..

— Запалить ее...— угрюмо сказал Задорожный.

— И запалим! — подхватил Тимофей. — Да прежде трошки посчитаемся с тутошними начальниками. Кровь за кровь!..

На набережной затарахтела пролетка — показался Георг; он вел под уздцы лошадь, а сбоку, рядом с кучером, шагал волосатый человек в черной рясе.

— Разве можно обмануть народ? — кричал волосатый. — Никогда!..

— Правильно, гражданин епископ! — отвечал ему Георг.

— Произвол через край переходит, а народ страдает. Разве можно так?.. Власть должна оказать вспомоществование этим несчастным воинам, а ничего не делает. Одно бездействие и произвол!..

— А вы отказываетесь дать свой экипаж для больного, гражданин епископ, стыдитесь!

— Я не откажу, если увижу своими глазами, что это точно так. Мы не безучастны к бедственному положению армии...

Когда пролетка остановилась у костра, Георг шепнул:

— Астраханский епископ Леонтий!..

Комиссар с любопытством взглянул на епископа.

Это был низенький толстяк с густой черной бородой и маленькими заплывшими глазками. Туловище его ширилось книзу, и казалось, что если б он сел на землю, то его как ваньку-встаньку никак нельзя было бы опрокинуть.

— Вот этот больной,— сказал Георг, приподнимая край кожуха над тифозным.— Можете убедиться, что я вас не обманывал!..

— Всегда готов итти на уступки, — забормотал епископ, — когда требование власти справедливо, когда я сам вижу...

— Идите-ка домой, — резко перебил его Георг, — экипаж ваш будет цел, не беспокойтесь. Доброй ночи!..

Епископ смолчал, сердито покосился на бойцов у костра. Неожиданно он вскинул брови и с удивлением уставился на молодого комиссара с бородкой. Он даже приоткрыл рот, и в свете костра блеснули его золотые зубы.

— Ишь... — сказал кто-то у костра.

— Я вам знаком? — с недоумением спросил комиссар.

— Простите, — спохватился епископ.

Придерживая полы своей рясы, он поспешно пошел прочь от берега и все оглядывался, пока не исчез в темноте...

Тифозного перенесли в пролетку. Кучер накрыл его большое обмякшее тело меховой попоной на шелковой подкладке и угрюмо спросил:

— Куда везти?

Казак Тимофей вдруг схватил коня под уздцы.

— Стой!

Он полез на четвереньках под телегу, вытащил оттуда небольшой пузатый сундучок, окованный железом, и оглянулся на бойцов у костра; шестеро поднялись и окружили пролетку; Тимофей положил сундучок к ногам кучера.

— Тоже хозяева нашлись, — ворчал он, — завезут чорт знает куда, потом ищи...

— Верно, ты с ним поезжай,— сказал Задорожный,— погляди, где положат. Потеряется человек, не найдешь потом и памяти!..

Тимофей, боясь попачкать шелк, сел поверх попоны.

— Прощай, Степа! — загудели бойцы, обнажая чубатые головы. — Прощай, командир...

— Граждане, куда ж везти? — спросил кучер. — Ночь-то идет!..

— В госпиталь, — ответил комиссар с бородкой.

— Да не найдете вы места, — уверял кучер, — хоть за тыщу!

— Поезжай, тебе говорят!..

Бойцы расступились; комиссары зашагали впереди пролетки.

2

Миновали кремль. Под высокими узорчатыми сводами главного входа ходили часовые. Когда пролетка проезжала мимо, из ворот вышел рослый моряк в черном бушлате с нашитыми на клеш перламутровыми пуговками.

— Извиняюсь, товарищи...

— Чего тебе? — спросил Тимофей.

Пролетка остановилась. Матрос нащупал в темноте потное лицо тифозного, нагнулся, понюхал его дыхание, сплюнул и молча пошел к воротам, шаркая по булыжнику коваными башмаками. Тимофей усмехнулся.

— Это что за гусь?

— Матрос с потонувшего корабля, — сердито ответил кучер.

— А крепость это какая?

— Астраханский кремль...

Кучер скосил глаза на соборную колокольню, убедился по лунному блеску, что крест на месте, перекрестился и стегнул коня.

Комиссары ушли вперед; на крутом подъеме, что вел с берега в город, они далеко опередили пролетку. Кучер едва поспевал за ними. Улицы были темны, и он боялся гнать лошадь — на мостовых сугробы, кучи камней, с прошлого года на углах еще валяются опрокинутые фонари. Зимой всего этого не видно было под снегом, а теперь среди топких луж снова показались следы недавних боев с астраханскими белоказаками.

В саду, напротив светлой зубчатой стены кремля, под деревьями орали пьяные голоса и слышался визг гармоники.

Начинался центр города. Открылась шумная улица. На перекрестке комиссары постояли. Перед ними пронесся фаэтон с тремя запоздалыми гуляками. Один, в меховой тужурке, стоя помахивал хлыстом над головой извозчика и кричал:

— Подворачивай к пивной, стервец!

В окнах тяжелого двухэтажного дома губкома партии горел яркий свет.

— Зачем они так палят? — проворчал Киров, — имеют ли они понятие, какая теперь цена нефти?

Георг пожал острыми плечами.

— Ты слышал?

— Что?

— А вот это: «Подворачивай к пивной». Что такое происходит в городе — не понимаю. Настоящий карабазар.

— Ты еще не все видел, Георг. Спасти город и армию может только ревком. После Москвы, признаться, и я сразу не мог понять, где я очутился. В старину Астрахань называли «Разбалуй-город». Это не в бровь, а в глаз...

— Ты говорил об этом в губкоме?

— Говорил...

— О ревкоме говорил?

— Да.

— Ну?

— Обсуждают...

Комиссары свернули в узкий сугробистый переулок и зашагали по топкому тротуару. Позади тащилась пролетка. Кучер порой покрикивал:

— Скоро там, граждане?

— Жаль, что ты уезжаешь, — вздохнул Георг.

— Москва решит...

— Ты хочешь на Терек?

— Да.

— Очень жаль, — задумчиво произнес Георг. — А что ты думаешь там делать?

— Там Деникин, Георг...

Они обогнули большую полузамерзшую лужу и остановились на перекрестке новой улицы. Киров оглядывался и вспоминал — госпиталь, кажется, вон там, за белеющей вдали старой мечетью. Левей должна быть колокольня бывшего Девичьего монастыря. Разглядев искрившиеся под луной купола, он успокоился: там и госпиталь, в монастыре.

Подъехал кучер и с досадой спросил:

— Ну, граждане?

Тимофей уснул в дороге и с пролетки слышался его звучный храп.

— В самом деле, — сказал Георг, — куда мы, в какой госпиталь?

— Я думаю устроить больного там, где лежит наш Оскар, — ответил Киров. — Он заболел после этой истории с миллионами и еще не знает о твоем приезде. Вот будет рад, бедняга. Пойдем...

По сторонам безлюдной улицы хмурились низенькие каменные особнячки. Сквозь закрытые ставни кое-где пробивался свет. В подворотнях уныло гавкали голодные псы. Этот район населяли бывшие рыбопро-

мышленники и астраханские казаки. Проезжавший мимо конный патруль опасливо озирался на окна и держал наготове обнаженные револьверы.

— Ну и Астрахань, — усмехнулся Георг.

— Да, положение... — тихо отозвался Киров. — Каждую ночь ожидаются выступления казачьих банд, калмыцких князей и прочей сволочи. Мы все вооружились, что называется, до зубов... Ты был утром на конференции? Некоторые носят на поясах и бомбы. Даже Лещинский — лежит в тифу и то потребовал, чтобы я принес ему наган, прячет его от врача под подушкой...

— Это на него похоже... Кризис у него был?

— Был, теперь смерть ему не грозит. Но каждый раз, когда я у него бываю, на душе кошки скребут. Он тоже просится на зафронтовую работу. Вместе, говорит, махнем с тобой на Терек, а сам с тоской заглядывает в глаза и все ждет, не принес ли я ему весточки о его семье. Она отступила с армией в степь и затерялась. Одинокая женщина с двумя детьми — в эти бураны, в этой пустыне... Когда мы двинулись с экспедицией в степь и на полдороге встретили бегущую армию, то узнали, что его жену видели где-то у Черного Рынка. На обратном пути мы спрашивали, пытались ее найти, но так и не нашли.

Показалась мечеть. Тонкий стрельчатый минарет уходил в лунную высь, к звездам. Под железной оградой при свете «летучей мыши» бродяги с деловитым азартом играли в карты. На проходивших комиссаров они даже не взглянули. Астраханская голытьба, разноязычная, бойкая, разгульная, славилась по всей Волге. В конце улицы встала грузная монастырская стена. Вдруг из переулка выкатила машина, и под угловым керосиновым фонарем осветилось лицо молодой женщины в красной косынке. Она сидела рядом с шофером.

— Пашкова! — громко окликнул ее Киров.

Машина круто повернула к тротуару и затихла.

— Вот кстати,— с радостной улыбкой воскликнула женщина.— Тебя-то мне и нужно, Мироныч. На ловца и зверь бежит.

— Зверь?!.

— Не шути. Это кто с тобой?

— Атарбеков. Ты его не знаешь.

— Из Москвы, — представился Георг, — прибыл в распоряжение губкома.

— А кто там, в пролетке? — спросила Пашкова.

— Тифозный...

— Так, значит, — задумалась Пашкова. — Ну, тогда пусть товарищ Атарбеков отвезет больного, а ты, Мироныч, айда со мной в губком, там тебя ждут новости.

— Граждане, — заорал с пролетки кучер, — надо ж совесть иметь.

— Погоняй, борода, — крикнул ему Георг, — догоним.

Пролетка двинулась к монастырю.

— Какие новости, Пашкова?

— Садись, поговорим.

Шофер открыл дверцу, Мироныч легко вскочил на заднее сиденье, и машина тронулась.

— Во-первых, о тебе, — успел услышать Атарбеков низкий грудной голос Пашковой, — и машина ушла в темноту. Георг пустился догонять

пролетку. Она уже подъезжала к темным, раскрытым настежь воротам монастыря.

3

Во дворе госпиталя трудно было дышать. Даже старые тополя, казалось, источали терпкий запах карболки.

Георг вошел в приемную. Синий ночничок озарял низкие своды монастырской кельи. У решетчатого оконца на скамье дремал пожилой врач, а посреди кельи за дубовым столом два его помощника — бывший студент-медик и драматический артист — готовили лекарства.

Они разбудили врача.

— Мест нет,— крикнул он спросонок.— Все занято.

— Поищем, — уверенно сказал Атарбеков.

Врач молча надел халат и повел его в палаты.

Они шли по темному, затхлому коридору, заглядывали в каждую дверь и на ходу переругивались.

— Вы — упрямый человек! Позвольте вам это открыто заметить.

— А вы не горячитесь, доктор.

— Поверьте, — последнюю ночь я здесь. Завтра и ноги моей здесь не будет!..

— Не горячитесь,— твердил Атарбеков.

В палатах стояли в страшной тесноте койки без матрацев, больные спали на соломе. Из дверей неслась удушливая вонь. Слышались протяжные стоны.

— Ну, убедились, упрямец? — спросил врач.

Они остановились у последней двери.

Георг чувствовал, что теряет спокойствие; шея вспотела и подкашивались ноги. Он подумал, что во дворе на холоде ждет тифозный, и со всей силой стукнул кулаком по закрытой двери.

— Там что? — изменившимся голосом спросил он у врача.

— Потише, ради бога, — испугался врач, — там спят инвалиды. Они живут в этой палате больше трех лет, и, ради бога, не связывайтесь, не задевайте их — это такая публика!..

Атарбеков налег на дверь.

— Скандал, — прошептал врач и помчался в даль коридора.

Дверь не поддавалась. Атарбеков напирал все сильней, и, наконец, ему удалось ее открыть. От двери с криком поскакали на костылях инвалиды. Георг молча вынул из кармана револьвер.

— Разрешите войти?

— Наплевать! — ответили инвалиды. — Входи, если хочешь.

В просторной палате стояло всего пять коек. Возле смятых постелей сторожили инвалиды, держа наготове костыли. Когда Георг зажег керосиновую лампу, то увидел, что вся палата полна разнообразной мебели и всяких безделушек. Она походила на лавку случайных вещей. Под окном стоял широкий кабинетный диван.

— Ладно, — сказал Атарбеков. — Этот диван подойдет...

В дверях показался врач и оба его помощника.

— Тащите сюда больного, — приказал им Атарбеков. Он устало бухнулся в кресло и положил на стол револьвер. — Давайте по хорошему, граждане...

На скатерти лежали корки пайкового хлеба, желтого, с большой примесью ячменя, и открытые консервные банки. Георг проглотил слюну и вздохнул — он был голоден. Инвалиды свирепо, но с любопытством поглядывали на него и молчали.

Со двора принесли тифозного. Его положили на диван и раздели. Это был рослый смуглый человек, совсем еще молодой. Пока сестры устраивали постель, а врач выстукивал его впалую грудь, Атарбеков обследовал бумажник тифозного. Там были старые письма, керенки, советские рубли и армейские документы. Тифозный оказался питерским рабочим. Расплывшиеся чернильные печати удостоверяли, что в 1916 году он был призван в армию и послан на Турецкий фронт. Дважды ранен. Повидимому, возвращаясь в 1917 году с фронта, он так и не добрался домой и застрял на Северном Кавказе. Георг ясно видел путь этого парня — от Питера до Карса и от Карса до Терека, где он стал командиром кавэскадрона. С армией он прошел суровый путь через калмыцкие степи — и вот он в Астрахани, в старом монастыре, на диване, еле живой...

— Потише там, — просил врач.

Почесывая узким концом стетоскопа за ухом, он молча разглядывал вошедшего в палату Тимофея. Казак поставил сундучок у двери и уселся на него. Ствол его винтовки неприятно поблескивал холодной сталью.

— Тут уже и стража есть? — пробормотал врач. — Ну, так, хорошо...

Он пожевал губами, подумал и сунул стетоскоп в оттопыренный карман халата.

— Сыпняк!..

Атарбеков аккуратно сложил в бумажник документы больного. Выходя в коридор, он столкнулся в дверях с пожилым человеком в кубанке.

— Найдется ли для меня свободная койка?

«Дурак, — подумал Георг, шагая по коридору. — Сам пришел умирать, трусишка».

Тимофей остался в комнате инвалидов. На него с удивлением смотрела кокетливая курносая сестра.

— Где же вы будете тут ночевать?

— А на полу, — ответил Тимофей. — Добрые люди в вашей Астрахани, дай ей бог завтра сгореть.

Он скинул черкеску и стал с хозяйской неторопливостью устраивать себе постель.

4

Палата, где лежал Лещинский, была тесная, душная.

Уступчивая сестрица в косынке позволила им разговаривать тихим шопотом.

— И, пожалуйста, долго не задерживайтесь, — сказала она Георгу.

Она принесла табурет и поставила у изголовья низкой железной кровати, на которой лежал Лещинский.

Оскара трудно было узнать — стриженый, худой, глаза ввалились. Кровать была ему не по росту. Длинные ноги просунулись сквозь прутья, и при свете луны отсвечивали белые голые ступни с тонкими пальцами.

— Видишь, как не повезло мне, Георг, — говорил с досадой Оскар.

— Что поделаешь, — развел руками Атарбеков.

— Двоих из нашей экспедиции уже похоронили. Один Мироныч стоит, как дуб, его ничто не берет. Ходит через день в баню. Это, говорит, лучшая гарантия от тифа и единственный отдых за сутки. А ты поберегись, Георг. Отодвинься... Значит ждешь назначения?

— Да.

— Мы тоже ждем... Со дня на день.

— Я знаю, Мироныч говорил мне... Но, кажется, ответ прибыл уже.

— Ну!..

— Тише, ради бога.

По коридору затопали, послышались крики врача:

— Не грозите мне! Я не спекулянт! Не торгую на больших садах кониной!..

— Это мы уточним, — отвечал сердитый голос. — Поговорим с вами в исполкоме.

— Делайте со мной, что хотите, но мест у меня для вас нет. Вы требуете, чтобы я освободил вам отдельную палату, когда мне настоящих больных некуда положить. Кроме того, вы пока здоровы!

— У меня все признаки тифа...

— Не могу. Здесь не театр, где можно заранее заказать ложу... Когда заболеете, вас привезут!

— Значит отказываете?

— Не могу.

— Хорошо-с...

Когда шаги затихли, Атарбеков со злостью сказал:

— Экая сволочь!

— Брось! — отозвался Лещинский, приподнимаясь на локте. — Это бывает каждую ночь. Рассказывай же, Георг.

— Ты не горячись только, Оскар. Я слышал краем уха, как Пашкова сказала, что в губкоме есть новости, и понял так, что, вероятно, из Москвы получен ответ, — вот и все. И успокойся, пожалуйста, успеешь узнать.

Лещинский молча откинулся на подушку и мечтательно прижался к ней бородатой щекой.

— С неделю еще придется полежать, а там — на Терек, в подполье.

— А не думаешь ли ты, что вас могут оставить здесь, Оскар?..

— Это не имеет смысла, Георг.

— Почему?

— Ты слышал, что говорит о нас народ в Астрахани?

— Слышал. О Мироныче в городе отзываются с глубоким уважением. Прекрасный организатор и умница. А компания Шляпникова — это не народ! Экспедиция провалилась не по вашей вине, а скорее по вине этой компании...

— Тебе рассказывали о нашей поездке?

— Да.

— Представь себе, Георг, наше положение, — с горькой улыбкой сказал Лещинский. — Приезжаем в Астрахань. С нами целый эшелон: военное имущество и пять миллионов царскими. Ну вот... В Астрахань мы попали только 16 января — задержались при перегрузках в Покровской слободе у Саратова. Торопились мы, конечно, страшно, но ты

знаешь, Георг, какие теперь дороги? Измучились, но, не теряя времени, без всякой передышки, спешно выгрузили на станцию наши полуторатонки, легковые машины, мотоциклетки и прочее и сразу же начали приготовления к поездке через калмыцкие пески. На одну полуторатонку Мироныч приказал положить ящики с деньгами, его чемодан и мою корзину, а на ящики прикрепить пулеметы. Он решил сам ехать на грузовике и взять только шофера и меня. Но вижу, ему будет тяжело, утомительно сидеть на деревянных ящиках — они больше метра в квадрате, — и уговариваюсь с ним меняться, по очереди отдыхать в легковом «поуфиндере». Вот так, значит...

— У вас и «поуфиндеры» были?

— Новенькие, Георг, американские. Выдрали мы их с большим трудом от Московского совета, и то благодаря Свердлову. Он с исключительным вниманием отнесся к нашей экспедиции. Перед отъездом Яков Михайлович даже вызвал нас к себе в Кремль и сказал напутственное слово. «Если вам удастся, — говорит, — товарищи дорогие, проложить военную дорогу от Астрахани на Святой Крест и Кизляр, организовать базу Кавказского фронта и качнуть нефть из Грозного, а если возможно, то и из Баку, — вы колоссально поможете стране в этот трудный момент. Торопитесь, — говорит, — ибо уж очень нерадостны и трагичны вести от XI Кавказской армии». Мы поняли, что нас ждут большие неожиданности...

Скрипнула кровать. Мимо бесшумно скользнул белый халат сестры.

— Кончайте, — шепнула она.

— Сейчас, — ответил Георг. — Сейчас кончаем.

— Так и оказалось, Георг...

— Потише говори...

— Оказалось хуже, чем мы предполагали, — понизив голос, продолжал Оскар. — В штабе фронта кавардак. Армия на Кавказе, за пятьсот верст, и совершенно оторвана от этого мифического штаба — базы снабжения. Страшное положение: штаб — без армии, генералы — без солдат. В Астрахани уже были получены директивы о нашей экспедиции, и нам дают назначения. Мироныча назначают членом Реввоенсовета XI армии. Мы не хотим задерживаться, спешим все оформить и поскорее выехать. Но проходит три дня, а мы все сидим в Астрахани. Всюду бестолковщина и саботаж невероятный. У нас пятьдесят машин, нужны шоферы, а в штабе, хоть тресни, ничего нельзя добиться. Тянут и тянут. Шляпников ведет с нами разговоры, переговоры, а с фронта идут катастрофические телеграммы. Путь на Святой Крест закрыт, неизвестно, что в Георгиевском. От Орджоникидзе получено радио: армия разложилась и бежит. Мироныч неистовствует, — искусал губы в кровь. Наконец, 22 января мы вырвались из Астрахани в степь.

— Потеряли пять дней, чорт возьми! — сказал с сердцем Атарбеков.

— Шесть, Георг. Может быть, все было бы не так, если бы нас не задержали. Каждый час решал...

— Сволочи!

— Восстановить положение нам уже не удалось. Навстречу шла армия. Если б ты знал, Георг, что нам пришлось пережить в степи за эти восемнадцать дней! На морозе, в буранах, среди тысяч тифозных, раненых, обмороженных бойцов отступающей армии. На обратном пути нас постигло новое несчастье...

— Это было днем?

— Под вечер. С того берега мы видели огни Астрахани. Переправили все машины, а на своей пустились в хвосте. И вдруг под нашим грузовиком треснул лед... Почти у самой пристани... Как мы выскочили — просто не знаю! Грузовик затонул в одно мгновенье, а с ним все пять миллионов ушли на дно Волги. Мы не могли оторваться от темной полыньи, где еще бурлила вода...

— Чорт возьми, — прошептал Атарбеков.

— Вот тебе и вся история, Георг.

— Да, история...

— Это произошло 9 февраля. Потом стали сыпаться на нашу голову шишки... Начались хождения в полевой контроль, начались допросы, протоколы, дознания и беготня в штаб флотилии за водолазами. «Чтобы и тени не было на нашей совести и чести», — говорил Мироныч. Каждое утро мы шли на Волгу с надеждой, что удастся выловить деньги и прекратить всякие толки и пересуды. А разговоров много пошло по городу: «Вот, мол, утопили машину с деньгами, а, может, в ящиках-то и денег никаких не было. Они, мол, в степи переколачивали ящики ночью, деньги вынули, а в ящики положили кирпичи, ну, а машину под лед — и концы в воду». Правда, Георг, мы переколачивали ящики. Под Яндыками опрокинулась наша машина, один ящик оторвался от пулемета и треснул. Пришлось его переколачивать ночью, чтобы не увидели, что везем царские деньги. В полевом контроле мы об этом заявили сами...

— Вас хотели съесть, Оскар.

— Шляпников сказал, что нас отдадут под суд...

— Ишь ты!

— Мы не испугались, хотя и неприятно было все это слушать, — сказал Оскар, снова приподнимаясь на локте. — Ты понимаешь, как все это неудачно сложилось? Проходит день за днем, а водолазы все не могут найти утонувшие миллионы. Машину нашли — ее отнесло недалеко — и чемодан Мироныча нашли, а ящиков нет... Мироныч не выдержал и сам стал спускаться в водолазном костюме под воду, хотя долго быть под водой не мог...

Георг подскочил от удивления на своем табурете.

— Сам?! Ну и Мироныч!..

Прикорнувшая у дверей сестра встрепенулась.

— Т-ш-ш! — сказал самому себе Атарбеков. — Ну, дальше.

— Потом я заболел, Мироныч отвез меня сюда, а дней пять или шесть назад приходит, и я уже издали по его сияющему лицу вижу, что деньги найдены. Все три ящика с пулеметом отнесло на тридцать пять саженей. Ну, говорит, сплетням конец. Комиссия полевого контроля все подсчитала и заактировала, что все деньги в целости. Теперь они, говорит, сушатся в городской бане. И показывает мне копию акта... Я думаю, Георг, это не излишняя предосторожность, правда?

— На месте Мироныча я поступил бы так же.

— Ты его сегодня ночью увидишь, Георг?

— Да, я буду в губкоме...

— Передай ему, что я с нетерпением жду... Пусть зайдет ко мне прямо из губкома.

— Будет поздно, Оскар...

— Ничего... Я подожду... Я не буду спать.

— Ты беспокоишься? Москва, вероятно, решила послать вас на Терек.
— Посмотрим...
Оскар чего-то не договаривал. Георг почувствовал это, но не стал расспрашивать и молча встал.
— Ты уходишь, Георг?
— Пора, Оскар.
— Ты только не уговаривай его остаться в Астрахани.
— Ладно уж... Это не от меня зависит.
— А все-таки не говори ему... Мы двинем на Терек.
— Ты сперва выздоровей, поправляйся быстрее.
— Спасибо, Георг.
Они попрощались, не подав друг другу руки, братским долгим взглядом.
Палата была погружена в тяжелый, беспокойный сон. Георг на цыпочках подошел к комнате инвалидов и тихо приоткрыл дверь: инвалиды спали. У изголовья больного командира на белом больничном табурете похрапывала дежурная сестра. В углу за диваном спал, сидя на своем сундучке, Тимофей.
«Тут все в порядке», решил Атарбеков.
Он вышел из монастыря и поспешил в губком партии.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

На углу улицы перед ярко освещенными окнами губкома скрипела от ветра вращающаяся будка, вся заклеенная афишами. Она имела вид астраханского бродяги — была пестра и сверху донизу изодрана в мохры.
Но одна афиша была целая и пахла свежей краской. Атарбеков прочел:
«К гражданам православным христианам!
Общая сходка представителей всех церквей г. Астрахани призывает вас оказать помощь больным и раненым воинам одеждой, бельем, обувью и деньгами.
Помните слова Христа: «Я был наг — и не одели, был болен — и не посетили меня».
— Ай да Леонтий! — усмехнулся Атарбеков.
Вход в губком охраняли вооруженные матросы. Это были дюжие ребята — моряки Астраханской военной флотилии. У тяжелой дубовой двери стояла Пашкова. Она задумчиво дымила папироской.
— Кончилось уже? — удивился Георг.
— Нет... — помотала головой Пашкова.
— Почему же вы здесь?
— Голова кружится, вышла подышать немножко...
Она бросила папироску.
— Пойдемте...
Они поднялись на второй этаж и вошли в душный, переполненный зал. Перед Атарбековым в густом табачном дыму замелькали лица незнакомых людей в военной и штатской одежде. Во всех уголках зала переговаривались, спорили, ругались, смеялись, а у длинного, накрытого зеленым сукном стола, роясь в бумажках и ни на кого не глядя, ора-

торствовал потный мужчина в вышитой рубашке с расстегнутым воротом.

— Повторяю, товарищи, — говорил он, — наш край — степная, камышевая, болотная пустыня...

Атарбеков рыскал взглядом по залу и не находил Мироныча.

«Что тут происходит?» думал он, шагая вслед за Пашковой.

Они устроились у окна. Там на подоконнике сидел пожилой усатый человек с трубкой в зубах.

— Ты что такой грустный, Буканов? — спросила у него Пашкова.

— Плохо себя чувствую.

— Ты на берегу работал?

— Нет...

— Ну, тогда подвинься чуть...

Она села на подоконник и с минуту молча прислушивалась к речи оратора. Потом с неожиданной яростью крикнула:

— Нужен хлеб! Надо накормить область и армию. Ну, к чему эта география!..

— Я в исполкоме работал, — пробормотал Буканов, — принимал людей и, видно, захватил от кого-нибудь сыпняк...

За столом среди пустующих стульев сидел Шляпников и скучающе ковырял в зубах обгорелой спичкой. Он смотрел на Пашкову и молча, с неодобрением, качал головой. Из боковой комнаты вышла, позванивая в колокольчик, председатель губкома — Степанова.

— Весь день пришлось принимать людей, — бормотал Буканов, — как же я мог быть на берегу?..

Атарбеков с вниманием оглядел соседа: в руке у того была кубанка.

— Кажется, я вас встречал...

— Меня? — удивился Буканов, выколачивая трубку о ладонь.

— Да, час тому назад, в госпитале...

Пашкова порывисто соскользнула с подоконника.

— Вы устроили больного, Атарбеков?

— Да...

— Мироныч все беспокоится...

Она торопливо вошла в боковую комнату. Атарбеков последовал за ней. На запачканной красками подставке губкомовского ротатора сидел, покуривая, Мироныч. На коленях у него лежал исписанный лист хорошей линованной бумаги со штампом рыболовной конторы Беззубикова — известного астраханского рыбопромышленника.

— Ну? — вопросительно уставился Мироныч на Атарбекова.

— Устроил...

— Отлично, Георг...

Киров с живостью потер руки и взялся за карандаш. Глаза его блестели. Георг давно не видел его без шинели и шапки. Мироныч был ладно скроен — энергичный, крепкий, но только не шла к его широкому спокойному лицу темнорусая вьющаяся бородка.

— Дай еще папироску, Мироныч, — попросила Пашкова.

Пашкова закурила и стала нервно расхаживать из угла в угол, глубоко запрятав руки в карманы короткой, расстегнутой на груди меховой жакетки.

— Кто там сейчас выступает?

— Губпродкомиссар, — ответил Георг. — Не знаю, как фамилия его...

— Ерохин... — брезгливо сморщилась Пашкова.

Георг заглядывал через плечо Кирова на исписанный лист.

— Что ты пишешь, Мироныч?

Сквозь полуоткрытую дверь донесся басовитый голос нового оратора. Пашкова подошла к двери, прислушалась и вышла в зал.

— Ты видел Оскара? — спросил Киров, продолжая что-то записывать. — Как он себя чувствует?

— Хорошо...

— Он что-нибудь просил?

— Да... Просил, чтобы ты сегодня же зашел к нему.

— Сегодня?

Мироныч пристально посмотрел на Атарбекова и улыбнулся.

— Понимаю. Ну, хорошо, ты присядь, сейчас кончу — поговорим...

Атарбеков подошел к двери и выглянул в зал. Под большим портретом Маркса, в золоченой реквизированной раме, ораторствовал Шляпников.

Мироныч взял в рот карандаш и с минуту прислушивался.

— Ты отпустил кучера, Георг?

— Какого кучера? — с недоумением обернулся Атарбеков. — Ах да, отпустил...

— Хорошо сделал.

Атарбеков усмехнулся и прикрыл дверь.

— С какой стати он тебе вдруг пришел в голову?

Мироныч хитро прищурился.

— Так, почему-то вдруг вспомнился мне архиерей, которого мы встретили на берегу...

Атарбеков рассмеялся.

— Ну тебя, чорт этакий...

Когда за дверью, в наступившей тишине, снова прозвучал голос Шляпникова, Георг опять прыснул.

— Хо... Хорошо... чорт возьми! Архиерей...

— Это его лебединая песнь, Георг.

— Архиерейская, — поправил Атарбеков. — А, кстати, Леонтий наш не бездействует. На улице я только что видел воззвание...

Распахнулась дверь, и вошла Пашкова с расширенными, горящими гневом глазами.

— Это невозможно вытерпеть! — проговорила она. — Ведь совершенно ясно, — нужен хлеб!.. Армию спасти, навести порядок. Истощенные бойцы должны знать, что в Астрахани у них есть верный друг! — она смяла окурок и облизнула сухие губы. — А мы толчем воду в ступе... Я возьму еще, Мироныч, — она закурила. — А мы ведем бесконечные споры и разговоры, кто прав, кто виноват в этой катастрофе, когда надо действовать!..

— Какое воззвание ты видел? — спросил Мироныч.

— Атарбеков, не мешайте ему, пожалуйста, — раздраженно сказала Пашкова.

— Я не мешаю, — спокойно возразил Георг. — Не горячитесь. — Он хмуро помолчал. — Ну вот, значит, висит там внизу афиша такая: астраханская церковь призывает верующих христиан оказать помощь армии... именем Христа...

— Серьезно, Георг?

Пашкова поперхнулась дымом.

— Дождались!..

Она вылетела бомбой из комнаты.

— Так, — проговорил Киров. — Ну, ладно, я уже кончил... Послушайка! — он взял лист и прочел: «Волею организованных рабочих Астраханской губернии 25 февраля сего года вся полнота власти в губернии перешла в руки временного военно-революционного комитета. Это чрезвычайное мероприятие...»

— Постой, постой!! — с удивлением воскликнул Атарбеков.

— Ну...

— Создается ревком?

— Как видишь!

— Хо!.. Ну, читай дальше...

«...Это чрезвычайное мероприятие, — продолжал Киров, — диктуется тем исключительным положением, которое переживает Каспийско-Кавказский фронт и вся наша прифронтовая полоса. Настоящий момент властно требует от всех сознательных и честных защитников Советской России чрезвычайного напряжения сил. На наш Каспийско-Кавказский фронт...»

— Наш? — снова перебил Георг. — Что это значит?

— Это значит, что ты недогадливый человек, Георг.

— Но, позволь...

— Слушай! — прервал его Мироныч: — «...на наш Каспийско-Кавказский фронт смотрят сейчас все рабочие и революционные крестьяне Советской республики, и мы должны во что бы то ни стало оправдать их надежды. Советская Россия требует от нас, чтобы мы твердо и смело встретили те затруднения, которые стоят перед нами. В первую очередь нам необходимо преодолеть продовольственный кризис. Все население должно быть строго разделено по категориям, в зависимости от степени своего труда. Мы должны воплотить в жизнь принцип: кто не работает, тот не ест, и ввести классовый паек — единственно справедливый». Так, Георг?

— Само собой, — пожал плечами Атарбеков. — Но скажи, это что... Это кто поручил тебе написать?

— Погоди, Георг...

Но Атарбеков не мог успокоиться — он с недоумением переступал с ноги на ногу и умоляюще прикладывал руки к газырям черкески.

— Ты остаешься здесь?

— Да...

— Неужели?..

«...Главная же наша задача, — продолжал Киров, с улыбкой разводя руками, — это работа для армии, ей мы должны отдать все»... Пришла телеграмма от Свердлова, понимаешь, Георг?.. «Красная армия имеет своей задачей не только сокрушение контрреволюции, но и завоевание для Советской России хлеба и нефти. Наш долг — во что бы то ни стало дать армии продовольствие, обеспечить спокойное пребывание в Астрахани больных бойцов. Об этом должны неусыпно заботиться все, кому дорога Советская Россия. Итак...» Не перебивай, Георг... «Итак, дружно все за работу, к которой зовет ответственный момент, а все те, которые осмелятся тормозить нашу общую деятельность, встретят самую беспощадную кару революционного закона». Ну как, Георг?

— Прекрасно, — воскликнул Атарбеков. — Дай руку, друг!..

Они обменялись крепким рукопожатием.

— Поздравляю... — взволнованно сказал Георг. — Но... как ты скажешь Оскару, он ждет...

— Да... — задумчиво проговорил Мироныч, направляясь к дверям. — Уж очень он хотел на Терек... Ладно, пойдем в зал, Георг.

2

Бывший студент-медик и драматический артист совершали ночной обход госпиталя. Не переступая порога палаты, они боязливо прислушивались к доносившимся стонам и шорохам, вздыхали и шли дальше. По дороге встретился им врач. Он нес перед собой зажженный керосиновый ночничок, а подмышкой держал две кислородные подушки. Свет ночника образовал вокруг его седой растрепанной головы пушистый сияющий нимб.

— Там снаружи сова, — сказал он свистящим шопотом. — На колокольне. Вы прислушайтесь, господа. Каждую ночь стонет... Постонет и улетает охотиться вокруг покойницкой... Каждую ночь...

Они постояли молча, затаив дыхание.

— Это не сова, — сказал драматический артист. — Кажется, кто-то поет...

Все трое вздрогнули и подошли к раскрытым дверям палаты. Решетчатый свет луны озарял белую подушку и задумчивое лицо Лещинского. Он тихо напевал. Врач остолбенел. «Что за песни?» Он замахал руками, цыкнул, и песня умолкла.

— Простите, доктор...

— Замолчать! — крикнул врач. — Завтра же я вас выпишу. Что это такое?

Помощники переглянулись и вышли вслед за врачом из палаты.

— А все-таки там сова, — пробормотал врач. — Вы прислушайтесь, господа.

И он ушел, шлепая рваными сапогами по каменным плитам коридора.

— Этот больной, кажется, пел «Марсельезу», — сказал студент-медик, — вы обратили внимание, коллега? Он пел по-французски.

— Неужели?

— Т-ш-ш... Вот послушайте.

Они замерли в ожидании, — может быть, он снова запоет. Теперь им хотелось, чтобы он запел. Но в палате были слышны лишь покряхтывания да стоны.

— Вам показалось, что по-французски, — сказал драматический артист. — Пойдемте, коллега.

Они ушли, а Лещинский лежал, потный от смущения, и думал о том, что, когда семья его доберется до Астрахани, он будет уже на Тереке. Жена, видимо, приютилась где-нибудь у калмыков и ждет весны. Утихнут бураны, отойдут мерзлые пески, зазеленеет ковыль, и тогда, — она умница, Лида, — тогда будет совсем не трудно... Она наймет калмыцкую арбу и спокойненько приедет с детьми в Астрахань. Но скажут ли ей, где он? Пожалуй, в губкоме не скажут. Денег ей дадут, конечно, она поймет, где он, поймет все, — умница! И будет ждать. А после, когда можно будет, — он напишет ей оттуда, с Терека.

Так думал Оскар. Он снова замурлыкал по-французски «Марсельезу».

«Это ведь никому не мешает — почему врач так раскричался? Лучше ведь, когда поешь, а не стонешь от боли...»

За окном послышался гудок въезжавшего во двор автомобиля. Дотянувшись на руках до подоконника, Лещинский увидел, как среди тополей промелькнули две фигуры — они исчезли за низенькой дверью приемной. Из-под дощатых ворот покойницкой выскочила испуганная собака и стрелой пронеслась через двор...

«Боги жаждут, — подумал Оскар, укладываясь в постель. — Видно привезли еще одного... Кандидата, как их тут называют...»

В коридоре зазвучали голоса.

— Койки все заняты, товарищи.

— А нам не койки, нам врача...

Прошли мимо, стало тихо. Потом из дальнего угла коридора снова донеслось:

— Там разберутся, гражданин доктор, не беспокойтесь...

— Но у меня триста коек, — говорил врач дрожащим голосом. — Как я могу оставить госпиталь?

— Ничего, обойдется...

— Триста коек, поймите!

— Лучше не сопротивляйтесь, гражданин... Не советуем.

Врач не выдержал — через весь коридор прокатился его взбешенный крик:

— У меня человек умирает! Я не могу уйти от него! Не могу!

Под сводчатым потолком палаты отдалось многократное: у-у-у.

Лещинский до крови закусил губу, силясь сойти с кровати. Он уж стал на ноги, но голова закружилась, подкосились ноги, и он упал.

— Чорт!.. — простонал он. — Куда они его уводят?..

Шаги удалялись, но теперь ожили палаты. Заклубился тревожный говор.

— Сестрица, — позвал Оскар.

Она вошла, испуганная, сонная, и приложила палец ко рту.

— Тише!

— Куда повели врача?

— Арестовали...

Оскар снова застонал.

— Позовите их, сестра. Я объясню им все. Я слышал...

Сестра не двигалась. Она всхлипывала и бормотала, как во сне:

— Убьют... Его в ЧК забрали... Боже ты мой...

Автомобиль постреливал во дворе, оглушительные выхлопы сотрясали ночь. Когда Лещинский дотянулся до оконной решетки, автомобиль уже выкатывал из ворот.

Шорох соломы, шаги в коридоре, говор и кашель затихли. Сестра вытерла рукавом мокрые от слез глаза и пошла в приемную. Страх пропал, и теперь ей хотелось узнать, что говорят о случившемся помощники врача. Она нашла их во дворе.

— Как же будет теперь? — спрашивал драматический артист. — Ведь надо что-то делать? Куда-нибудь обратиться?

— Куда? — сказал студент-медик таким тоном, что коллега его умолк. Ночной шорох тополей пугал... Мигали звезды. С колокольни вдруг раздался протяжный крик совы.

3

Прежде чем войти в палату, Киров постоял на пороге, прислушался. Лещинский слез с подоконника.

— Иди же сюда, Мироныч.

— Почему у вас так... безлюдно? — прошептал Киров. — Никто не остановил, не спросил, куда, зачем?

Он помог Лещинскому лечь в постель. У Оскара колотилось сердце. Он тяжело дышал, с присвистом, и страдальчески морщился.

— Ты зачем на подоконник залез? — недовольно спросил Мироныч. — Еще бы на потолок забрался. Чудак! Лежи, молчи!..

Оскар отдышался, протянул руку, ласково тронул шинель Кирова.

— Я хотел видеть, кто приехал... Я не думал, что это ты.

— Почему ты не спишь?

— Там автомобиль стоит, Мироныч. Это кто приехал?

— Я...

— На автомобиле?..

— Да... Как себя чувствуешь?

— Теперь хорошо. Я даже пел, и врач хотел меня завтра выписать!..

Мироныч улыбнулся в темноте и покачал головой. Была глубокая ночь, в палате все спали.

— Не чуди, Оскар, тебе еще надо полежать.

— Но его вдруг арестовали, — проговорил Лещинский. — Я чуть с ума не сошел. Мерзавцы, если бы я мог...

— Да тише ты... Ведь ночь... Кого арестовали?

— Нашего врача...

Оскар дышал широко раскрытым ртом и мотал головой.

— Когда? — спрашивал Мироныч.

— С час тому назад...

Киров вышел в коридор, но тотчас же вернулся в палату.

— Не понимаю, — пробормотал он, — за что его арестовали?

— Сюда приходил один... из исполкома... Врач отказал ему... Он просил, чтобы ему отвели целую палату... И я слышал, как он грозил врачу...

— Дикость какая-то, — повел плечами Мироныч. — Хорошо, я сейчас пойду и все разузнаю...

Он нашарил пальцами на шероховатом подоконнике кружку с водой и подал ее Лещинскому.

— На, выпей...

Оскар успокоился и рассказал все. Мироныч нахмурился, взял из рук Оскара пустую кружку и поставил на место, в угол подоконника.

— Это слышал и Георг?

— Да...

— Где он устроил больного, которого мы подобрали на берегу?

— Кажется, там, где живут инвалиды.

— Хорошо... Мы уладим это дело, Оскар, ты успокойся и слушай. Москва оставила меня здесь для работы в Астрахани. Это, пожалуй, хорошо. Как ты думаешь?

Лещинский молча смотрел на Мироныча.

— Как ты это находишь, Оскар?..

Под Оскаром зашуршала солома. Мироныч вдруг почувствовал, что ему тяжело говорить. Он хотел сказать Оскару, что и ему пришлось пережить трудную минуту, когда Пашкова сообщила ему о неожиданном решении Москвы.

Оскар потянул на себя одеяло, завернулся, ушел головой в подушку и оттуда, из глубины, не сводил взгляда с Мироныча.

— Так-то, дружище, — проговорил Киров. — Будем здесь работать.— Он нагнулся и провел рукой по потному лбу Оскара. — Создан ревком, ты понимаешь, Оскар? И я избран председателем. Ты слышишь?

— Да...

— И пришлось с места в карьер решать. Ты понимаешь?

— Понимаю...

— И мы уже взялись. Начали кое-что делать.

— Так, — проговорил Лещинский.

— Армия, тиф, хлеб, — задумчиво говорил Мироныч, выглядывая из окна во двор, — гарнизон разложен, везде саботаж... Покончим с этим, Оскар, и поедем на Терек.

— Когда это будет...

— Это будет, Оскар. Не одни поедем — с армией. Наведем порядок в частях, переформируем полки, создадим новые и отсюда через те же степи, прямой дорогой — на Терек. Ты слышишь?

— Не фантазируй.

— Это не фантазия, — ответил Киров. Он помолчал и усмехнулся. — Это, по-моему, даже точный план. Ты завтра подумай. Сейчас тебе пора спать...

— Постой, Мироныч!

— Ну...

— Ничего, иди...

— Тебе что-нибудь нужно?

Лещинский молча вздохнул и повернулся к стене. Голова его ушла в темь.

— Нет, спокойной ночи.

Драматический артист и студент-медик давно стояли за дверью палаты, бледные, тихие, и ждали. Прежде, когда зафыркал автомобиль, они скрыли друг от друга смертельный страх; теперь они также скрывали свои радостные догадки — они уже понимали, что их не арестуют. Те матросы сразу потащили врача, а этот мирно шепчется о чем-то с больным, который умеет петь по-французски «Марсельезу».

Мироныч вышел из палаты, постоял немного в коридоре, задумчиво теребя бородку. Вдруг он услышал шорох у стены... К нему робко подходили студент-медик и драматический артист.

— Простите, что я без разрешения, — сказал им Мироныч. — Здесь есть телефон?

— О, пожалуйста, что вы, пожалуйста!

По пути к приемной Киров попросил показать ему больного, которого привез Атарбеков. Они повели его в комнату инвалидов. Мироныч тихонько приоткрыл дверь: темнота, звучный, здоровый храп... На столе коптел забытый ночник. Сестра растерянно ходила взад и вперед у дивана и ломала руки в отчаянии. В углу безмятежно спал Тимофей. С дивана несся клокочущий хрип...

Мироныч наступил ногой на кислородную подушку. Он не стал спра-

шивать, что с больным, и выбежал из комнаты. Помощники врача едва поспевали за ним. Натыкаясь на шкафы и кучки дров, лежавшие у печек, они добежали до приемной.

Из приемной Киров позвонил в Особый отдел.

— Позовите Атарбекова!

На бледном, усталом лице Мироныча дрогнули брови.

— Георг! Я говорю из госпиталя. Ты принял дела?

— Что ты? — усмехнулся в трубку Атарбеков. — Тут сам чорт не разберет!..

— Послушай, Георг. Ночью тут арестовали врача. Приказываю: сейчас же найди его, освободи, извинись перед ним и доставь на своей машине в госпиталь. Сейчас же, Георг. А подлеца, который его посадил, арестуй немедленно. Ты слышишь?

— Есть... Ты где будешь, в госпитале?

— Нет, еду в штаб, там ждут...

Студент-медик и драматический артист ошалело смотрели друг на друга.

Кончалась ночь, и костры догорали, когда на берегу появился Тимофей. Он тащил за собой покрытую рогожей двухколесную монастырскую тачку. Бойцы приподняли рогожу, молча перекрестились. Тимофей снял с тачки сундучок, поставил на старое место, под телегу, и присел у костра.

— Тут воблу давали, — сказал Задорожный. — На, твоя порция...

Тимофей съел воблу, запил кружкой речной воды.

— Да, — проговорил Задорожный. — Так-то, брат...

Бойцы молча улеглись на свои шинели. Немногие спали в эту ночь. Тимофей задумчиво вычищал крошки из бороды.

— Просил похоронить в степи... На обратной дороге, говорит, постучите... Я услышу, говорит...

Задорожный исподлобья кинул взгляд на Тимофея.

— Так и сказал?

— И обрадуюсь, говорит, за вашу победу... И помер.

— Небогато пожил, да кстати, — сказал Задорожный: — Добре ж, отольются кошке мышиные слезы. Ой, не прощу этого никогда!..

Тимофей громко икал, пил студеную воду из кружки. Задорожный ушел к ближним кострам, принес охапку коротких саперных лопаток и взвалил их на тачку рядом с телом мертвого командира.

— Пойдем, земляки...

Двое остались у костра сторожить оружие и вещи. Степь была рядом — темная, необъятная, страшная. Луна скрылась в тучах. Тачку вывезли на пригорок, и тут, в полуверсте от берега, в мерзлой песчаной земле похоронили командира.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Бани были открыты с шести утра.

Забравшись на верхнюю полку, Киров парился долго, жарко, со вкусом. Нужно бы подремать часок перед наступающим днем, но уже нет

времени. Ночью была страшная гонка — из штаба в губком, из губкома на берег... Подсчитали, что надо разместить двадцать шесть тысяч бойцов — усталых, больных и обмороженных. Сколько еще бродят по степи — в штабе не знали.

Предстоял горячий, беспокойный день, и Мироныч решил побороть сон хорошей баней. Он смачивал глаза мыльной водой, но они слипались; от парной духоты и гулких покряхтываний, — в бане, кроме него, мылись еще двое, — сильней хотелось спать. Эти двое с азартом хлестали друг друга вениками.

— Еще, Губин. Покрепче...

— Всю ночь дежурил, понимаешь... Устал. А тут под утро еще ходил в монастырь, саботажника одного надо было посадить. Тьфу, работа вшивая — не дай бог... Там из флотилии нашей много ребят. Не дотянут, черти, до навигации.

— Да, матрос, плохо дело. Говорят, и чума объявилась в городе.

— Да ну?..

Матрос — это был молодой здоровяк, кряжистый, смуглый, с татуированной грудью — от удивления даже придержал веник.

— Чума?

— Ей-богу, правда. Сей ночью, говорят, военные хоронили чумного в степи... Помахивай... Скоро гудок.

— Кому сгореть, — сказал матрос, яростно размахивая веником, — тот не утонет. Верно, Егор Иванович?

— Это все армия из степи занесла, окаянная...

— Брось, — сказал матрос, — собака лает — ветер носит. Пролетарию это не идет!

— Что, говоришь, не идет?

— Не идет, говорю, тебе провокацию распускать.

— Это я провокацию распускаю?

— Ты, а кто ж? Контрики пустили слух, а ты трепешь...

— Да это же правда! Хоронили чумного. Наши видели.

— Брось, — повторил матрос и хлестнул старика. — Поговори еще...

Сухопарый Егор Иванович вдруг выпрямился, сердито посмотрел на матроса.

— Ты что, сукин сын, ошалел, что ли?

Матрос швырнул веник на пол, подставил шайку под кран, набрал воды и опрокинул ее на себя. Егор Иванович все ругался, почесывая костлявую спину толстыми желтыми пальцами.

— Э-ка разошелся!.. Пайка вам по два фунта дают, чертям, так и здоровы, как быки. С нашим пайком так не размахнулся бы!..

— Да — сказал матрос, отфыркиваясь и подмигивая Кирову. — От вашей мастеровщины много пользы — будет с нее...

Мироныч спускался вниз, раскрасневшийся, свежий.

— Будет? — кричал Егор Иванович. — Вот забастуем и будет... Все будет, погоди!

— Бросьте, товарищи, — остановил их Киров.

Матрос пошел одеваться. Когда за ним захлопнулась дверь предбанника, Егор Иванович сплюнул, хмуро посмотрел на Кирова и отжал рукой воду из редкой седоватой бороденки.

— Жучки флотские! Целыми днями с астраханскими силуэтками разгуливают да еще издеваются, клешники!..

Они вышли вместе в предбанник.

— Нашему брату на голодный зуб не попадайся, — говорил Егор Иванович. — И свет не мил, когда идешь на работу не жрамши.

Матрос уже был одет — синяя голландка и широкий черный клеш с нашитыми внизу штанин перламутровыми пуговицами. Он держал перед собой круглое зеркальце и старательно расчесывал густые черные вихры.

— Старуха три года на мир сердилась, — сказал он, ни на кого не глядя, — а мир того и не знал.

— Узнаете, — зло крикнул Егор Иванович. — Вечер покажет, каков был день... Погоди еще!..

— Не подуйте на нас холодным ветром, — язвил матрос.

У дверей сидел невыспавшийся банщик — худой, с землистыми морщинистыми щеками.

— Придут англичане — подуют, — прозвучал его хрипловатый голос.

Мироныч понял, что сейчас произойдет ссора. И он подсел к матросу и попросил зеркальце.

— На, браток...

Егор Иванович, накинув на плечи полотенце с красными петушками, молчаливо покуривал.

— Слышал ты, что этот мопс у дверей прогавкал, а? — спросил у Кирова матрос.

— Про англичан? Они не придут.

Быстро одевшись, Мироныч зачесал наверх волосы и вернул матросу зеркальце.

— Надо его проучить трошки, — сказал матрос, натягивая бушлат.

— Не стоит, — сказал Мироныч. — Пойдем...

Когда они спускались вниз по лестнице, матрос вдруг усмехнулся.

— Барбос, — пробормотал он, — кричит: «Два фунта!», а не знает, что даже и не полтора!

— Почему?

Матрос был уже внизу — он перескакивал сразу через три ступеньки.

— Так постановили наши ребята, понял? — донесся его голос. — Полпайка отдали в пользу армии.

Киров вдруг ощутил радостный толчок в сердце. Он догнал матроса.

— Когда это постановили?

— Вчерась, — ответил матрос. — Пришли наши с дежурства — ревком, говорят, создан в городе, то да се. Армия голодает. Ну и постановили.

— А много было народу?

— Где?

— На собрании?

— Чудак ты, ей-богу, — рассмеялся матрос. — Трое нас и было: я да еще двое с «Москвитянина». Сослуживцы мои, понял?..

Вышли на улицу. Еще не рассвело, но луна ушла за горизонт. Небо стало черным, ветер попахивал соленым, как на море. Киров вспомнил, что Каспий лежит всего в девяноста верстах от Астрахани, и ему представилось, как сырая, рыхлая моряна хлещет в Волгу и по-надморью плывет раскатистый гул. Серые, тяжелые волны накатываются на прибрежный лед, крушат его и брызжутся пеной. Он спросил у матроса:

— Скоро путина?

— Смотри! — усмехнулся матрос. — А почему это тебя все интересует? — он поглядел искоса, сверху вниз, на Кирова. — Ты партийный?

— Да...

— Не будет в этом году путины... — ответил матрос.

— Почему?

— А вот не будет...

Они подошли к стоящему у обочины тротуара автомобилю. Шофер дремал, уткнувшись головой в спинку сидения. Мироныч слегка прикоснулся к его клетчатой кепке.

— Прости, что задержал, дружище.

— Ничего, — сказал шофер, взял ключ и пошел заводить мотор. — С Букановым мы и подольше стояли.

— Однако скоро ты съездил. Ну, что сказал Атарбеков?

— Ничего, — уклончиво ответил шофер, косясь на матроса.

Матрос насупился, нахлобучил бескозырку и молча, не прощаясь, зашагал по улице.

— Постой, — крикнул ему Киров, — куда?

— А мне с вами не по пути...

— А куда тебе?

— В ревком...

— Ну и мне туда, садись — подвезу.

Несколько минут ехали молча. Матрос как-то сразу изменился, помрачнел, с недоверием и опаской поглядывал на Кирова.

— Атарбеков просил позвонить ему, когда начнется заседание, — сказал шофер, — обещался приехать.

— Хорошо, — ответил Мироныч. — А что врача он освободил? И в госпиталь отвез?

— Отвез...

Матрос хмуро слушал этот разговор. Злые огоньки блеснули в его глазах.

— А скажи, — обратился Киров к матросу, — значит, о ревкоме у вас уже знают?

— Знают...

— Одобряют?

— А почему бы нет? — отозвался матрос. — Городу нужна сильная власть, а не фигли-мигли. Тут человека надо сильного поставить!..

В густой синеве улицы, у ворот хлебопекарни шумела толпа. Очередь в два-три ряда пересекала мостовую и нескончаемой извилистой лентой тянулась вдоль забора. Шофер дал гудок, но очередь не уступила дороги автомобилю. Бабы крепко держались друг за друга и визжали.

— Стой, — сказал шоферу Мироныч.

Он выскочил на ходу из машины и направился к воротам хлебопекарни. Шофер подрулил к обочине мостовой и, выключая мотор, усмехнулся:

— Сейчас будет номер, браток. Ночью власть переменилась, а в пекарне-то еще не знают.

Матрос вышел из автомобиля и отряхнулся, как вылезшая из воды собака.

— Намнут ему бока — и все, — проворчал он. — Пущай не вмешивается.

— Дурень, — крикнул шофер, — прикуси-ка язык!

— Что?

— Говорю, не трепись.

Шофер махнул рукой, устало откинулся на спинку сиденья и дремотно закрыл глаза.

— Барбос ты, понял? — сказал матрос. — На задних лапках перед ними служишь, да только зря. Завтра ревком погонит твое начальство к чертям!..

Шофер вытаращил глаза на матроса.

— Ты что, с неба свалился? Так он же и есть председатель ревкома — Киров. Он самый. Дурень ты...

Матрос долго щурился на толпу, гудевшую у ворот пекарни.

— Ну, ну, полегче, видали мы таких...

Он снял бескозырку, пригладил рукой еще влажные волосы и начал пробивать себе путь к пекарне. Во дворе, под круглой кирпичной аркой, у крутого темного спуска в пекарню, стоял Киров. Из подземелья сквозь открытые отдушины несло тепловатым запахом кислого теста.

— Сейчас, — послышался из глубины подземелья старческий голос. — Иду...

Появился дряхлый милиционер — седой, как лунь, курносый, с заспанными глазами. Покорно выслушал он сердитые слова Кирова и поплелся к воротам.

— Они кричат не от голода, — пробормотал он, — а от хамства.

Перед калиткой он постоял, не решаясь выйти.

— Ну! — подхлестнул его криком матрос.

Старик просунул голову в щель и вдруг отшатнулся.

— Разорвут, ей-богу... Назар Яковлевич!..

Кованая железом дверь черного хода в лавку с треском распахнулась, блеснули чьи-то пенснэ. Пухлая рука с обручальным кольцом на среднем пальце прикрывала пламя свечного огарка.

— Товарищ зав, — доложил милиционер, — тут пришли.

В лавке было душно, на полке отливали матовым глянцем круглые свежеиспеченные хлебы. Тикали ходики. С улицы хлестали в железную штору голоса.

— Они от хамства, — проговорил с порога милиционер.

Мироныч остановился у стойки. Назар Яковлевич зажег лампу.

— Почему закрыта лавка? — спросил Киров.

— Разрешите узнать, — ответил Назар Яковлевич вопросом, — который, по-вашему, час?

— Восьмой.

— А по закону полагается открывать в восемь...

— Почему в восемь? Люди хотят получить хлеб до начала работы. Почему же именно в восемь, а не в шесть?

— Закон-с...

Мироныч стиснул зубы.

Из боковой двери вышли две женщины.

— Откройте магазин, — приказал им Назар Яковлевич. — А вот вам...

Вздыхая, он снял с полки румяный хлебец и протянул его Кирову.

— Тут фунтиков пять с гаком...

— Положите хлеб на стойку!..

—...Только придется под полой пронести. Пожалуйста...

Женщины отпирали лавку. Мироныч, весь красный, с недобрым огоньком в глазах, стоял, как вкопанный, у стойки и ждал... Когда над наружной дверью продребезжал звонок и с улицы хлынула очередь, он вышел из лавки.

На улице было совсем сине. Старый милиционер сидел у ворот на тумбе и осторожно набирал табак из кисета матроса.

— Наши отцы, — говорил он, — табачок не то что, как нынче, покуривали, а еще в обе ноздри бывало набьют...

Перед Миронычем он встал.

— Да, во как!..

Задремавший шофер услыхал знакомые голоса и встрепенулся.

— Так вы интересовались насчет путины, — говорил матрос, — можно сказать?

— Конечно, — улыбался Киров. — Садись, по пути расскажешь...

Мироныч сел в машину, а матрос все еще стоял в нерешительности у кабины шофера.

— Батька мой рыбак, понимаете, — из рода сосланных стрельцов за московские бунты, — говорил он, — Губин по фамилии, рыбак, и сам я был рыбак. Могу сказать...

— Ну, садись и говори, — торопил его Мироныч.

Матрос откашлялся.

— Сбруи нет, — сказал он, — ни сетей, ни пряжи...

Мироныч чувствовал, что происходит в матросе: одним, но точным, безошибочным словом можно было его надолго приблизить к себе и, наоборот, малейшей неосторожностью, какой-нибудь обмолвкой, отдалить от себя — и тогда он станет таким же хмурым и замкнутым, каким был полчаса назад. Матрос ждал. Киров ничего не сказал, но лучисто улыбнулся и открыл дверцу автомобиля. Губин поймал его взгляд, тоже улыбнулся и молча уселся рядом на сиденье. Когда машина тронулась, Мироныч задумчиво покачал головой. Матрос вздохнул, и они снова улыбнулись.

— Значит нет сбруи?

— Да, — ответил Губин, — батька так пишет...

Из лавки выходили рабочие и женщины, уже получившие хлеб. И пока не тронулась машина, Мироныч все искал среди них Егора Ивановича, и ему было жаль, что старик ушел на работу без хлеба...

В пути Губин рассказывал:

— Хозяйство ловецкое запущено, народ ушел на фронт... В поселках совсем пусто — одни старики да бабы с детишками. Да купцы-рыбники... Эти много не наловят. Они нами были сильны. Теперь снищали.

Губин вдруг потянул носом воздух и оглянулся на юг.

— Моряна, — сказал он, — разгуливается, крепчает.

— Значит скоро весна, — отозвался шофер и обернулся к Губину: — Послушай — был номер?

— Какой?

Шофер усмехнулся.

— Они к Буканову привыкли... Каждый раз, когда бывало проедем мимо, он заглянет в лавку и выйдет с хлебцем.

— Буканов? — переспросил Мироныч.

— Ну да, — ответил шофер. — Это ведь его машина...

Улицы просыпались. Протяжно гудели в гавани гудки. По льдистой, промерзшей за ночь мостовой шли прохожие.

У темного подъезда типографии астраханской газеты «Коммунист» Губин вышел из машины и попрощался с Миронычем.

— Значит так и сказать?

— Да, поторопись, пока газета не вышла...

— Сказать, что, мол, постановили отдать полпайка?

— Да, так и скажи.

— Добре, — пробормотал матрос. — Но... от имени экипажа?

— Почему?.. Ведь вас было только трое!..

— Ладно, — сказал матрос. — Прощайте.

— Прощай...

Когда автомобиль скрылся за поворотом улицы, Губин почистил свой клеш, заметил, что с правой штанины оторвались две пуговки, постоял немного в раздумьи, махнул рукой и скорым шагом направился к Волге.

2

Бугристая, раскидистая Астрахань еще только выходила из беспокойного ночного забытья, еще не шумели базары и в церквах не звонили к обедне, когда в тронутых ростепелью грязных улицах предместья Форпост появились плотницкие артели.

Начался суматошный день. Густо повалил сюда из города народ. Ни-весть откуда взялись извозчики и санитары. Невыспавшиеся мобилизованные ревкомом профсоюзники тащили по льду с того берега походные кухни, бревна, дезинфекционные камеры.

Банно-прачешный отряд Пашковой добрался до Форпоста с небольшой потерей. Двухколесный вещевой цейхгауз утонул по пути в полузамерзшей проруби. На берегу Пашкова узнала, что у Ерохина случилась беда похуже — он утопил в Волге целый обоз с печеным хлебом и сушеной воблой — три фуры.

— Потому что моста нет, — оправдывался Ерохин, — а через Волгу не перемахнешь этаким... революционным скачком. Это не митинг. Это — Волга!..

— Шляпа, — сказала ему Пашкова. — Тебе давно пора изжить свои меньшевистские отрыжки.

— Причем тут меньшевизм? — рассердился Ерохин. — Ни к селу, ни к городу. Меньшевизм! Мост нужен...

Он сушил сапоги у походной кухни. Губпродкомовец в меховой шапке поддерживал его.

— Сотни лет стоит эта Астрахань, — кричал Ерохин, — стоит на самой Волге, а моста нет. От моря и до самой Сызрани ни одного моста. Вчера я докладывал об этом... Ну, что можно сделать!

День был пасмурный. На льду чернели разводья. Пахло смолой — плотники тесали бревна. Повсюду горели костры. Отступившие с Кавказа бойцы свозили на склады оружие. Комендант Форпоста, грузный, в кожаных галифе, выстраивал у рыжих нефтяных цистерн Нобеля живую цепь. Мимо цистерн толпа бойцов с криком тащила две гаубицы и зарядную двуколку.

— По правде говоря, не понимаю, почему все уцепились за этого

Кирова, — толковал Ерохин, держа за пуговицу коменданта. — Как это он справится с неразберихой в самом ревкоме, а тем более в городе и в губернии!.. Что-то уж он очень простоват.

Комендант не слушал его — он сердито смотрел на приближающиеся орудия.

— Дурьи головы, — заорал он, — бери левей!..

Но гаубицы непослушно ползли по вязкой снежной тропе к цистернам. Да им и некуда было свернуть. Тащили их волоком, по-бурлацки, с помощью каната и с криками: «Эй, эй, пошла!», а сзади подталкивали другие и тоже кричали: «Эй, эй, взяли!».

Впереди, вцепившись в оглобли двуколки, шел Тимофей, весь измазанный в глинистой грязи. Комендант побагровел, обнажил револьвер и выстрелил в мутные, низко нависшие облака. Гаубицы не остановились. Тогда он пальнул еще раз. Тимофей молча обернулся к коменданту и свалил его с ног ударом кулака. Ерохин и губпродкомовец увидели, что на том месте, где упал комендант, копошится в грязи людская куча, и закричали; в цепи тоже закричали, и началась стрельба. Тимофей и остальные бойцы бросились наутек.

— Держи, — кричал Ерохин. — Держи их...

С баржи прибежала Пашкова.

— Шляпа! — сказала она второй раз Ерохину. — Как ты допустил?

Избитого коменданта понесли на руках к пристанской аптеке. Пашкова вытерла его окровавленное лицо кусочком ваты из торфяного мха. Ерохин тем временем позвонил в ревком. К телефону подошел Киров.

— Произошла драка, — сообщил Ерохин. — Ужасная!..

Мироныч не расслышал — из его кабинета врывался в трубку многоголосый шум. Ерохин прочистил горло и снова прижал свои пересохшие губы к трубке.

— Драка? — переспрашивал Киров.

— Да. Коменданта Окулова избила банда при исполнении служебных обязанностей. Он защищал цистерны от поджога!..

— От поджога?

— Да.

— Кто же хотел поджечь?

— Отступившие.

— Что за глупости, — сказал Мироныч. — Скажи, как это ты утопил фуры?

— Что?

— Обоз почему утопил? Не слышишь? Сейчас же приезжай...

— Ничего не слышно, — сказал Ерохин и, вешая трубку, зло посмотрел на Пашкову. — Кричит и все...

3

Буканов словно сквозь землю провалился. Атарбеков поднял на ноги весь штат Особого отдела и сам бросился на поиски. В трех больницах ему ответили, что ночью и на заре действительно к ним заходил Буканов — просил отдельную палату и страшно ругался. Рассказывая об этом, врачи уверяли, что они обещали Буканову сделать все, что смогут. Первую же освободившуюся палату они, конечно, предоставят ему...

— Не стоит, — хмуро говорил им Атарбеков. — Ему уж приготовлено в другом месте отдельное помещение.

По правде, Георг и сам не знал, куда ему теперь ехать, где еще искать Буканова. Неужели он успел сбежать из города. Но тогда... Тогда, значит, его предупредили. Проклятая история!

Эта ночь открыла Атарбекову страшную картину; теперь он знал точно, что в городе, действует хорошо законспирированная белогвардейская организация. Было совершенно ясно, что к ней причастен и Буканов. Узнав об этом, Киров приказал:

— Найди его во что бы то ни стало. Ты напал на верный след... Это может помочь нам раскрыть всю банду!.. Не упускай его, Георг!..

«Где же Буканов? — думал теперь Георг. — Чорт его знает, куда он скрылся!»

— Взять налево? — спросил у Георга шофер.

— Да, потихоньку, — ответил Георг, дремотно закрывая глаза.

Он вспомнил, что Шляпников и бывший предчека Мирский сегодня уезжают в Москву... Ранним утром на заседании ревкома Пашкова рассказывала, что Шляпников всю ночь жег в штабе бумаги...

Эти бумаги причинили Георгу много беспокойства в эту ночь. Где письма рабочих, предупреждавших Особый отдел о существовании в городе белогвардейской шайки? Сотрудники Особого отдела пожимали плечами, — это были в большинстве хорошие, преданные ребята, они копались вместе с ним в бумагах, но писем не находили.

— Эх, вы, чекисты, — журил их Атарбеков.

Те разводили руками.

— Мирский брал их к себе... Наверное, сжег...

Теперь, после бессонной ночи, Георг устало зевал в автомобиле и сожалел, что не догадался последовать примеру Мироныча — баня, оказывается, превосходно действует на усталый организм. На рассвете Мироныч вел заседание ревкома с энергией хорошо отдохнувшего человека.

Шел одиннадцатый час дня. Навстречу синему фордику катилась шумливая Астрахань. Вдруг Атарбекову послышался острый запах карболки. Шофер развернул машину и направил ее в узкий переулок, сплошь запруженный извозчиками и санитарными фургонами. В переулке, затопленном талым снегом, было темно, зябко и почему-то холоднее, чем на центральной улице. Бородатые извозчики бойко хлестали себя руками по тулупам и притоптывали ногами.

У широкого подъезда кинотеатра «Модерн» стояли Киров и Ерохин. Мимо них в раскрытые настежь двери вносили на складных холщевых носилках тифозных, привезенных с берега.

— Как дела, Георг? — спросил Мироныч. — Пойдем-ка, поговорим.

В вестибюле кинотеатра суетился знакомый врач из монастырского госпиталя. Он был в пальто, в галошах и держал в руке суковатую палку с серебряным набалдашником, изображавшим голову лягавой собаки.

— Этих в бельэтаж! — покрикивал он на санитаров. — По два в ложу... Партер занят весь!

И показывал палкой, куда нести тифозных.

— Добрый день, доктор! — приветствовал его Атарбеков. — Вот и снова встретились.

— Да... — ответил с улыбкой врач. — И каждый раз при весьма не-

ожиданных обстоятельствах. Порой мне кажется, что со мной происходят чудеса. В одну ночь был арестован и освобожден... Нет, ей-богу, чудеса!

Георг поймал взгляд Кирова и отрицательно покачал головой. Мироныч понял и взглядом же сказал: «Не успокаивайся, пока не найдешь Буканова».

Они взошли на балкон фойе. Георг вдруг заметил над головой большую темнозеленую ветвь финиковой пальмы. Мироныч оглянулся на Атарбекова.

— Погляди-ка!

Атарбеков перегнулся через барьер и увидел необыкновенное зрелище. Все фойе представляло собой субтропическую оранжерею. Тут зеленели веерные и финиковые пальмы, упиравшиеся верхушками прямо в стеклянную крышу, темнели редкостные агавы, тут была собрана разнообразная коллекция кактусов и фикусов. Все эти растения стояли на высоких цементных подставках. В углу фойе росло лимонное дерево. Вдоль стен были устроены аквариумы, украшенные причудливой бетонной лепкой. Среди этого субтропического леса ходили зачумленные санитары и сестры в красных косынках.

Сверху, с балкона, Георг видел сквозь раздвинутые портьеры партер театра, сплошь уставленный деревянными койками, на которых лежали тифозные. Гулкий, неразборчивый шум наполнял театр.

Киров отвел Георга в сторону и рассказал ему о происшествии на Форпосте. Георг озабоченно качал головой.

— Сейчас же еду на Форпост.

Синий фордик выкатил из переулка и помчался к набережной. Она открылась сразу за кремлем — широкая и раздольная, как Волга. Прочные каменные лабазы, приземистые склады, крытые толем, судоремонтные верфи, отгороженные давно некрашенными заборами и колючей проволокой, покосившиеся пристани, ржавые трубы и высокие мачты зимующих у берега судов военной и торговой флотилий. У заборов и пристаней толпились матросы, грузчики, бродяги, нищие, бабы с корзинами и мешками. Тут шел шумный торг всем чем угодно, и ядовито пахло рыбьей свежью, дегтем и навозом.

Вскоре кремлевская стена осталась позади. Фордик понесся мимо мастерских и пристаней бывшего пароходного общества «Кавказ и Меркурий». Здесь была лучшая пассажирская пристань — ее занимала теперь Волжско-Каспийская флотилия. Пристань окружал густой сад. С дороги была видна прямая, в снегу, аллея. В стороне от аллеи, среди высоких тополей, Георгу бросился в глаза маленький каменный домик. Над покатой крышей из трубы вился дымок. Шофер с недоумением обернулся к Атарбекову:

— Неужели там живут?

— А что? — спросил Георг.

— Да ведь это домик Петра Великого. Там и ботики стоят, на которых он ездил... Нет, ей-богу, там кто-то живет!

— Да, — произнес Георг, — идет дым...

Ноздри его вздрогнули, он потянул носом воздух и положил руку на плечо шофера.

— Постой... Кажется, карболкой пахнет...

Он вышел из машины и направился к домику Петра. По снегу, от

аллеи к входным дверям, была протоптана дорожка. Георг перелез через ограду и заглянул в низенькое оконце. Он увидел большую комнату — посреди стояли две старинные яхты, на стенах висели сабли, копья, мушкеты, пики и ружья времен Петра, а в углу на скамье сидел Буканов и вытирал платком потную грудь. Между ботиками на полу была устроена постель. Два дюжих санитара ходили по комнате и обрызгивали ее карболкой. Георг вдруг почувствовал, что горло его сжимают спазмы — не то от горького смеха, не то от жгучей ненависти...

Пять минут спустя он вел Буканова к автомобилю. Буканов упирался и кричал. Санитары запирали домик.

— Вы ответите за это насилие над больным человеком, — орал Буканов. — Как вы смеете члена исполкома...

— Ладно, — сказал Георг. — Садись...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

За вокзалом, похожим на персидскую мечеть, под товарным навесом их встретил здоровенный, плечистый весовщик в брезентовом дождевике. На его бородатом лице кожа была словно вареная — так он покраснел при виде начальства. Киров, не останавливаясь, нырнул в узкое, темное ущелье среди мешков, пахнувших сухой прелью. Весовщик торопливо зажег «летучую мышь» и осветил путь Ерохину.

— Наш хозяин на станции, у поезда, — говорил весовщик. — Пошел посмотреть на Шляпникова...

Ерохин молча двигался вдоль серых мешочных стен и думал о том, что, может быть, и ему следовало сейчас быть там, у поезда. Шляпников хоть и отозван Троцким по настоянию Ленина, но похоже на то, что в ставке он получит даже повышение — такие по крайней мере слухи идут из Астраханского штаба. На привокзальной площади Ерохин видел автомобили и штабные дрожки. Он предлагал Кирову пройти на склад через пассажирскую платформу, но тот отказался. По глубокому снегу они пошли низом насыпи, а наверху, на дощатом перроне, были слышны голоса и топот людей, прохаживавшихся по платформе. «Ему-то хорошо уезжать в Москву, — думал Ерохин, — а каково нам здесь оставаться...»

Весовщик жался к мешкам, чтобы не заслонить своей тенью дорогу. Ущелье порой сужалось так, что Ерохина с обеих сторон начинали хлестать по плечам пыльные мешочные ушки. Но вот впереди блеснул дневной свет, и через минуту они вышли на небольшую площадку, устланную рогожей. Здесь была контора склада.

Киров сидел на табурете у столика и внимательно просматривал захватанные страницы объемистой приходо-расходной книги. Напротив него стоял счетовод с большими рыжими усами.

— Сколько же у вас осталось хлеба? — спрашивал Мироныч.

Счетовод задумчиво смотрел на свои высокие болотные сапоги.

— Пожалуй, что вагонов тридцать с лишком.

— Нельзя ли поточнее, а?

— Ну, тридцать два — тридцать три...

Обратно шли так: впереди весовщик с лампой, за ним Ерохин, а позади Киров.

— Не поехать ли нам на берег? — спрашивал Ерохин. — Беспокоит меня эта история с избиением коменданта. Шутка ли! Хотели поджечь нефтяные цистерны. Прямо бандиты, чорт возьми. А там у нас, можно сказать, последние остатки роскоши.

— Много там нефти?

— Нефти там кот наплакал, — отвечал Ерохин. — Да и эту хотят у нас забрать. Получаем вдруг на-днях телеграмму из Совета обороны. Отгрузите по засылаемому наряду горючее для Востфронта. Подпись Ленина. Легко писать «отгрузите», когда у нас буквально кризис с нефтью и прочим топливом! Сидим форменно на бобах!..

— Но сколько же там нефти? — настаивал Киров.

Они пробирались по самому узкому месту ущелья, и в темноте Ерохин никак не мог повернуться и схватить за пуговицу Мироныча.

— Пустяки остались, поверьте. Без Баку мы пропали. Нефти у нас там меньше, чем один астраханский купец-театрал подарил как-то заезжей опереточной актрисе. Он преподнес ей 150 тысяч пудов, — и это не анекдот, поверьте!

Киров недовольно морщился, глядя на плывшую впереди тучную спину Ерохина.

— Но губпродкомиссар, не знающий, сколько у него рыбы, хлеба и нефти, — сказал он, — это уж безусловно анекдот, не правда ли?

— Простите, — обидчиво отозвался Ерохин, — насчет рыбы и хлеба мы уже говорили, и я при вас же дал задание к вечеру подсчитать все запасы. Рыбы у нас во всяком случае не больше, чем хлеба.

— Но сколько же?

— Надо подсчитать.

— Так будьте добры, подсчитайте, — сказал Киров, чувствуя, что ему надо сейчас же кончить этот разговор. Самая тяжкая работа так не вымотала бы его силы.

— Но лучше, не дожидаясь подсчета, сегодня же дать срочную в Москву, — советовал Ерохин, — пусть вышлют хлеба, иначе мы погибнем.

— Широкая у вас натура, — усмехнулся Мироныч, — как у того купца-рыбника...

Ерохин молча кусал губы, вздыхал и думал о том, что лучше не отвечать. «Новая метла, говорят, чисто метет. Ну, что ж, пусть пошумит... Пошумит и успокоится... В Астрахани легко свернуть себе шею...»

Поезд еще не ушел. Наверху, на платформе, попрежнему было шумно.

— Надо бы газету достать на вокзале, — проговорил Ерохин. — Судя по вчерашней сводке, наши царицынские войска успешно продвигаются к Тихорецкой... И со стороны Дона... Значит на юге еще не все потеряно. На Восточном вот хуже...

— Кстати, — сказал Киров, — у вас есть предписание отправить туда нефть. Подсчитайте сегодня же, сколько у вас нефти и...

— Сегодня же?

— Да.

— Это невозможно, — воскликнул Ерохин, он взялся было за пуговицу шинели Мироныча и вдруг отдернул руку. — Шляпников не позволит... Простите, штаб не позволит...

— Почему?

— Это его нефть.

— Со штабом я поговорю, а вы подсчитайте.

— Хорошо, пожалуйста...

— И завтра же начните отгрузку.

Ерохин остановился.

— Куда?

— На Восточный фронт.

— Нет, — решительно произнес Ерохин, — не понимаю, вы хотите оставить город и флотилию без горючего?

— Для флотилии надо оставить.

— Ну вот, слава богу...

— Для флотилии оставить, а все остальное отправить.

— В темноте, что ли, будем сидеть? Сидим и так.

— Придется экономить, — ответил Киров.

«Молодой он какой-то, чересчур горячий, — подумал Ерохин и неприязненно покосился на Кирова, — зеленоват еще». А вслух сказал:

— Хорошо, я приму меры к отправке...

Они вышли на площадь. Это был громадный кочковатый пустырь, одним концом упиравшийся в колючую проволоку Астраханского аэродрома, а другим в убогие домишки Бондарной стороны. Высоко над вокзалом кружил аэроплан. За ним тянулся густой дымный след.

— Из нашей эскадрильи, — горделиво заметил Ерохин. — Их у нас четыре... А бензина ни капли.

С площади был хорошо виден город, раскинувшийся на трех буграх. Кремль и центральные кварталы лежали на Заячьем бугре — самом возвышенном пункте в дельте Волги. Предместья и слободы раскинулись по низинам, среди замерзших речек, ильменей и болот.

— Разрешите, я поищу на вокзале газету, — смущенно сказал Ерохин. — Она уже должна продаваться.

— Ну, что ж, — усмехнулся Киров, — идите. — Он сел в автомобиль и сказал шоферу: — Трогай.

— Зачем же, — засуетился Ерохин. — Я с вами... Я только за газетой хотел...

— Тогда садитесь. У меня есть газета. Я вам ее дам.

2

Через мост катился густой возбужденный человеческий поток. Впереди по разбитым бревнам моста топал опухшими ногами долговязый Тимофей — красный, распаренный, без шапки, с заткнутыми за пояс полами изорванной черкески. За ним шли забрызганные грязью усталые бойцы, человек шестьдесят, все потные, разъяренные, а сзади бежали гурьбой школьники. Рядом с Тимофеем шел матрос Губин.

— Так не брешешь ты? — спрашивал Тимофей. — Смотри, не до шуток нам.

— Да зачем же мне брехать, — отвечал матрос, — ночью власть переменилась, и теперь главный, можно сказать, флагман — это ревком.

— А штаб?

— Что штаб? Штаб — так себе...

— Еще и туда пойдем, — сказал Тимофей.

Матрос с недоумением оглядывался на растянувшееся позади шест-

вие. Бойцы были все худые, измученные, в таком рванье, какого во флоте не одел бы на себя и кочегар, спускаясь к топкам.

— Ну и обтрепались же вы, ребята, страшно поглядеть.

Тимофей шагал молча, неуклюже, грузно переваливаясь с ноги на ногу, и в глазах его, глубоко запавших между щетиной рыжеватых бровей и выступом широких скул, горели злые огоньки.

— Ты чем расстроен, браток? — спросил Губин.

Тимофей всхлипнул, откинул голову, набирая в грудь воздух, и вытер ладонью мокрую, липкую шею. Когда миновали мост, он обернулся, махнул рукой отставшим и снова поравнялся с Губиным. Топкой крутой улицей вышли к кремлю. Тимофей поглядел на колокольню, перекрестился и застегнул крючки черкески.

— Сделаем, как Стенька Разин, — бормотал он, — вон с того раската... Кровь за кровь.

Губин поглядел на свой клеш — оторванные пуговки еще не были пришиты, странных слов Тимофея он не понял и думал о том, что неудобно ему являться в таком виде к Кирову, следовало бы пришить пуговки. Когда он был у себя, в казарме экипажа миноносца, в пылу спора с ребятами эта забота даже не пришла ему в голову. А спор был горячий, долгий. В конце концов он убедил их, и все согласились: отдали полпайка армии. Теперь он может пойти с легкой душой в редакцию и сказать: «Печатайте: революционные моряки с миноносца «Москвитянин» все, как один...» Это другой разговор будет, а то что ж — три человека!

— Какого человека загубили, — послышался сзади голос Задорожного.

Он шел прежде в хвосте, а теперь поспешил из последних сил вперед и поравнялся с Тимофеем. Пусть не думает, что в решительную минуту он спрятался за чужую спину.

— Кого загубили? — спросил матрос.

— Многих, сынок, — ответил Задорожный. — И в степи погубили и тут, а теперь новое горе. Пришли из степи хлопцы, говорят, погиб наш Кочубей...

— Это командир ваш?

— Наш общий командир, — ответил Задорожный. — Шел до Ленина, да по дороге поймали его беляки.

— Жаль, — вздохнул Губин, — ежели этот человек сильный был.

— Про Кочубея не слыхал ты? — сердито сказал Задорожный. — «Ежели был сильный» — такой один и был на всю Кубань! Эх ты, еще пуговок себе нацепил.

— Брось, — успокаивал его Губин.

— Один и был такой! За всех нас хотел перед Лениным заступиться! За всех!..

— Ладно, отец, брось.

— Поплачут они и за Кочубея, — угрюмо сказал Тимофей. — За всех разом...

Шествие приближалось к ревкому. Сквозь голые ветви деревьев Братского сада блеснул длинный ряд серых окон, и Губин вдруг увидел, что на решетчатом балконе второго этажа толпятся люди. Впереди них, у самой решетки, стоял Киров. Одна рука его лежала на

барьере, а другая энергично рубила воздух. Внизу, перед балконом, чернела густая толпа.

Миновали сад. На перекрестке выстраивалась милицейская цепь. Губина пропустили, а остальным пришлось пробиваться силой. Очутившись по ту сторону цепи, Тимофей уже не нашел Задорожного. Старик затерялся в толпе.

Тимофей хмуро щурил глаза на оратора.

— Тю, — бормотал он, — то ж он самый!

Они пробились к балкону. Сквозь крики и говор просачивался грудной голос Кирова, и кто хотел слушать, тот слышал его. Но хотели немногие.

— Погибаем, — кричали из толпы. — Они тиф принесли. Заразили весь город, а теперь разбойничают. Они все казаки царские, душегубы!..

Губин сцепился с мрачным гражданином в широкополой рыбацкой шляпе.

— Сыми шляпу, ты, халява, ты ж не рыбак.

Гражданин не отвечал. Окружающие напали на Губина.

— Будет вам командовать, клешники!

— Для нас это самый опасный момент, — говорил гражданин в рыбацкой шляпе. — Большевики идут мимо всего этого высокомерно и слепо, а наш истерзанный трудовой народ...

— Краснобай, — усмехнулся Губин.

Гражданин вспыхнул, обернулся к матросу, несколько мгновений они молча смотрели друг на друга.

— Позвольте, — вмешался старичок в серой окопной папахе, — у нас тут спор идет серьезный, а вы, товарищ матрос, лезете в драку.

— Пускай не разводит агитации.

— Постой, матрос, — сказал Тимофей, — дай послухать.

— Эта армия — герой! — звучал с балкона голос Мироныча. — Она нашла в себе мужество уйти в пески, лишь бы не сдаться Деникину. И она станет нашей опорой, если мы дадим ей отдых и хлеб. Это не орда, не царские казаки, как тут некоторые кричат. Это — трудовая армия, наш верный друг. Она пришла сюда, чтобы окрепнуть, набраться сил и снова ринуться на врага!..

Тимофей оглянулся на Губина, поправил сбитую набок папаху.

— А ничего говорит...

— Ладно, гражданин, — процедил Губин сквозь зубы, — встретимся еще... — Он взял за рукав Тимофея и потащил его за собой, к подъезду ревкома.

Стройный штабист в офицерском полушубке остановил Тимофея:

— Ты куда пришел? В штаб иди.

Из вестибюля вышли Ерохин и Пашкова.

— Здравствуй, Ольхович! — обратилась Пашкова к штабисту. — Где это ты пропадал весь день?

Ерохин оглядывал улицу из-за ее спины.

— Чорт возьми, — бормотал он, — как они так быстро успели собраться. Смотрите, какая толпа!

Они втроем стояли на ступеньках, а перед ними молчаливо топтались Губин и Тимофей.

— Почему ты не был на берегу, Ольхович? — спрашивала Пашкова.

— Да, Ольхович, можешь пожалеть, — сказал Ерохин, — на моих глазах это все произошло. Они хотели поджечь цистерны.

— Мне уже рассказывали, — сказал Ольхович. — Мы примем меры...

— Коменданта они избили так, что вряд ли выживет... — Ерохин вздохнул и закатил глаза. — Ну и денек!

Тимофей с ненавистью посмотрел на Ерохина.

— Брешете вы, — сказал он громко, — никакого не было поджога.

— Позвольте, позвольте, — воскликнул Ерохин, — это что... Позвольте, да ведь это тот самый, из той шайки...

— Из какой шайки? — завопил Тимофей. — Ах ты гад!

— Матрос, — позвал Ольхович, — возьми-ка его.

Губин не двинулся с места; глаза его потемнели; он видел, как Тимофея схватили и потащили в вестибюль. Тимофей тужился, стараясь уцепиться за двери, упирался ногами в ступеньки порога.

— Пойдем-ка и ты, — сказал Ольхович Губину, — за непослушание сядешь на гауптвахту на трое суток.

— Чорт вас знает, — кричала в вестибюле Пашкова, — что вы делаете!..

В душной комнатушке регистратуры, под лестницей, Губин и Тимофей просидели под стражей около часа. Потом их повели наверх. Арестованных ввели в небольшой кабинет. Навстречу им вышел из-за стола озабоченный Мироныч.

— Ба! — воскликнул он с удивлением. — Так это вы преступники?

Пашкова подошла сзади к Губину и силой усадила его в старомодное дубовое кресло. На подоконнике рядом с Ольховичем сидел Атарбеков и сосредоточенно жевал кусок сушеной воблы. Тимофей стоял посреди кабинета и тяжело, прерывисто дышал. Вдруг он неуклюже затопал к столу, уперся руками в зеленое сукно и уставился на Кирова.

— Слушай, комиссар, они... — он затыкал пальцами во все стороны кабинета, где сидели люди, — они тебя продают, не верь им... Продают!..

У дверей с недоумением переглядывались караульные моряки.

— Вы можете итти, товарищи, — сказал им Киров, — тут охрана не нужна. Эти люди арестованы по ошибке.

— Безобразие, — проговорил с окна Ольхович, — невиданное безобразие!

— Помолчи там, — крикнула ему Пашкова, — ты сиди.

— Почему это я должен молчать? — вспыхнул Ольхович. — Почему мародерам позволяют гулять на свободе, а таких, как Буканов, сажают? Кто вам позволит заводить такие порядки в Астрахани?

Он пошел к дверям и на ходу, надевая кубанку, тихо процедил:

— Тем, кто посылает своих на гильотину, следовало бы помнить о судьбе Робеспьера...

— Ой-ой-ой! — пробормотал в ужасе Ерохин.

Мироныч застыл на месте. Он стоял, широко расставив ноги, как борец перед хваткой, чуть изогнув спину. За боковыми дверями слышался сердитый голос Степановой: «Ты коммунист? Почему ты не на берегу? Видел, что нам устроили провокаторы? Они сумели воспользоваться заворушкой на Форпосте, а где были мы? Сейчас же иди на берег...»

— Так, — проговорил Мироныч, откашливаясь.

Пашкова пододвинула кресло к столу и, осторожно сняв застывшие руки Тимофея с зеленого сукна, заставила его сесть.

— И это начальник снабжения целого фронта! — усмехнулась она, глядя из окна на Ольховича, торопливо садившегося в штабной фаэтон. — На берег не пошел, а на проводы Шляпникова у него нашлось время. А заступаться за Буканова прилетел как на крыльях...

Киров ходил взад и вперед по кабинету, нервно потирая руки.

— Мерзавцы, — проговорил он, — примазались к революции и шкодят и гадят, как только могут, а народ платит за это кровью своей. Нет, врагов надо безжалостно и беспощадно уничтожать — это закон!..

Ерохин что-то промычал и с усилием оторвался от дивана.

— Значит сведения должны быть к вечеру...

— Да, к шести, — ответил Мироныч и повернулся к Георгу:

— Ты посадил коменданта Форпоста?

— Посадил, Мироныч.

— Этого мало, Георг.

— Я понимаю.

— Эта заворушка — не случайность. Покопайся как следует.

— Хорошо.

— Хорошо, — машинально повторил Ерохин. — Значит и по нефти тоже?

— Да, — ответил Киров.

Георг слез с подоконника, сел в кресло, с хрустом потянулся.

— Эх, поспать бы хоть часик, а?..

3

Уже смеркалось, когда Задорожный после долгих блужданий по городу решил вернуться на берег. По льду Волги к Форпосту двигались небольшими партиями рабочие с красными знаменами. От кораблей флотилии, неподвижно застывших серыми узкими утюгами в прибрежном припае через всю Волгу, до самого Форпоста вились черные ленточки моряков. Они шли без знамен четким размашистым шагом, и Задорожный насчитал среди них по меньшей мере сотни две, точь в точь похожих на Губина — черный бушлат, громадный револьвер на боку, бескозырка и те же внизу штанин перламутровые пуговки на клеше.

Эти пуговки были ненавистны Задорожному. Кругом море человеческого горя, кровь и смерть, а они вырядились, как барышни, трясця их матери!

Задорожный пустился по берегу искать Тимофея. С трудом нашел костер — тот самый, у которого они провели прошлую ночь, но тут сидели уже другие; днем привалили из степи новые отряды отступивших...

— А где ж его сундучок, трясця его матери? — спрашивал Задорожный. — Раз нема сундучка — значит он был тут.

— Приходил, верно, — подтвердили бойцы, сидевшие у костра, — долговязый такой, рыжий, с турецкими усами, взял на плечи сундучок и понес.

У Задорожного подкашивались ноги. Десять дней он не снимал с себя кожуха, и у него сопрела спина. Он присел у костра.

— Так, говорите, с усами?

— Эге.

— Папаха на нем была?

— Была.

— А черкеска?

— Черкеска? Нет. Штаны были — широченные такие галифе бархатные, из диванного сукна, и полушубок.

— Так це не он, — угрюмо сказал Задорожный, — а не говорил вам, с какой он части?

— Спрашивали, говорил — Терской кавбригады.

— Он, — пробормотал озадаченный Задорожный.

— Мы — таманские, — сказал смуглый, как цыган, боец в бескозырке без ленточек. — Нам чужого не треба...

Задорожный поднялся и пошел бродить вдоль берега. Глубокая колея, наполненная мутной снеговой водой, вела к приземистой ветхой пристани. Сквозь проломленные доски забора Задорожный видел множество орудий и двуколок, накрытых рваным просмоленным брезентом. Дальше, на дебаркадере, смутно очерчивались на серине меркнущего неба людские фигуры. Неожиданно во дворе пристани показался Тимофей. Он вышел из крытой толем бревенчатой будки, где некогда была билетная касса. У дверей будки покуривали часовые. Тимофей вышел за ворота и оглядел берег.

— Куда ж они подевались, — пробормотал он, оглядывая набережную.

— Э, — крикнул Задорожный, — Тимофей!

Казак радостно затопал ногами.

— О! Иди сюда, отец!

Они глядели друг на друга, словно очумелые, и долго стояли молча. У Задорожного будто отнялся язык. Наконец, он взялся за бока и захохотал.

— Ну и вырядили ж тебя, як турецкого Али-бея!

Тимофею было не до смеха. Его и самого смущала белая накрахмаленная манишка, коробившаяся на его костлявой груди. Поверх манишки на нем был надет полушубок, отороченный серым поддельным каракулем. Широкие зеленые галифе и сапоги в гармошку, ношенные видно в прежние времена каким-нибудь волжским купцом, дополняли этот странный костюм. Но Тимофей чувствовал себя в нем прекрасно, если бы не эта проклятая манишка. Она уползала то влево, то вправо, обнажая его волосатую грудь.

— Што это такое?— спрашивал Задорожный, давясь от смеха.— Кольчуга якась не кольчуга, нагрудник не нагрудник. Верно ж это женская вещь, а?

— А чорт ее знает, — хмуро отвечал Тимофей.

— Да где ж ты взял? — спрашивал Задорожный.

— Выдали...

— Тьфу, — брезгливо сплюнул Задорожный, — якись буржуй, трясця его матери, носил на своей поганой груди, а ты одеваешь. Нет в тебе ниякой чести!

— Да брось, — насупился Тимофей, — все брали.

Задорожный подскочил к нему, сжал кулаки:

— От сейчас же скидавай, чуешь?

— Ну, ну, не лезь!

— Скидавай, говорю! — кричал Задорожный. — Не срами нашу армию, скидавай, чтоб с тебя люди не смеялись!..

Из ворот вышли два командира, за ними показался Киров.

— Что это вы нахмурились оба? — рассмеялся Мироныч.

— Да ничего, — уклончиво ответил Тимофей.

— Нашелся ведь твой друг, теперь помоги ему... Теперь ты комендант, действуй... Помощников себе подбери... Вот хотя бы его... — указал Мироныч на Задорожного. — Так, что ли, комендант?

Тимофей не ответил и неторопливо пошел вдоль набережной. Задорожный подумал, почесал бороду и зашагал вслед за ним.

По берегу от костра к костру ходили санитары, мобилизованные профсоюзники, рабочие астраханских заводов и раздавали крохотные кусочки черного хлеба и воблу. Видно было, что хлеб нарезан умелой рукой — все порции были одинаковой величины, не больше спичечной коробки. С баржи, где хозяйствовала Пашкова, по шатким мосткам спускался на берег Губин с корзиной нарезанного хлеба. Киров остановил его, незаметно мигнул, и матрос, вытащив из корзины два кусочка хлеба, протянул их командирам. Те помялись, но взяли. Губин вопросительно посмотрел на Кирова, заметил, что он сделал движение, словно проглотил слюну, и подал ему тоже кусочек.

— Ладно, — улыбнулся Мироныч и взял, он был голоден.

Один из командиров, пожилой артиллерист с толстым, отмороженным носом, поедая хлеб, держал у груди ладонь, чтобы крошки не падали на землю. Потом он опрокинул крошки в рот и вытер седеющие усы.

— Это не в счет, — сказал он Миронычу.

— Согласен, — кивнул головой Киров, — хлеб для армии своим чередом. Вы его получите... Постой-ка, Губин, — обратился он к матросу. — Был ты в редакции?

— Был, — ответил матрос. — Обещались напечатать...

Киров задумчиво поглядел на тот берег, уже скрытый сизыми сумерками.

— А как думаешь, Губин, если придется урезать паек — рабочим до фунта, остальным по категориям, — пойдет на это население?

— Ой, — зловеще произнес Губин, — не дай бог!

— Трудно будет?

— Не дай бог, — повторил матрос, — может взорваться вся Астрахань!..

— Да, будет трудно, — вздохнул Мироныч. — Ну, иди, там ждут голодные бойцы... А все-таки хлеб придется урезать.

Шел второй час ночи, когда Мироныч вернулся домой. У крыльца маленького одноэтажного домика его встретил какой-то очкастый человек в полушубке и валенках. Не здороваясь, он скороговоркой выпалил:

— Товарищ Киров, по всему городу вас искали, не нашли, и редакция меня послала сюда. Печатать или не печатать приказ?

— Какой? — спокойно спросил Мироныч. — О чем приказ?

— О хлебе, о сокращении пайка.

Киров с недоумением посмотрел на газетчика.

— А почему не печатать?

— Я понимаю, товарищ Киров, — горячо вступился тот, — это

приказ ревкома, и, конечно, мы обязаны, но... мне поручили узнать... Циркулирует слух, что час тому назад вы говорили по прямому проводу с Москвой и сам Ленин якобы обещал, якобы даже уже приказано Самаре отгрузить хлеб для Астрахани, и товарищ Ерохин выехал...

— Да, он выезжает сегодня ночью в Самару.

— Значит слух...

— Самара отгружает нам тридцать тысяч пудов хлеба по распоряжению Ленина, — ответил Киров. — Это не слух, а факт. Хлеб вскоре начнет поступать небольшими партиями, а пока придется сократить паек, надо дать хлеб армии, ясно?

— Да, да, ясно, — закивал головой очкастый. — Только у нас думали, может быть, задержать опубликование приказа, пока подойдет наряд...

— Печатать! — коротко ответил Мироныч и взялся за ручку двери. Газетчик, не прощаясь, юркнул в темноту февральской ночи.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

С утра над Волгой стоял густой туман. Оскар шел по набережной и прислушивался к потрескиванию льда. По льду не ходили; туманы последних дней разъели его и образовали у берегов широкие разводья. «Ну, конец этой проклятой зиме», думал Лещинский.

Он шел с трудом, еле волоча ноги.

На пристанях у разводьев горожане возились с рыболовными сетями и удочками. Астрахань вторую неделю сидела на новом, голодном пайке. Армия получила хлеб, помещения для казарм и госпиталей, одежду и медикаменты — двадцать шесть тысяч тифозных возвращались к жизни. Но, чем быстрее шла на убыль эпидемия сыпняка, тем грознее и явственнее очерчивалась угроза приближающегося взрыва... Старая Астрахань негодовала, грозила забастовками, требовала хлеба, ругала новую власть, и чувствовалось, что поток этого недовольства направляется опытной вражеской рукой. Вчера ночью банда хулиганов пыталась разгромить хлебный склад. Теперь, бродя по берегу, Лещинский с удивлением прислушивался к странным пересудам об этом событии. На «летучих» базарах у пристаней шел слух, будто ночью комиссары хотели вывезти к себе на квартиры всю муку из складов, но рабочие не допустили, и когда комиссары приказали войскам в них стрелять, то два полка местного гарнизона — 180-й и 145-й — взбунтовались и их обезоружили.

— Есть, есть хлеб, — кричали возбужденные голоса у пристаней. — Да комиссары прячут его, сукины сыны!..

Выйдя на стрелку, образуемую слиянием Волги и Кутума, Оскар увидел Атарбекова.

— Хо, — воскликнул Георг, давая знак шоферу остановить машину. — Камо грядеши, Оскар? Давно ходишь по земле?

— С восьми часов сегодняшнего утра.

Георг открыл дверцу автомобиля и помог Оскару взобраться на сиденье.

— Поехали, — сказал он шоферу. — Но теперь не гони.

Лещинский недовольно поморщился.

— Ну и ты тоже... Тошнит меня от ваших забот. Я здоров, понимаете, совершенно здоров, как бык. Это я говорил утром Миронычу и говорю тебе.

Он наклонился к шоферу:

— Гоните во-всю... Ты ведь торопишься, Георг? — спросил он, откидываясь на спинку сиденья. — Только скажи, друг, куда ты меня везешь?

— Куда? — загадочно улыбнулся Атарбеков. — А так, просто делаю прогулку по городу...

Автомобиль покатился вдоль набережной Кутума — небольшого протока, огибающего центр города. У желтого четырехэтажного дома Георг вылез из машины и скрылся за парадной дверью. Пробыл он там недолго. Минут через десять черкеска его снова показалась у машины.

Оскар заметил, что в доме, куда входил Георг, нет никаких учреждений. Это было обыкновенное жилое здание. От него начинался старый, разъезженный деревянный мост через Кутум.

— Поехали дальше, — сказал Георг и обратился к Лещинскому: — Как же ты решил насчет себя? Остаешься здесь? Тебе Мироныч что-нибудь предлагает?

— Я ему предлагал, — усмехнулся Оскар, надвигая плотнее на голову кубанку, — но пока он еще не дал согласия.

— На Терек? — спросил Георг. — Это, брат, пустая мечта. Идем ко мне, а?

Оскар покачал головой.

— Нет, Георг, я еду в Дагестан.

— Здрасте!.. — подскочил Атарбеков. — Это что-то новое?

Шофер остановил машину у подъезда углового каменного дома на набережной. Георг выпрыгнул из автомобиля и, исчезая в воротах, погрозил издали Оскару пальцем.

— Куда это он пошел? — спросил Оскар у шофера.

— В дом, — ответил шофер.

— Там учреждение?

— Нет, там жилые квартиры. Рабочие живут.

Георг появился минут через пятнадцать, сел в машину и махнул рукой шоферу:

— Поехали дальше. Почему же в Дагестан, Оскар?

Оскар недоуменно оглядывался на дом, от которого они отъезжали.

— Там что? — спросил он. — Ты визиты какие-то делаешь, что ли?

Георг рассмеялся.

— Визиты? — переспросил он. — Ну, если ты интересуешься, сделаем следующий визит с тобой вместе. Но позволь, о чем же мы говорили? Да, о Дагестане. Почему вдруг Дагестан?

— Потому что я хорошо знаю этот край...

— Но это не причина, Оскар. Ты знаешь Терек и другие места. Ты был в эмиграции, знаешь, может быть, и Женеву. Почему же не Женева, скажем, а Дагестан? Что тебе взбрело в голову?..

— Это долго объяснять, Георг.

— Но все-таки, — настаивал Атарбеков, — хоть в двух словах.

Оскар вопросительно кивнул головой на шофера.

— Можешь, — тихо сказал Георг.

— Вот какая вещь, — задумчиво начал Оскар. — Я много думал эти дни, пока лежал в госпитале. Времени было достаточно... И я пришел к выводу, что Мироныч сделал правильно, что взял на себя этот, как в старину говорили, тяжелый крест. Это поступок настоящего большевика... Постой, Георг, — вдруг повысил голос Оскар, хватая за руку Атарбекова. — Не возражай, я все прекрасно понимаю... Так вот, сегодня утром Мироныч рассказывал мне о своем разговоре с Владимиром Ильичем и со Свердловым. Я об этом ничего не знал. А ведь это замечательно, Георг. В палате со мной лежали отступившие с Кавказа, и я часто слышал от них: «Ничего, Ленин поможет». А сегодня я узнаю от Мироныча, что их надежды не обмануты, что Владимир Ильич принимает горячее участие в спасении армии. Хлеб уже прибыл, Георг?

— Пока двадцать три вагона, — ответил Атарбеков. — Наряд дан Самаре на тридцать тысяч пудов, но дорога разрушена, и поезда еле ходят. Мы принимаем все меры, чтобы ускорить...

— Ты был при этом разговоре, Георг?

— У провода? Был.

— Мироныч говорит, он требовал нефти?

— А мы уже послали...

— Что же вы могли послать? Нефть ведь в Баку?

— Благодарю за сообщение, — улыбнулся Атарбеков.

— А Дагестан почти рядом с Баку.

— Еще раз спасибо, — шутил Георг, — бывал я и здесь и там.

Лещинский посмотрел на Георга прищуренным, хитроватым взглядом.

— Этой весной будет сделана попытка пробиться к нефти. Она и в Баку и в Гурьеве. Правда, ведь, Георг, — спросил он, — что Ильич говорил Миронычу: ваша задача — Кавказ, нефть. Так? Здесь много дагестанцев, можно сколотить хорошую группу, без труда переправить в Петровск...

— А! — догадался Георг. — Начинаю тебя понимать...

— То-то! — усмехнулся Оскар. — Спасибо за догадку!..

— Ладно, — примиряюще сказал Атарбеков и крикнул шоферу: — Стой!

Они вышли из автомобиля и завернули в узкие полуразрушенные ворота между двумя неприглядными зданиями. Обогнув закопченный сарай, в котором помещалась кузница, они поднялись по наружной железной лестнице на третий этаж. Георг постучал в дверь, обитую войлоком. На пороге показался Киров. Он быстро приложил палец к губам и повел их через чадную кухню в боковую комнатку. Это была спальня. В углу мерцала позолота икон, засиженных мухами. У окна на дровяной клетке трое военных устанавливали пулемет. Из окна сквозь мутную пелену тумана был виден извилистый Кутум, который через равные промежутки пересекали бревенчатые мосты.

— Здесь очень удобная позиция, — сказал Георг. — Эти два моста можно легко взять под обстрел... И весь противоположный берег...

Он обидчиво посмотрел на Мироныча:

— Ты что же мне не доверяешь, а?

— Брось! — усмехнулся Киров. — Делай свое дело. Я взял на выбор один участок... У меня испортился автомобиль, и, пока шофер его чинит, я решил не терять зря времени.

— Твой участок — речная секция, пожалуйста, не отбивай мой хлеб!

Они рассмеялись, и все вместе пошли к выходу. У ворот Киров и Оскар распрощались с Атарбековым.

2

Машина уткнулась в низенькие, крашеные охрой ворота, над которыми чернели буквы: «Кавказ и Меркурий». Это был один из крупнейших судоремонтных заводов Астрахани. Завод исполнял важный военный заказ — ремонтировал суда Волжско-Каспийской флотилии. Шел двенадцатый час, и на заводском дворе уже чувствовалось приближение обеденного перерыва. Устало и монотонно постукивали молоты в кузне, недовольно и зло взвизгивали и вновь затихали пилы в деревообделочном цехе. Издалека с берега, где громоздились на стапелях и вздымались прямо изо льда развороченные корпуса, слышался стук топоров, и порой ветер доносил оттуда острый смолистый запах сосны.

— Пойдем прямо туда, — сказал Киров.

Четверо рабочих несли большой ржавый железный лист с просверленными по краям дырочками для заклепок. Мироныч схватил Оскара за рукав шинели, и они отступили на край дороги. Но рабочие тоже свернули, и дорога осталась свободной. Киров заметил на себе пристальный взгляд рабочих и улыбнулся.

— Здравствуйте, — сказал он. — Чего ж вы...

— Да ничего, идите, — ответил потный лысоватый парень в австрийской шапке. — Здравствуйте...

— Угрюмые они почему-то все, — заметил Оскар, когда рабочие ушли. — Хмурятся...

— Это еще ничего, — усмехнулся Мироныч. — Послушал бы ты, что мне кричали здесь на первом митинге, дней шесть назад: «Вы не рабочая власть! Вы запрещали наши собрания, затыкали нам глотку, сажали нас за то, что мы врагов разоблачали! Где наши письма?» и так дальше и так дальше. Ты понимаешь, Оскар? С каждым днем все больше и больше раскрывается перед нами весь ужас шляпниковщины. Через этих Букановых и Мирских делалось все для того, чтобы озлобить народ. В то же время астраханской контрреволюции была дана возможность почти открыто организоваться, и вот результат: мы накануне взрыва. Эх, если бы у нас было время! — воскликнул Киров. — Хотя бы еще одна неделька — многих бы не оказалось на той стороне...

Они подошли к берегу и остановились около широкой кормы моторного баркаса.

— Они хотят доканать армию, — говорил Оскар. — У них далеко идущие планы...

Наверху на баркасе стучали топоры и слышались голоса.

— Тут очень запутанный клубок, — тихо сказал Киров. — Георгу удалось установить, что в городе действует опытная, хорошо сплоченная контрреволюционная шайка. Руководят ею, несомненно, военные специалисты. Стратегически захват Астрахани дает им возможность запереть Волгу и сосредоточить здесь силы англичан, астраханского казачества, уральских войск генерала Толстова и деникинских со стороны Кизляра. Это недурной плацдарм для дальнейшего наступления вверх по Волге, к Москве...

По ту сторону баркаса, — среди груды щепок и стружек, сидел Егор

Иванович, тот самый, с которым Мироныч встретился в бане. Он был в старой ватной телогрейке с завязанными на груди шнурками, в холщевых штанах с дерюжными заплатами на коленях, без шапки.

С окутанной туманом реки дул сырой, пронзительный ветер. Повернувшись к нему спиной, Егор Иванович перебирал посиневшими руками инструмент в камышевой кошолке, стоявшей на земле.

— Здравствуйте, Егор Иванович, — окликнул его Киров.

— Здорово!

Егор Иванович покосился на шинель Лещинского и снова нагнул голову над кошолкой.

— А вы все ходите, — проворчал он, — все ходите к нам.

— А что? — спросил Мироныч, присаживаясь на колоду. — Мешаю, Егор Иванович?

— Пожалуйста...

Лещинский оглядывал берег. Из тумана выступали серые орудийные башни миноносца. По доскам, перекинутым с берега на борт миноносца, поднимали динамомашину. Вдоль борта похаживал Губин в грязной брезентовой куртке. На носу парохода висели в люльках два мастера — один старательно обновлял черной краской надпись «Москвитянин», второй размашисто мазал борт синевато-серой краской, под цвет морской воды.

— Корабль, я думаю, выйдет к паводку, а? — спрашивал Мироныч. — Скоро кончаете?

— Эй! — крикнул с миноносца Губин. — Э-гей!..

Киров приветливо помахал ему рукой. Губин пошел к сходням...

— Как же, Егор Иванович, кончите к паводку?

Егор Иванович вынул из кошолки ложку, завернутую в тряпочку, и сунул ее за голенище сапога.

— Не знаю, — пробормотал он, глядя в землю. — Как не бросим работу, так кончим.

Оскар и Киров молча переглянулись. К ним приближался Губин, снимая с себя на ходу брезентовую куртку — в ней он считал неудобным показываться.

Над берегом задрожал воздух, и все голоса покрыл громкий протяжный гудок. С баркаса спускались на берег рабочие. Они хмуро поглядели на комиссаров, а затем юркнули под днище баркаса. Губин вдруг метнулся за ними. Здоровенный котельщик в кожаном фартуке преградил ему дорогу и угрожающе сжал кулаки.

— Пусти! — прохрипел Губин.

— Иди сюда, — спокойно позвал его Мироныч — Губин!..

— Больно ты горячий! — сказал котельщик, уходя под днище. — Видно тоже из тех, шо против нас готовят пулеметы!

Оскар оттолкнул разъяренного матроса от баркаса.

— Зачем горячиться, друг мой!

— Как зачем? — раскричался матрос. — С ними был этот... чорт... как его...

— Кто? — спросил Мироныч.

— Он провокатор!.. — горячился Губин. — Он нездешний!

— Кто же?

— В шляпе такой... рыбацкой!..

Оскар бросился к баркасу. За ним побежал Киров и Губин. Выбрав-

шись на ту сторону, они увидели озадаченных рабочих, с недоумением заглядывавших под днище. Рыжий котельщик ходил среди стоек и посмеивался.

— Где ты? Брось ховаться! — говорил он. — Не бойсь. Выходи!..

Рыжий вылез из-под днища и растерянно пожал могучими плечами:

— Как сквозь землю провалился. Испугался он, что ли? Ну и докладчик!..

— А может он в механической дожидается, — сказал кто-то из рабочих. — Пойдем, ребята!..

— В чем дело, товарищи? — догнал их Мироныч. — Кого вы ищете?

— Кого ищем?

— Да...

Губин и Оскар шарили среди стоек, под баркасом. Вскоре Киров вернулся к ним, озабоченный и хмурый.

— Тут, оказывается, будет митинг, — сказал он. — Пойдем-ка, Губин, со мной, расскажешь, кто такой этот «докладчик».

— Он уже успел кое-что сообщить мне, — произнес Оскар с тревогой. — Это, видно, опасная птица...

— Ты останешься здесь, Оскар, на всякий случай.

— Ладно.

У широких дверей механического цеха Кирова встретили взволнованные фабзавкомовцы. Их было трое. Рядом сгрудилась небольшая кучка заводских коммунистов. Они окружили Мироныча и повели его в цех.

— Не беспокойтесь, — сказал им Киров. — Здесь мне не нужна охрана. Идите, собирайте людей, готовьте митинг...

В цехе было шумно, жарко, пахло разогретым машинным маслом. Пройдя между тесными рядами застывших станков, Мироныч остановился около пожилого, седоватого токаря, который еще работал. Шестеренки станка тихо урчали. Увидев Мироныча, токарь заулыбался и остановил станок. Они пожали друг другу руки. Губин стал поодаль, внимательно оглядывая цех.

— Как оно вертится, Карп Антонович? — спросил Киров и понизил голос. — Зря выболтали, Карп Антонович, что у вас на квартире ставится пулемет.

— Хорошо вертится, — ответил громко Карп Антонович, делая удивленные глаза и шопотом добавил, с обиженным видом вытирая замасленные руки куском пакли: — Как выболтал? Кому?

— Никому не говорил?

— Ну как же... что я... мальчик. — заворчал Карп Антонович. — Прямо огорошили вы меня, ей-богу...

Мироныч вздохнул с облегчением и протянул токарю руку:

— Прошу извинить, Карп Антонович...

— То-то же... — снова заулыбался токарь. — Это ж только последний сукин сын мог выболтать...

— Извините, Карп Антонович. Я вам верю...

Рыжий котельщик хохотал на весь цех, от его голоса дрожали стекла.

— Убег, чорт! — рассказывал он. — Мы и не оглянулись, как он шмыг — и поминай, как звали! Ну и докладчик!..

Обернувшись к матросу, он издали погрозил ему кулаком. Губин не стерпел, подскочил к нему, взял его поднятую руку, легко согнул ее и под общий смех опустил книзу.

— Здоровый, чорт! — удивился рыжий. — Недаром он от тебя убег!..

— А знаешь, кто он был? — накинулся на него Губин. — Знаешь?

— Ты полегче!

— Провокатор он! — крикнул Губин.

— Чепуха! — сказал рыжий. — Он в исполкоме служит. Я его там видел...

— В каком исполкоме?

— В каком? В золотом!.. — с усмешкой ответил котельщик. — Не знаешь товарища Матюшина, так и не трепись.

— Матюшин? — переспросил Мироныч.

— Да...

Киров взобрался на сверлильный станок, снял фуражку и пригладил рукой волосы.

— Товарищи, — негромко начал он. — Я не собирался выступать сегодня у вас здесь — собирался другой, но поскольку он сбежал, разрешите мне сказать два слова...

— Скажи насчет пулеметов! — крикнул котельщик.

— Скажу, но прежде всего о Матюшине. Ведь о пулеметах вы от него узнали?..

Рабочие угрюмо молчали.

— Без сомнения, от него, — продолжал Мироныч. — Но я скажу вам, кто такой Матюшин...

— Конечно, раз он говорит правду рабочему человеку, — мрачно сказал кто-то в толпе, — так уж вы его заклюете!..

— А вот солгал он вам! Подло солгал! — повысил голос Киров. — Почему он сбежал, а не вышел сюда, открыто, честно, на трибуну?

— Заклюете!..

— Да! За правду! — вдруг вырвался вперед Егор Иванович. Руки у него дрожали, голос срывался. — За что меня из хорошей квартиры к чорту на Форпост загнали? За что, ежели не за правду? Где мое заявление? Где?

— Какое заявление? — спокойно спросил Мироныч. — Расскажите, Егор Иванович...

Старый плотник стоял молча, опустив голову, и с волнением водил ладонью по слипшимся волосам.

— Это он на Ольховича писал, — крикнул рыжий котельщик, — чего таить.

— Что же вы писали, Егор Иванович? Почему до сих пор об этом мне не сказали?

Старик бессильно опустился на инструментальный ящик и хрипло закашлялся, держась за впалую грудь. Губин подсел к нему и обнял его вздрагивающие плечи.

— Кто может сказать, что писал в своем письме Егор Иванович?

— Я, — выступил рыжий котельщик.

Он сплюнул, вытер рукавом пиджака лихо закрученные кверху усы и, повернувшись спиной к Кирову, лицом к нахмуренной молчаливой толпе рабочих, сказал:

— Видишь ты, значит, такая была история. Еще когда Егор Иванович жил у себя на квартире на Канаве, то стал он замечать, что насупротив живущий комиссар Ольхович под каждое воскресенье пирушки справляет. Народ голодает, а он пирушки с музыкой. Ну, это еще ничего. Может, раз он шишка, большой комиссар в штабе, то ему и полагается...

— Нет, не полагается, — резко перебил Мироныч.

— Не полагается? — обернулся к нему с хитроватой усмешкой котельщик. — Ладно, но раз... — он вдруг сбился и в сильном затруднении почесал угреватый нос. — Не полагается, значит? Так, ну, ладно... Вот раз Егор Иванович видит — выходит от Ольховича один офицер, астраханский казачий офицер. Ну, сел, значит, Егор Иванович за стол, целую ночь писал и понес такое, значит, заявление в ЧК: «Прошу проследить и принять меры. Офицер казачий, не красный. Свидетели есть, как он до революции народ обижал». Но тут на Егора Ивановича и начали шишки сыпаться. Приехал Мирский и — фьюить! — полетел наш Егор Иванович со всей мебелью и с семейством через Волгу до самого Форпоста. Вот какие, видишь, бывают полеты, — заключил котельщик, снова оборачиваясь к Кирову. — А так, скажи, полагается?

— Егора Ивановича мы переселим обратно на старую квартиру, — ответил Мироныч. — А что касается Ольховича...

— Тифозные там положены! — простонал Егор Иванович.

— Переселим, — твердо повторил Киров, — и жестоко накажем всех, кто творит подобные безобразия. Можете мне верить, товарищи. Мирский, к сожалению, ушел из наших рук, но еще остались многие из той же шайки, и против них мы готовим пулеметы, а не против рабочих, не против вас, товарищи. Да, мы готовимся, не буду этого скрывать, мы ждем со дня на день контрреволюционного выступления, и враги нас не застанут врасплох. Вся беда в том, что у них есть свои лазутчики в нашей среде. Им уже выдали, — это сейчас для меня совершенно очевидно, — выдали то, что является пока военной тайной. И видите, они уже зашевелились и хотят гнусной провокацией сорвать нашу оборону. Вот что правда, товарищи, а не то, что говорил вам Матюшин!..

В пылу речи Мироныч уронил фуражку, и все молча смотрели, как она катится вниз, цепляясь за стальные стружки. Когда она легла на пол донышком кверху, рыжий котельщик шагнул вперед, поднял ее, очистил от стружек и положил на станину станка.

— Теперь я скажу вам, кто такой Матюшин и чего он хочет, — продолжал Киров. — Наша Астрахань — один из важнейших стратегических участков гражданской войны. Мы находимся на рубеже двух фронтов: Восточного — там Колчак, и Южного — там Деникин. И пока Астрахань остается советской, она мешает белым объединить свои силы. Им-то и служит Матюшин и все те, кто собирается выйти против нас с оружием. Этим генералам-то и хотят они преподнести к весне в виде пасхального подарка нашу Астрахань. На этом объединились все вражьи силы, гнездящиеся в городе и в крае, — от эсера Матюшина до шпиона английской разведки. К сожалению, ни того, ни другого до сих пор не удалось поймать, но они нам известны.

— Да неужели он эсеровец? — спросил рыжий котельщик.

— Он вам этого не говорил?

— Нет.

— И не скажет...

— Он говорил: комиссары ночью хлеб прятали.

— Ложь! На склад напала банда.

— А почему все-таки нет хлеба? — загудели голоса в толпе. — Куда он подевался весь? Ведь голодаем прямо невозможно!..

— Давайте по-хозяйски обсудим, — сказал Киров, — можем ли мы сейчас увеличить паек. Вам известно, что Москва посылает нам хлеб. Пока он прибудет, нам надо продержаться с тем запасом, который у нас есть. А кроме города нам надо накормить и армию, которая сейчас больна, слаба, но со временем наберется сил и станет грозной силой для врага. Это не пустые слова. Астрахань нам надо удержать во что бы то ни стало и как плацдарм для переформирования армии и как ворота к хлебу и нефти. Этого требует от нас Ленин, товарищи, и мы это сделаем. Окрепнет армия — снова отберем Кавказ, прогоним Колчака и Деникина. Пролетарии Питера и Москвы отрывают от своего пайка последние восьмушки и отдают их Красной армии. Возьмите, к примеру, нашу флотилию. Вот перед вами сидит матрос, товарищ Губин, который одним из первых откликнулся на нужды армии и отдал ей половину своего пайка!

— Где, где он? — зашумели голоса. — Покажись.

Губин оторопело засопел, поправил бескозырку и умоляюще посмотрел на Мироныча.

— Встань, что ж,— сказал ему Киров.

Поправив пояс на клеше, Губин вскочил с ящика и поднял руку.

— Товарищи рабочие, мы, революционные моряки с миноносца «Москвитянин», просим вас и низко кланяемся, чтобы к весне каспийская белогвардейщина получила другой подарок — не Астрахань, а меткие снаряды и мины с кораблей нашей Астраханской флотилии. И чтоб поэтому ремонт был закончен без задержки. Вот... Вот и все... Правильно, товарищи?

Губину негромко и не в лад зааплодировали.

3

Под вечер на городской электростанции произошла авария. Часом позже на размытых оттепелью улицах расклеивали новый приказ ревкома: отныне Астрахань на военном положении.

Ночью в крепости собрался штаб обороны. Сюда стали стягиваться верные ревкому части гарнизона.

Батарея с грохотом въехала во двор крепости. Напуганные темнотой, кони неуверенно цокали по булыжнику, и видно было, как вылетают из-под копыт огненные искры.

— Полегче там, — кричал из караулки Губин. — Чего расшумелись?

Командиром батареи был маленький пузатый человек с седыми усами.

— В таком деле, как наше, — отвечал он, — нельзя без шума!..

Губин вернул ему пропуск и пошел закрывать ворота.

Под высокими сводами перекатывались голоса. У ворот стоял Ольхович и сердито переругивался с караульными.

— В чем дело? — налетел он на Губина. — Почему меня не пропускают?

— Посторонним сюда вход воспрещен.

— Вот как, — вспыхнул Ольхович. — Посторонним... Разрешите позвонить из караулки товарищу Кирову.

— Пожалуйста...

— Ах, значит, он здесь.

— Допустим.

— Безобразие, — проворчал Ольхович. — Прибыло важное радио из Тифлиса, а тут... Мне надо срочно передать радио Кирову. У Степановой убит муж, понимаете? Расстрелян в Баку англичанами. Срочное радио. Я должен сообщить.

— Понимаю, — спокойно ответил Губин.

Ольхович резко повернулся и нырнул в темноту улицы.

— «Робеспьер», — хохотнул ему вслед Губин, — закрывай, ребятки.

Когда железные ворота захлопнулись, среди прутьев снова замелькала фигура Ольховича.

— Имейте в виду, — угрожал он, — я пришел сюда не для прогулки, а как работник штаба. За своевольство вас будут судить по законам военного времени.

В караулке зазвонил телефон. Было слышно, как один из матросов, сняв трубку и подув в нее, сказал: «Да... Из Железного полка? Еще не приходили. Мусульманского? Тоже не приходили. Батарея прибыла. А кто спрашивает?». «Экий дурень, — думал Губин, — сначала надо спросить, кто, а потом говорить». «Да, да, товарищ Киров, — продолжал матрос, — пришла батарея. Три орудия, из Железного полка, да...» Ольхович при этих словах пошевелился, переступил с ноги на ногу и взялся руками за холодные металлические прутья. Губин широко расставил ноги, выпятил грудь и потянулся к кобуре стейера.

— Ну!

Из мрака мерным шагом подходил к крепости новый воинский отряд. Губин пошел открывать ворота.

— Отойди-ка, — сказал он Ольховичу.

Под сводами отдался топот ног. В крепость входила пехотная часть Мусульманского полка — одна из самых надежных частей гарнизона. Командир полка, рослый азербайджанец, в малахае, молча пощипывал ус, пока Губин, чиркая спичкой, вчитывался в пропуск.

— Проходи!..

Ольхович все еще стоял у ворот, хмурый и молчаливый.

— Спокойной ночи, — сказал ему Губин, закрывая ворота.

— Ладно, — проговорил Ольхович, — если Пашкова умрет, это будет на вашей совести...

— Что? — крикнул Губин. Постой-ка.

Он выскочил за ворота, но Ольхович уже уходил. Тень его исчезала за угловой башней кремля.

— Что он меня все на пушку берет. То Степанова, то Пашкова.

Вернувшись в караулку, Губин позвонил в ревком. К телефону подошла курьерша Анисья Петровна.

— А Пашкова где? — спросил Губин. — Позовите ее.

— Она лежит, заболела...

— Как лежит? Что ты, мамаша, она ж мне звонила недавно.

— Позвонила и легла, — плаксиво говорила курьерша. — Одна я тут... Совсем одна...

Губин поспешно вышел из караулки и зашагал по булыжнику в глубь

крепости. За собором чуть выступали из темноты толстостенные приземистые здания гарнизонных казарм. В окнах и на дворе светились огоньки фонарей. На бугре, среди деревьев, шумели артиллеристы. «Ну и народ! — думал Губин. — Приказ дан, чтобы войска подтягивались в крепость без всякого шуму, а они, черти, видать, весь город разбудили, пока сюда приехали...»

С бугра донесся голос Мироныча.

— Говорите, хороший наводчик?

— У, первый сорт.

Артиллеристы отпрягали коней и отводили их в ближние конюшни. Киров сидел на ящике под старым, трухлявым кленом.

— А воевать не хочет, — продолжал командир батареи. — Едучи сюда, мы его видели. Сидит у пекарни и покуривает. Чудной старик!..

— У пекарни? — спросил Киров.

— Да, милиционером служит.

— А, знаю, — улыбнулся Киров. — Знаком с ним...

Он поднялся и стал спускаться с бугра вслед за ушедшими вперед Георгом и Степановой. На пути его остановил Губин.

Степанова и Георг шли молча. Из-за крепостной башни вставала луна, — поздняя, мертвенно-бледная, она пугливо застыла меж двух зубцов стены, будто зацепилась там и не могла выбраться. Небо над крепостью было черное, в мглистых тучах.

— Расходится туман на реке, — сказал Георг.

— Да, видно, завтра будет хороший день, — ответила Степанова.

У ворот их догнал Мироныч. Губин шел сзади, немного растерянный. Оказалось, Ольхович говорил правду: из Тифлиса для передачи в Москву прибыло радио, извещавшее советское правительство, что, по сведениям английского командования, Джапаридзе, Шаумян и другие арестованные бакинские комиссары якобы самочинно убиты около Кизыл-Арвата, под Красноводском.

Среди этих комиссаров был расстрелян и муж Степановой.

Губин видел, как Мироныч с особой заботливостью помог Степановой сесть в автомобиль.

— Домой, домой, — говорил он, — уже третий час...

— А ты?

— Меня дома никто не ждет, а у тебя дети. Поезжай...

Рядом со Степановой на сиденье устроились два матроса с винтовками. Шофер проверил, заряжен ли револьвер, сунул его обратно в кобуру и дал газ. Машина выкатила за ворота.

— Надо было бы ей сказать, — задумчиво сказал Георг. — Позже будет еще труднее.

Мироныч усиленно задымил папиросой.

— Я хотел, чтобы с ней поговорила Пашкова, а она заболела. Вот не везет нам, чорт возьми!..

В это время через Волгу по треснувшему, зыбкому льду шли пешком тридцать семь человек и среди них были Тимофей и Задорожный. Они скользили, падали, матерно ругались и снова шли. Лед выгибался на

трещинах, и на каждом шагу попадались широкие полыньи. На середине реки Задорожный сказал Тимофею:

— Это еще ничего, тут ядреный лед. Опасно там, у берега. Там хлибит...

— Дойдем...

— Зря пошли, — сожалели бойцы. — Прямо на погибель идем!..

— А верно, — сказал Задорожный, — за что нам эту Астрахань защищать?

— Как за что?

— А так... Хай вона сгорит...

— Помалкивай...

— Эх, господи...

Ветер рвал шинели, сбивал с ног. Шли долго, петляли, кружили, а когда добрались до берега, промокшие, усталые, грязные, то услыхали протяжные гудки и выстрелы.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Когда Мироныч прибыл в порт, старый Задорожный уже кончался — шальная пуля пробила ему грудь навылет. Он лежал на окровавленной черкеске под деревом в пристанском саду, а вокруг стояли матросы, красноармейцы и горожане — все при винтовках и гранатах — и угрюмо молчали.

Еще не рассвело, погода менялась. С Волги дул резкий шквалистый ветер. За Эллингом — южной окраиной Астрахани — все чаще потрескивали винтовочные залпы и пулеметные очереди противника.

Киров стоял на коленях над Задорожным, не чувствуя, что ноги его вязнут в жидкой грязи.

— Где они? — спрашивал он, пригибаясь ухом к омертвевшим губам Задорожного. — Далеко?

Старый казак бессильно мотал головой, глаза его были закрыты.

— Там... на площади...

В груди у него при каждом слове что-то клокотало. Киров сдал старика на руки прибежавшим с пристани санитарам, оставил им свою машину, а сам поспешил в портовой райком партии, где его поджидал Георг.

Весь порт был оцеплен. В темноте слышался тревожный говор и топот ног; набережная просыпалась; сквозь закрытые ставни выбивались на улицу дрожащие полоски света. Очумело лаяли из подворотен собаки; на каждый выстрел они откликались яростным разноголосым воем, заглушавшим на время все остальные звуки.

Четверо матросов волокли к подъезду райкома татарина в изорванном, выпачканном в грязи малахае. Татарин упирался и кричал благим матом:

— Пусти, я сам пойду!..

Мироныч приказал матросам:

— Отпустите его...

Татарин потребовал, чтобы ему вернули отнятую у него кошолку с воблой.

— Верните, — сказал Мироныч морякам.

Получив свою кошолку, татарин раскрыл ее и, убедившись, что вобла цела, сам без принуждения переступил порог райкома.

В вестибюле у маленького окошка регистратуры стояла очередь за патронами. Сонная, растрепанная регистраторша выдавала каждому по три винтовочных обоймы. Винтовки брали в дальнем конце коридора. Оттуда бежали коммунисты и рабочие, щелкая на ходу затворами.

Атарбеков допрашивал в зале заседаний райкома арестованных мятежников. Зал был битком набит людьми, по виду рабочими — почти все они держали в руках плетеные латаные кошолки. Шел обыск. На длинный, покрытый малиновым сукном стол сыпались бумажники, патроны, кисеты, ножи, ключи, носовые платки. На другом конце стола сидел Георг и разглядывал у керосиновой лампы какие-то документы. Перед ним стоял пожилой человек с красными пятнами на бородатом лице, в старом ватном пальто с оторванными пуговицами.

— Значит вы, гражданин Пименов, домовладелец, живущий по Казанской, 35? Хорошо, — говорил Георг. — Как же вы очутились в порту? Что вы делали так рано на улице?

— Шел на базар.

— Врет, — усмехнулись стоявшие поодаль матросы.

— Как же так, шли на базар и... с винтовкой?

Пименов приложил обе руки к сердцу:

— Позвольте сказать...

— Говорите.

Подошел Киров и молча опустился на скамью рядом с Георгом. Татарина поставили у окна. Георг посмотрел на Мироныча и сжал губы.

— Ну, — обратился он к Пименову.

— Шел я, значит, на татарский базар, — заговорил Пименов, — продуктов нет, сами знаете, как трудно... Иду, значит, и вижу, все куда-то бегут с кошолками. Думаю, хлеб, что ли, начали отпускать по вольной цене. Бегу тоже, смотрю — большая толпа собралась у самого цейхгауза саперной роты. Тут как раз увидел я знакомого, который жил у меня, снимал комнату. Стоит он с ружьем и распоряжается: «Скорей, скорей». Подхожу: «Что скорей?» «Бегите, — говорит, — за винтовкой». Кругом суета, со двора народ валит и все с ружьями. «Что ж, — спрашиваю, — происходит?» «Некогда, — говорит, — сейчас рассуждать, гражданин Пименов, спасайте город от гибели. Весь народ, — говорит, — поднялся, смотрите». И в самом деле, вижу народу много — все хватают винтовки и бегут...

— Так вам сказал знакомый? — перебил Атарбеков.

— Да... Он весьма уважаемый человек в городе, и я поверил.

— Как его зовут?

— Фамилия его Матюшин, — ответил Пименов. — Вы его должны знать. Я и подумать не мог, что он идет против власти.

Атарбеков вскочил и стукнул кулаком по столу с такой силой, что на другом конце зашевелилась гора бумажников и задребезжали ключи.

— Врете! Вас захватили в тот момент, когда вы громили Бакалдинский райком партии. Не прикидывайтесь, гражданин Пименов, не выйдет!..

Пименова увели. Георг придвинулся к Кирову и нервно заморгал припухшими веками. Мироныч торопливо писал что-то на листке полевой книжки.

— Это невиданная, чудовищная провокация!

— Оскар звонил? — тихо спросил Киров.

— Да.

— Ну?

— Он говорит, в центре пока все тихо. Он объехал на грузовике все пункты и вернулся в ревком. Броневик он выслал сюда. Это что? — спросил вдруг Георг, прикасаясь пальцем к темному мокроватому пятну на рукаве шинели Мироныча. — Кровь?

— Не волнуйся, — ответил Мироныч.

— Но это кровь...

— Я не ранен...

Георг привстал и заглянул через плечо Кирова в полевую книжку.

«По донесению очевидцев, — сообщал Мироныч в штаб обороны, — на колокольне церкви Иоанна Златоуста стоит белогвардейский пулемет. Нами отдано распоряжение сбить колокольню с миноносца. Имейте это в виду».

Вырвав из книжки исписанный листок, Киров сложил его вчетверо и вышел из зала. К Георгу подвели татарина.

— Зачем держишь? — набросился он на Атарбекова. — Зачем на двор не пускаешь?

Киров отослал с вестовым записку в крепость и, возвращаясь в зал, встретил на пути татарина. Он стоял в коридоре взволнованный, радостный и перекладывал воблу в кошолке.

— А-а, чорт, — ворчал он, — девять, десять — у бедный человек хотел забрать, чорт.

Атарбеков стоял на пороге зала и улыбался.

— Ты отпустил его? — спросил Мироныч.

Они отошли в угол.

— Тут сам чорт ногу сломит, — сказал Георг. — Наши ребята хватают на улице всякого, кто имеет при себе кошолку. Ну, что делать, попадаются и случайные люди.

— А причем тут кошолки?

— Как причем? — воскликнул Георг. — Ведь потому-то я и сказал тебе, что происходит чудовищная провокация. Они же все с кошолками, мерзавцы! Этим они и сбили с толку наши патрули, иначе им не удалось бы так легко сосредоточить свои силы. Их приняли за рабочих. Ты понимаешь, какая подлость!..

На улице зафыркала машина.

Киров и Георг бросились к окну: у подъезда темнели круглые башенки броневика.

— Пойдем, — сказал Мироныч.

В вестибюле у регистраторского окошка уже было пусто. Киров вынул из кобуры свой револьвер, повертел барабан и пересчитал пули. До полного заряда нехватало трех пуль. Регистраторша с улыбкой протянула ему две обоймы.

— Еще одну можно? — попросил Мироныч.

— Что это ты собираешься делать? — забеспокоился Георг. — Не давайте ему, Олечка!..

— А все равно больше не дам, — сказала регистраторша, — у меня и так почти ничего не осталось.

— Ладно, — усмехнулся Мироныч, — хватит...

Он спрятал обоймы в карман шинели и протянул руку Атарбекову.

— Ну, пока.

— Куда ты собрался? — спрашивал Георг, выходя вслед за ним к подъезду. — Расскажи хоть, что слышно в порту... Ведь я сижу здесь, как за решеткой, с самого рассвета...

— Мы в кольце, Георг, — ответил Киров, — вот пока все новости. В огненном кольце!..

Из броневика вылезал Губин. Он был без бушлата — в одной форменной голландке. Командир броневика выглядывал из приподнятой крышки пулеметной башенки.

— Ну и жарко же, — смущенно извинялся Губин, — как в бане!..

Киров отдал честь командиру и встал на крыло броневика.

— На Эллинге в районе церкви Иоанна Златоуста застрял наш отряд, — сказал он командиру, — приказываю вам прорваться на броневике в тыл противника и помочь отряду отойти на наши позиции к таможне!..

— В районе церкви Иоанна Златоуста?

— Да...

— Гм, — пробормотал командир. — Мост-то ведь под обстрелом. У них гранаты, а нам другой дороги нет...

— Чего ты хнычешь? — разозлился Губин. — Приказано — исполняй!

— Садись, — крикнул Мироныч и полез на броневик. — Заводи. — Губин замахал бескозыркой.

— Даешь!

2

По пути к Эллингу броневик прорвался через бревенчатый мост, занятый мятежниками, и, подпрыгивая на промерзших болотных кочках, подкатил к торговым рядам Татарского базара. Здесь броневик застрял в глубокой рытвине.

За рундуками шла жаркая ружейная перепалка. Киров и командир вышли из броневика и прислушались. Над крышами рундуков посвистывали пули. Они издавали странный хлопающий звук. Командир броневика уверял, что пули разрывные.

— Откуда же у них разрывные пули?

— У них все есть...

Мироныч подергивал головой то влево, то вправо, у него болела шея. Около получаса ему пришлось просидеть, упираясь головой в крышку пулеметной башенки.

Под ногами хрустели корки оледеневших лужиц. Рундуки были разбиты, на дороге валялись исковерканные замки, конторские счеты, изорванные бумаги и старый железный хлам. У сорванных дверей кооперативной лавки, разграбленной дочиста, лежал окровавленный труп сторожа. В дальнем конце базара бухали винтовки.

— Вот задача! — напряженно думал Киров, оглядывая из-за рундука прилегающую к базару темную пустынную площадь. — Наши должны быть где-то здесь — это ясно по выстрелам. Но где?..

Губин, шофер и два пулеметчика тщетно бились у броневика, стараясь вытащить его из рытвины.

— Пойдем-ка, — сказал вдруг Киров командиру броневика.

Держа револьверы наготове, они поползли вдоль рундуков торгового ряда.

— Вы думаете, там они? — спрашивал командир, — на том конце базара?

— Да.

— Почему?

— Потому что оттуда, — Киров указал револьвером по направлению к площади, — стреляют сюда разрывными пулями. Это слышно по звуку. У наших нет таких пуль.

— Опасно все-таки, — сказал командир.

— Ничего.

Неожиданно впереди в одной из лавок блеснул свет «молнии». Послышался лязг затвора.

— Кто идет?

Киров и командир прижались к стене рундука. Раздался выстрел. Рядом с Миронычем сухо треснул кирпич, полетели осколки.

— Это свои, — радостно крикнул командир. — Слышали, — звук пули. Это наши!..

Он выбежал на середину дороги.

— Эй, братцы!..

Из темноты вынырнули три фигуры и окружили командира. Киров спокойно пошел к лавке. На пороге, прислонившись спиной к косяку двери, стоял Тимофей в шинели, надетой в накидку, с перевязанной головой.

— Тю! — воскликнул он, разглядев Кирова. — С неба, что ли...

В лавке пахло навозом и гнилыми дынями. За стойкой, забившись в угол, на пустой опрокинутой бочке сидел Матюшин. Сторожили его четверо раненых бойцов, лежавших у дверей на подостланной шинели.

— Это мой штаб, — похвастал Тимофей, — а это пленный. И трофеи имеем — три винтовки с разрывными пулями. Сволочь! — вдруг заорал он на пленного. — Ты куда смотришь, зараза? Встать перед начальством!..

Тимофей вздрогнул всем телом и размахнулся прикладом. Мироныч удержал его руку, подошел к Матюшину.

— Выбирайтесь отсюда, живо!

Матюшин не пошелохнулся.

—Та у него ж ноги покалечены, — сказал один из раненых.

— Обыскивали его?

— Да.

— Отведите его к броневику, — приказал Киров. — Снимай цепь, Тимофей, и отходи со своим отрядом к таможне.

Вскоре весь отряд Тимофея, в котором из тридцати семи осталось в живых лишь двадцать два человека, собрался вокруг вытащенного из рытвины броневика. Губин заботливо усадил в броневик Матюшина.

— Полезай, голубчик. Так и быть, по знакомству уступлю тебе свое место. Довелось-таки нам встретиться.

— Живо! Живо! — торопил Мироныч.

— То-то подарочек будет Атарбекову, — шутил Губин.

Броневик двинулся обратно к мосту, а за ним гурьбой повалили бойцы. В пути Тимофей рассказывал Кирову:

— Только мы, значит, выбрались на берег, слышим — стрельба. На-

род бежит, а куда нам итти — чорт его знает! Спрашиваем, где тут наши? У церкви, говорят, Иоанна Златоуста. Там штаб. Кинулись мы туда. И верно, видим церковь стоит, а на площади кругом становятся в шеренги. Ну и мы стали. Выходит из церкви целая свита, с ними и этот, значит, наш пленный. Впереди важный такой старичок, в шинели, седой, похожий даже на генерала, только без эполет. Отдают ему рапорт: вот, мол, войска готовы к бою. Обернулся старичок к одному военному в очках и заговорил с ним по-заграничному. Головой мотает, морщится, на шеренги показывает. Тут выскочил наш пленный, стал на паперти и начал речь говорить. «Весь народ,— говорит,— поднялся против большевиков. Это, — говорит, — воры, грабители. Хлеб у них есть, а народ подыхает с голоду. Надо, — говорит, — отнять у них власть и устроить учредительное собрание — тогда будет всем хлеб». Стоим мы, значит, слушаем. Задорожный меня за рукав тянет, — что это за разговор такой странный? Не нравится, но молчим. Потом начали всех на отряды разбивать. Нам дают этого самого оратора. А я его уж знаю, видались мы один раз, запомнился он мне по брезентовой шляпе. «А, — говорит, — очень рад видеть вас. Армия, — говорит, — вся с нами». Тут старичок скомандовал: «С богом, господа». И все пошли, а мы подались через базар да там и остановились. «Куда идем?»— спрашиваем. «Караулы, — говорит, — будем снимать». «Не хотим, — говорю, — господин хороший, своих же бить». Тут он понял, что дело неладно, остановил двух каких-то проезжих, стал с ними тихонько переговариваться, а потом как даст теку. Тут мы его и покалечили, а те двое отстрелялись, ушли. Ну, стали мы с нашим пленным блукать и блукать по базару. Куда итти? Везде стрельба, где свои, где чужие — чорт его разберет. Стали в нас палить с колокольни. Видим, окружают нас, залегли мы и давай отвечать. А Задорожный говорит: «За кого мы и за что воюем? За Астрахань не согласен». Поспорили мы с ним, поругались. «За хлеб, — говорю, — ты отплатить-то должен. Хлеб-то тебе дали?..» «Дали». — «Ну и беги за подмогой», приказываю я ему. «Это, — говорит, — дело другое. За хлеб не спорю, за хлеб надо выручать власть, а вот Астрахань эту проклятую ни за что бы не стал». Ну, попрощались мы, и он пошел...

— Постой, — прервал Киров Тимофея, — мы подходим к мосту...

Под прикрытием броневика отряду удалось прорваться через мост на тот берег канавы. Не ожидавшие удара с тыла части мятежников бросились врассыпную, а когда спохватились, отряд был уже за высоким валом, по ту сторону цепи красных.

3

Потом взошло солнце, но этот первый, по-настоящему весенний, слепяще яркий день в Астрахани не заметили. На затопленных окраинах, не затихая, гремели выстрелы. К мятежникам прибыли казаки из окрестных сел, и к вечеру они перешли в наступление...

Киров сосредоточил наиболее стойкие и надежные части гарнизона в порту. За день удалось оттеснить мятежников за мост, к Татарскому базару. С миноносца моряки начали было утром орудийный обстрел церкви Иоанна Златоуста, но тотчас же по приказу Кирова прекратили. Снаряды, не причинив вреда колокольне, разорвались на площади и

вызвали страшную панику среди населяющей Эллинг татарской и русской бедноты. С улиц, прилегающих к церкви, прибежали в порт жители со слезной просьбой не стрелять из пушек. Эту просьбу передали Миронычу вместе с донесением разведки, что штаб мятежников готовит большое наступление. Теперь уже было известно, что ими руководит бывший генерал в отставке Петров, живший до этого очень скромно в собственном домике на одной из тихих улиц Астрахани.

В третьем часу дня, когда на короткое время наступила передышка, Киров приехал в ревком. Вид у него был спокойный, но усталый. Под глазами залегли синие круги. Лещинский встретил его у подъезда.

— Какой-то артиллерист тебя здесь дожидается, — сказал он.

Они поднялись наверх. В коридоре, у кабинета Кирова, на дубовой скамье дремал старик в потрепанной шинели. Мироныч разбудил его и сел рядом на скамью. Старик смущенно встал, снял шапку и пригладил рукой редкие спутанные волосы.

— Да ведь мы с вами встречались, — сказал он, разглядывая Кирова, — помните, у хлебопекарни?

— Помню вас хорошо, — ответил Мироныч. — Да вы садитесь.

— Благодарствую, — ответил старик.

— Вы, говорят, хороший наводчик?

Лещинский вошел в кабинет. За столом сидела Степанова.

— Что за чепуха, — кричала она в трубку, — кто мог послать такую телеграмму?

— О чем разговор? — осведомился Оскар.

— Да вот Атарбеков говорит, что в Саратов кем-то послана телеграмма, будто мы все убиты... — Она передала трубку Оскару и вышла к Миронычу.

— Штаб у них в доме купца Розенбаума, — говорил Киров старику, — а рядом церковь Иоанна Златоуста. Разбить их надо так, чтобы не пострадало население. Понимаете, в чем трудность?

— Слушаю, — бормотал старик.

— Я иду на телеграф, — сказала Степанова, — в Саратов послана телеграмма, будто мы все убиты. Ты слышал?

— Да, Георг звонил мне об этом в порт...

— Он говорит, что это могло быть сделано только через Ольховича. Ведь телеграф в наших руках, и штаб...

— Мироныч, — крикнул из кабинета Оскар, — иди, тебя просит Георг.

Старый милиционер молча топтался у дверей. Вокруг него шла суета, и он чувствовал, что эти отрывочные разговоры очень важны, хоть и не понимал, о чем речь. Одно ему было ясно: эти хозяева города, видно, попросту чересчур добрые по натуре. Имеют артиллерию и в крепости и на кораблях и давно бы могли снести начисто половину Астрахани, а не делают этого, не желая нанести вред мирным людям. Это тронуло его до глубины души.

Лещинский и Степанова стояли в коридоре.

— Надо ему сказать, — говорила Степанова, — он ведь еще не знает, что Пашкова...

—Хорошо, я скажу, — кивнул головой Оскар. — То он за тебя беспокоился, теперь новая беда...

Степанова потемнела, тронула рукой висок и пошла к подъезду.

— Я на телеграф, — глухо сказала она не оборачиваясь. — Оттуда загляну еще в райком...

Старик молча глядел ей вслед.

— Убили кого, что ли? — спросил он у Лещинского. — Что-то уж она очень мутна с виду.

Сквозь полуоткрытую дверь было слышно, как Киров решительно говорил Георгу:

— Без всяких церемоний... Теперь ясно, кто предавал нас все эти дни. Может быть, и разрывные патроны они через него достали. Оружием снабдили их из наших складов — это факт. Жаль, что мы не покончили с ним раньше, эту бешеную собаку давно надо было расстрелять. Но и теперь не поздно, Георг!..

— Однакож, — подумал артиллерист, — могут и по-строгому...

Он пошел в кабинет вслед за Лещинским и остановился на пороге. Мироныч разглядывал забытый кем-то на столе дамский носовой платок. Он был скомкан и мокр.

— Это, кажется, Степановой, — проговорил он, пристально глядя на Оскара. — Что с ней?

Оскар стоял у окна, щурясь от яркого солнца, пробивавшегося сквозь опущенный занавес.

— Ты сказал ей?

— Да, — ответил Оскар.

Мироныч присел на ручку старинного дубового кресла.

— Но у нее не одно горе, — тихо произнес Оскар. — Пашкова умерла сегодня утром...

Он теребил занавес, и в кабинете то светлело от врывавшихся солнечных лучей, то темнело. Мироныч тяжело вздохнул, вынул из кармана кисет, свернул папиросу и густо задымил.

На пороге вдруг показался Ерохин в брезентовом дождевике.

— Вот не ожидал! — воскликнул он входя. — Вы здесь? Здравствуйте.

— Здравствуйте, — ответил Киров. — С чем приехали?

— Сейчас расскажу, позвольте отдышаться, — сказал Ерохин, вытирая потную шею. — Поверьте, трое суток не умывался. Уф, — он сбросил с себя дождевик. — Ну и возвращение. Ну и сюрпризы. Выстрелы и солнце!..

Под дождевиком у него была овчинная шуба, опоясанная цветным украинским кушаком. Он снял шубу и остался в серой гимнастерке.

— Ну, значит, выехал я в Саратов, как вы помните...

— Хлеб привезли? — перебил его Киров

— Сейчас скажу, дайте по порядку...

— Привезли хлеб?

— Привез... — обиженно ответил Ерохин.

— Сколько?

— Тридцать два вагона. Но я хочу рассказать...

— Остальное расскажете вот этому товарищу, — сказал Киров, указывая на Оскара, — соседняя комната свободна, пожалуйста...

Лещинский молча вышел вслед за Ерохиным из кабинета. Артиллерист стоял у дверей, и ему казалось, что о нем забыли. Киров открыл нижний ящик письменного стола и кинул туда носовой платок Степановой.

— Так вот, вызвал я вас потому, что вы, как мне сказали, хороший наводчик...

— Это вы мне? — спросил артиллерист.

— Вам... Почему вы не сидите?

— А, собственно, зачем мне сидеть. Я пойду.

Мироныч подошел к нему и протянул руку.

— Значит беретесь? Тогда имейте в виду: вам разрешается стрелять только шрапнелью...

— Попробую, товарищ... Простите, как вас именовать?

— Сергей Мироныч...

— Слушаюсь, ваше... Сергей Мироныч, — улыбнулся старик.

Они обменялись крепким рукопожатием, потом Киров написал записку командиру батареи. С этой запиской, бережно спрятанной за обшлаг рукава шинели, старый наводчик ушел в крепость. Киров подошел к окну и прислушался. Сквозь двойную оконную раму глухо доносилось отдаленное потрескивание пулемета. Улица перед ревкомом казалась вымершей. Через дорогу перебегала черная собака. Остановившись у броневика, она понюхала шины, зевнула и потрусила дальше.

— А теперь в порт, — подумал Мироныч, поглядев на часы. — Хорошо, что хлеб прибыл...

Из соседней комнаты, опрокинув стул, выскочил Лещинский. Он плотно притворил за собой дверь и взял с дивана свою шинель.

— Мироныч, я еду на вокзал.

Он торопливо всовывал руки в рукава шинели.

— Что случилось, Оскар?

Вошел Ерохин.

— Позвольте, значит, я могу итти отдохнуть?

— Нет, вы останетесь здесь и подежурите, пока вернется Степанова, — сказал ему Лещинский.

— Куда ты? — недоумевал Мироныч. — Что случилось?

— Он видел Ольховича на вокзале, — волновался Оскар. — Надо спешить!..

— На вокзале? — нахмурился Киров. — Вот как...

Он снял трубку и позвонил в ЧК.

— Слушай, Мироныч, — сказал Оскар. — Дай я его возьму.

— Георг, это ты? — спрашивал Киров. — Сейчас получены сведения, что Ольхович уезжает. Он на вокзале...

— Да, и с чемоданчиком, — добавил, растерянно разводя руками, Ерохин. — Я удивился. Спрашиваю его: куда? По срочному делу, говорит, в Москву.

— Так, — проговорил Киров, давая отбой. — Ну, тебе незачем ехать, Оскар.

— Ты сам едешь?

— Нет, Георгу ближе к вокзалу, чем нам. Ты не волнуйся. Все будет в порядке...

— Простите, а что с Ольховичем? — спросил Ерохин. — Он в чем-нибудь провинился?.. Или растратил...

— Да, растратил, — ответил Киров. — Разрывные пули!..

Он швырнул недокуренную папиросу на пол и придавил ее ногой.

— Вот как? — смущенно пробормотал Ерохин, — значит... я могу итти...

— Нет, вы поедете со мной.
— Куда?
— В цепь...
— Ах, э... — заторопился Ерохин. — Ну, что ж...
Он схватил шубу, дождевик и выбежал вслед за Кировым в коридор. У подъезда его догнал Лещинский.
— Ваш кушак.
— Ах, да, да, спасибо, но у меня... Ах, нет, впрочем, есть...
Оружие при мне, в шубе...
Караульные помогли ему сесть в броневик.
— Этого надо нейтрализовать, — усмехаясь, шепнул Мироныч Лещинскому. — На всякий случай...

4

Большие часы на крепостной колокольне показывали шестой час вечера, когда цепи мятежников усилили огонь. Вскоре обнаружилось, что они стремятся выйти к таможне и отрезать от города порт и судоремонтные заводы, где стояли на ремонте корабли военной флотилии. В разгаре боя части Железного полка и матросы вдруг дрогнули и начали отходить к канаве. Тут они залегли у моста и дали залп в воздух.
Киров стоял у ворот таможни и разглядывал в бинокль наступающие цепи противника. В рядах шли люди в замасленных пиджаках и в ватных душегрейках, которые обычно носили рабочие судоремонтных заводов Астрахани. Киров вызвал командиров. С командирами прибежал и Ерохин, испуганный, бледный, с большим револьвером в руке.
— Я не могу стрелять, на нас идут рабочие!
Командиры окружили Мироныча.
— Тимофей, — позвал Киров.
Казак выступил вперед, снял с потной головы папаху.
— Ты видел там рабочих?
— Где?
— Когда ты был там, у ихнего штаба?
— Какие там рабочие? Одни шкурники да кадеты...
— Товарищи, — обратился Киров к командирам, — ни шагу назад. Перед нами враг, хотя он и скрыл за рабочей блузой свои офицерские погоны. Это хитрый враг, и чем он хитрее, тем беспощаднее надо его уничтожать. В цепь!
Мироныч обнажил револьвер, взмахнул им и побежал к цепи, залегшей за бугром канавы. Мятежники подходили все ближе. Они крались вдоль стен домов, перебегали от ворот к воротам, а с дальней колокольни, не переставая, громыхали пулеметные очереди.
Рядом с Кировым в цепи, пригнув к земле голову, лежал Ерохин и палил, не целясь, в небо, озаренное розовым отсветом заката.
— Огонь по противнику! — скомандовал Мироныч.
— Настоящий или только попугать? — спросили в цепи.
— Самый беспощадный огонь! — ответил Мироныч, посылая пулю за пулей в притаившихся вдали за деревом мятежников. По всей цепи прокатилась команда:
— Огонь!..
Вдали в переулке вдруг зацокали кони и показалась казачья сотня. Бойцы разъярились.

— Так вы хотели обманом взять нас, сволочи!

Робкие, одиночные выстрелы сменились частыми оглушительными залпами. К ним присоединился дробный стрекот пулемета, бившего по казакам из чердачного окна таможни.

— Ну! — крикнул Киров Ерохину. — Куда стреляете?

— Чорт возьми, — бормотал тот, заряжая новой обоймой свой револьвер. — Разрешите дать вам мой, а я заряжу ваш...

По слякотному булыжнику набережной к Мироныч приполз Губин.

— Вас к телефону просят, ищут. Из Особого отдела.

Выбираясь из цепи в таможню, Мироныч видел, как уходила назад казачья сотня. Лошади неслись вскачь прямо по тротуарам, вставали на дыбы и, подгоняемые яростным свистом пуль, исчезали в меркнущей дали переулка.

Из таможни Киров позвонил Атарбекову.

— Ты можешь сейчас приехать? — спросил Георг.

— Нет.

— Жаль. — Георг волновался и говорил с резким кавказским акцентом. — Хотел бы я, чтобы ты послушал, как поет наша птичка!..

— Какая птичка? — недоумевал Мироныч. — Говори скорее, Георг.

— Наш «Робеспьер». Он сидит передо мной.. Ты приезжай на полчасика...

— Не могу, Георг.

— Почему?

Киров начал было объяснять положение в порту, но голос его вдруг заглушил гулкий раскат орудийного выстрела. С Эллинга донеслось многоголосое «ура». Когда Мироныч выбежал за ворота таможни, из крепости снова грохнуло орудие. Густое черное облако поднялось к небу над тем местом, где высилась колокольня церкви Иоанна Златоуста.

Наступали сумерки, и синеющий воздух дрожал от слитного перекатного гула. Переулками Эллинга шли в атаку моряки и красноармейцы.

— ...Спасибо, старик, — говорил Мироныч, крепко пожимая руку старому артиллеристу. — Идите к нам, а? Во флотилию хотите?

Наступила ночь. Над крепостью в черном небе блистали звезды. Ночь была удивительно тиха. Даже здесь, у ворот кремля, был слышен начавшийся на Волге ледоход.

— Пошла! — улыбался артиллерист. — Это от стрельбы... Сотрясение...

За воротами крепости они попрощались.

— Так не хотите?

— Э, не те мои годы... Стар я, — ответил артиллерист.

Он поправил на плече винтовку и поднял голову к верхушке колокольни.

— Сколько там, на часах-то?

— Первый час.

— Пропащий день, — пробормотал старик. — Ну, пойтить надо на дежурство.

Из крепости Киров поехал в Особый отдел.

— Кончилось! — думал он, лежа на сиденье автомобиля.

Вечерняя атака решила исход боя. Разгромленные отряды мятежников частью рассеялись по дворам, частью бежали в степь...

Когда Киров входил к Атарбекову, навстречу ему из дверей выводили под конвоем молодую женщину в меховой куртке. Георг усадил Мироныча в кресло и придвинул ему стакан мутного калмыцкого чая.

— Прошу...

— Это кого повели? — спросил Мироныч.

— Княжну Туманову...

— Что?..

Георг добродушно рассмеялся и протянул Мироныч небольшой серебряный портсигар.

— Кури, настоящие английские сигареты...

Он вышел из-за стола и быстро зашагал взад и вперед по кабинету.

— Негодяи! Как удивляться теперь тому, что произошло с армией, что произошло сегодня, когда в штабе сидели такие предатели и шпионы, как Ольхович и княжна Туманова. Это... Не знаю, как это назвать!

— Это называется шляпниковщина! — сказал Киров, отхлебывая небольшими глотками остывший чай. — Не тешь себя надеждой, Георг, что ты уже все знаешь. Эти авгиевы конюшни придется чистить еще не один день!.. У тебя готов список?

— Да.

— Завтра же надо опубликовать его, чтобы население и армия узнали, что за люди подняли этот мятеж!..

— Вот, пожалуйста.

Киров взял список и внимательно прочел его.

— А как епископ Леонтий, не замешан?

— Никаких данных, — развел руками Георг. — Это хитрая лиса. Он сидел весь день дома — это точно... У нас пока нет оснований считать его причастным к мятежу.

Мироныч взял ручку и снова внимательно проглядел список.

— Двадцать семь...

В списке, отпечатанном на желтом листе папиросной бумаги, на первом месте значились фамилии: Матюшин, Ольхович, Туманова, Буканов. Ниже шел пестрый ряд фамилий офицеров, домовладельцев вроде Пименова, купцов и отставных чиновников.

— Да, одного тут явно нехватает, — вздохнул Георг, — а его-то больше всего и хотелось бы видеть в этом списке.

— Кого?

— Английского шпиона. Бежал, сукин сын...

Мироныч обмакнул перо в чернила и твердым размашистым почерком написал в верхнем углу листа:

«Расстрелять». И, расписавшись, четко вывел число: «10 марта 1919 года».

(Окончание в следующей книге.)

Семен Кирсанов

СТИХИ АНДРЕЯ ПРИХОДЬКО

(*Из «Поэмы поэтов»*)

ОТ АВТОРА

Читательницы журнала «Молодая гвардия», студентки Нина Орлова и Галина Фролова, прочитавшие в восьмом номере «Стихи Клима Сметанникова», прислали мне письмо, в котором спрашивают: где живет Сметанников, сколько ему лет, когда выйдет его книжка?

Довожу до сведения моих читателей и читательниц, что Сметанников — поэт, выдуманный мной, и поэтому все биографические данные автора относятся и к нему. То же самое можно сказать и об Андрее Приходько.

Он — слепой с рождения. Впервые увидел я Андрея Степановича в саду приволжского городка, где живут и Сметанников, и Варвара Хохлова, и Богдан Гринберг, и другие участники «Поэмы поэтов». Он сидел на скамейке рядом с участливой большеглазой девушкой. Глаза его были закрыты, он медленно диктовал. Никогда больше не приходилось мне видеть его. Коротко подстриженные русые волосы, неподвижное, неулыбающееся лицо, кизиловая палка в очень осторожных, умных руках...

Семен Кирсанов

СВЕТ В ДЕТСТВЕ

Почти с рожденья ночь, а день — навек утрачен.
Закрыт сплошной стеной.
Я помню, что была в младенчестве незрячем
полоска света в месяц шириной.
Хоть память бы мою она могла заполнить!
И я — глазастым был, —
Лишь месяц — как забыть? лишь месяц — как запомнить?
почти запомнил и почти забыл.

ТОВАРИЩУ

Приемник радио — товарищ аккуратный,
мой музыкант и чтец в невидимой судьбе,
дарящий звон Москвы и Лондона куранты,
я — путешественник, благодаря тебе.

С тобой не страшно мне жить в мире-невидимке
чурающихся рук слепого недотрог!
Вхожу я в зал Кремля, на льдину в снежной дымке,
к Миланской опере в торжественный чертог.

Неловкой жалостью не мог бы ты обидеть,
мой всеволновый друг, в тебе звучанье дня!
Все, чтобы слышать, — есть, и ничего — чтоб видеть,
во всем, чем я живу, похожий на меня.

ВЕЧЕРНИЕ ЧТЕНИЯ

Любимая, прости мои затеи,
хочу твой голос слышать молодой,
прочти из Брэма о слепом протее,
играющем в пещерке под водой.

Как весел он в жилище игл и слизней!..
Потом прочти страничку о кроте,
чтоб понял я, что есть слепые жизни,
не знающие боли в слепоте.

Нет, я не плачу. Я вполне спокоен,
от этих слов расплакаться нельзя.
Прочти мне лучше что-нибудь такое,
чтоб хоть слезой почувствовать глаза.

ТИШИНА

Они боятся темноты. Не помню.
Мы этих страхов зрячих лишены.
Но есть боязнь, доступная слепому, —
недвижной, невесомой тишины.

Нет ничего. Нет пенья. Нет звучанья.
Нет расстоянья от меня до слов.
Утопленник беззвучья и молчанья,
цепляюсь я за тиканье часов.

Соломинка в неощутимом море,
ниточка звука, я тебя держу.
По еле слышной звуковой опоре
секунда за секундой дохожу

до капель в кухне, до шипенья жира,
лая в саду и всплеска над листвой,
до стука в дверь, до чудных шумов мира,
до тишины — где рядом голос твой!

ПРОСТРАНСТВО

Все вещи в комнате со мною дружат.
Ложбинки, выступы, шероховатый стол —
мне тихо шепчут: «Не споткнись, Андрюша,
иди спокойно, повернись, постой.

— Я — дверь, направо. — Я — комод, налево. —
— Ни шагу, я — картина на стене».
У пальцев реет, легкая, на нервах,
душа вещей, привыкшая ко мне.

Меня однажды повели на вечер.
Оставили. В буфет пошла жена.
Мне захотелось позабыть увечье.
Пошел, — и понял пальцами: стена.

Я шел вперед, но странно, что не прямо.
Скользящий пол плыл на моем пути,
у пальцев справа не кончался мрамор.
Шел, и не мог ни до чего дойти.

Я прислонился к стенке, утомленный.
— Куда пришел, где очутился я?
— Андрюшенька, ты шел вокруг колонны,
ты — там, где я оставила тебя.

ЗЕМЛЯ

О ветка-спутница, о палка-поводырка,
всю жизнь стучащая о шар земной,
ты шаг — к врагу в начале поединка,
посредница между землей и мной.

Земных дорог разворошила ворох
и стала чуткой, слышащей, живой, —
не для опоры, нет! — для разговора
с травинкой, с камнем, с лужей дождевой.

Мне от земли приносит прямо в руки
депеши ям, булыжников и трав —
без опозданья, в тихом, срочном стуке —
мой верный деревянный телеграф.

НА ВОЙНЕ

У аппаратов чутких и ушастых,
где каждый куст настороженно-тих,
поставят нас — внимательных слепых —
точнейшим слухом охранять участок.

Пусть боль моя в военный станет ряд,
сливая слух с мембраною в приборах, —
я раньше всех услышу в трубке шорох
и прежде зрячих донесу: летят!

Я распознал опасность в шуме этом,
подам сигнал — сирена запоет,
на встречный гул взлетает самолет,
и гасят то, что называют светом.

Слепой боец готов на подвиг свой.
Впишите в книжку: «К обороне годен».
И есть мечта: на сердце тронуть орден —
металл звезды с эмалью боевой.

В МОСКВЕ

Что я в Москве запомнил прошлым летом?
Бой Спасских? Нет. Звонки трамваев? Нет.
В своей душе запрятал я не это
из понятых и слышанных примет.

Меня ведут на площадь к мавзолею.
Слепого — спутник поместил в черед.
Подошвами по медленной аллее
считал булыжник, двигаясь вперед.

Вот я вошел. Налево — Ленин. Знаю,
что в вечность я переместился весь.
Не слышу Ленина, не осязаю,
но точно знаю: вечность — это здесь.

Невидящий к невидящему входит.
Навек закрыты веки у двоих.
Слепец идет и с Ленина не сводит
незрячих глаз всевидящих своих.

Вот что я летом вынес из столицы.
И если я — внезапно — излечусь, —
боюсь увидеть, чтоб не отдалиться
от дальше зренья увидавших чувств!

СКАЗКА О СЛЕПОМ

(Семен Кирсанов)

В сказках — все разрешается,
все во все превращается:
безногий — в быстрого зайца,
слабый — в могучего барса,
глушь — в привеликое царство.
Сказка когда прикасается:
горбунья проходит красавицей,
слепец прозревает, глазастый,
грош вырастает в богатство,
волка трогает жалость, —
а в жизни не разрешалось, —
так и не превращалось!

В жизни — было как было:
под спудом лежала народная сила,
мужик мужиком, царь царем.
Сдобный запах шел из хором,
кислый — из хат.
А «Синюю птицу» показывал Мхат,
ищи ветра в поле!
В своем «Метрополе» кутили купцы,
босяки блатовали на Хитровом рынке,
да еще под Полтавой певали слепцы
о какой-то старинке,
когда быть чудесам разрешалось,
и в галушки земля превращалась.

Я слепца бы нашел, да такого,
чтобы свету не знал никакого,
будь он старый ашуг или мастер игры
на чонгури,
чтоб не знал ничего, кроме сказок диковинных
да струн на бандуре
да рябых медяков,
долго пальцами кованных...
Я повез бы слепого в Одессу,
где живет удивительно умный профессор,
пусть натянет резину-перчатку,
пусть слепому привьет голубую сетчатку,
пусть приклеит очам роговицу,
чтобы мог он на жизнь подивиться.

А дивиться есть чему
козбарю прозревшему, вещему!
Ну, дывысь! Ничего, что слеза!
Може, скажет, старый
только теперь стоит иметь глаза!

Ну и добрые ж доктор вырастил очи,
все видать: и на башне часы,
и мосты, и дивчат, и цветов оторочье,
и свои, бандуриста, седые усы!
Видно,
не снится, а подлинно видно,
дай пощупаю: выпуклый! глаз!
По-старинке по воздуху пальцами шарится.
И пришлись тебе эти глаза в самый раз,
когда сказка решается,
в самый час,
когда все во все превращается!

— Ну что я спою
бывшую слепенькой сказку свою,
если вот — я стою,
а Лобное место, где головы падали,
вспыхнуло светом, забило каскадами?
И пошла и пошла превращаться
сказка старая в новое счастье.
Площадь начала вся оборачиваться,
превратились в царевен — падчерицы,
стала площадь — то сад, то кружевце,
то старинною битвой кружится!
То выходит армянский рыцарь
с чернотелым арабом биться,
эти — с площадью попрощаются,
и она в стадион превращается!
По плечам плывут корабли,
словно веслами в небе гребли,
То взлетят мячи,
то блеснут мечи,
то борцы с борцами встречаются,
то гуднет горнист,
и в броню границ
Площадь Красная вся превращается!

И глядит же старый в очи дарованные,
будто очи волшебником зачарованы.
Чего-чего не насмотришься,
к чему, к чему не приглянешься:
мальчики стали мужчинами,
руды стали машинами,
дыры стали светлицами,
глуши стали столицами,
броды стали мостами,
болота покрылись цветами,
с полюса льдину вывели,
девушки — покрасивели,
юноши стали сильными,
мчат небесами синими,

тропки стали дорогами,
ущелья гор — широкими,
люди стали высокими,
слепые
  светлоокими!

ОТВЕТ НА СКАЗКУ

(Андрей Приходько)

Я вещь Кирсанова прочел в газете.
Да, я прочел! Правдивый, нужный стих.
Не для меня — для множества слепых
надеждой просияли строки эти.

А я не слеп. Год, как спокойный врач
свет и цвета вложил в мои глазницы.
Я вижу вас! Лишь изредка мне снится,
что это сон. Что ночь. Что я незряч.

Лишь иногда привычка воздух трогать
мою ладонь вытягивает вдруг,
и навсегда — желанье взять за локоть
тебя, — жена, — мой озаренный друг!

Как вижу я! Как утоляю голод
всем блеском разноцветной кутерьмы!
Так в первый раз выходит узник в город
из сумрака пожизненной тюрьмы!

Стихи — забыл! Я чувствую — не выйдет!
Затмило песню зрением во мне.
Нет, не писать, нет — только видеть, видеть
слетевший с солнца зайчик на стене!

Я счастлив тем, что не руками шарю,
а вижу, вижу, как другим — нельзя —
твои, — как карту карих полушарий, —
два новых мира — милые глаза!

Николай Вирта

КЛЕВЕТА, ИЛИ БЕЗУМНЫЕ ДНИ АНТОНА ИВАНОВИЧА

Комедия[1]

В КОМЕДИИ ДЕЙСТВУЮТ:

Антон Иванович Проскуровский — служащий, 52 лет.
Марья Петровна — его жена, 45 лет.
Лена — их дочь, студентка, 22 лет.
Вася — их квартирант, 25 лет.
Петя — их племянник, 30 лет.
Мавра — домработница.
Павел Алексеевич Каин — приятель Проскуровского.
Кирилл Кириллович — еще один приятель.
Яков Лукич — директор учреждения, 52 лет.
Инна Сергеевна — его секретарь.
Аким Акимович Пропотеев — его помощник.
Вера Матвеевна Грекова — секретарь Пропотеева.
Оля — машинистка.
Алеева — машинистка.
Иероним Сергеевич — старший бухгалтер, 30 лет.
Беня — счетовод.
Акулина Федоровна — курьерша.
Аня — буфетчица.
Наумыч — дворник.
Кукушкин — старик в пенсне.
Турганов — молодой человек.
Книжный агент.
Жилец.
1-й плотник.
2-й плотник.
Гаврик — студент.
Филипп Маркович Подушко — адвокат.
Милиционер.
Служащие учреждения.

Лето 1938 года в Москве.

---

[1] Право первой постановки предоставлено: в Москве—Театру Революции, в Ленинграде—Театру комедии.

АКТ ПЕРВЫЙ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Квартира Проскуровских на восьмом этаже. Столовая. Направо — комната Лены налево— выход в переднюю и кухню. Окна выходят на крыши домов. Виден Кремль.

Марья Петровна (у телефона). Не понимаю... Простите, может быть, я ошиблась номером? Это 1-36-41? Мне нужен мой племянник, Петр Евгеньевич Сарапулов. То-есть как так не проживает? Нет, этого не может быть. Ради бога, объясните мне русским языком, что с Петей произошло? Может быть, он переехал на другую квартиру? И давно его нет? Да что вы говорите? Алло, алло! Короче говоря, вы не желаете... Алло, алло! (Кладет трубку.) Так, ясно: Петьку посадили! Ах, боже мой, что это такое! (Берет трубку, набирает номер, долго слушает, кладет трубку.) Не отвечают! Ну, ясно... (Входит Антон Иванович.) Антоша, Петю посадили!

Антон Иванович. Не может быть!

Марья Петровна. Я сейчас звонила к нему на квартиру — говорят: «Такой здесь не проживает уже полторы недели». И у нас он не был ровно полторы недели. И просили больше звонками не беспокоить.

Антон Иванович. Чепуха! Переехал в новую комнату, заработался и забыл сообщить нам. Фу, жарища! Пиво есть? Дай стакан! (Пьет пиво.) Лена пришла?

Марья Петровна. Пришла. Чем-то очень расстроена, мне ничего не сказала, ушла к себе и не показывается.

Антон Иванович (просматривая газету). Пустяки, поссорились с Васей — вот и все ее расстройство!

Марья Петровна. Если только это...

Антон Иванович. Сам был молодым, знаю. Накрывай на стол, Маша, у меня пропасть работы. Ну и устал же я нынче! Весь день — из учреждения в наркомат, из наркомата в учреждение. А тут еще эта поездка в Данию.

Марья Петровна. Уже решено?

Антон Иванович. Угу! (Читает газету.)

Марья Петровна. Ты что-то очень бледен. У тебя неприятности?

Антон Иванович. Нет, как будто все в порядке.

Марья Петровна. А я сегодня стояла в очереди за чулками с сестрой вашего директора. Она меня и спрашивает: «Как дела у Антона Ивановича, как его самочувствие?» Я говорю: «Анет, вы же ушли от нас на рассвете, что могло за это время случиться?» А она говорит: «В наше, — говорит, — время на рассвете, — говорит, — все и случается». Понимаешь?

Антон Иванович (читая газету). Ну и что?

Марья Петровна. Я спрашиваю: «Почему на рассвете?» А она как-то нехорошо ухмыльнулась, поджала губы, да и была такова. Даже не попрощалась.

Антон Иванович. Глупая бабенка! Я всегда говорил, что Анет — глупая бабенка. Нечего и слушать ее бредни.

Марья Петровна. Она-то, может быть, и дура, да брат-то ее — ваш директор.

Антон Иванович. Брат не умней сестры. Послал бог директора!

Марья Петровна. Тс-с! Ты что — неприятности хочешь нажить?

Антон Иванович. А что я такое сказал? У нас его все Яковом Храбрым зовут. Такого сукина сына свет еще не видел!

Марья Петровна. Вот тебя повесят за твой язык!

Антон Иванович. Ты, Машенька, просто сошла с ума от страха.

Марья Петровна. Сойдешь с ума, ежели кругом такое... Ты что-нибудь скажешь, а тебя как цапнут!

Антон Иванович. Меня не за что цапать: я честный. Цапают негодяев. Собирай-ка лучше на стол! Вася дома?

Марья Петровна. Сейчас должен притти. (Пауза.) Антоша, скажи мне честно, чтобы я была совершенно спокойна, ты абсолютно чист?

Антон Иванович. Ну, знаешь, за тридцать супружеских лет ты могла бы узнать меня и получше.

Марья Петровна. Я тебя знаю, Антоша, но я ужасно боюсь — вдруг ты окажешься бог знает кем... Ты вот за границей часто бываешь, с начальством ругаешься...

Антон Иванович. Машенька, я служащий, был им и буду им до гроба, я не шпион, не провокатор, не диверсант, — одним словом, не подлец. Я хочу есть, ради бога, давай скорее обед.

Марья Петровна. Кто вас знает, мужчин. Вы всегда что-нибудь от жен скрываете. А мы потом расплачивайся.

Антон Иванович. Перестань!

Марья Петровна. Ну, ладно, не буду! (Пауза.) Ой, Антоша, я ведь и забыла сказать тебе самое главное-то! Понимаешь, иду я по Охотному ряду из «Гастронома», вдруг встречаю Никулькина. Идет навстречу, ехидно улыбается, поздоровался и спрашивает, откуда иду. Я говорю: «Вот, — говорю, — ходила за продуктами». — «Ах, вот как, не мужа ли провожаете?» — «Да, — говорю, — может быть, придется провожать». — «Куда же, — спрашивает, — он уезжает?» — «В Данию», — говорю. «Ах, вот как, а может быть, северней?» — и захихикал. «Почему, — спрашиваю, — северней?» — «А теперь, — говорит, — очень многие на север едут, на Колыму, например. Иные, конечно, по своей охоте, а иные, — тут он опять захихикал, — а иные и не по своей». И ушел. Слушай, что он такое брякнул?

Антон Иванович. Этот Никулькин всегда норовит сказать человеку гадость. Пора бы к нему привыкнуть.

Марья Петровна. Послушай, Антоша, Никулькин всегда все знает. Это он неспроста сказал. Может быть, ты от меня что-нибудь скрываешь? Да ты не обижайся, я ведь...

Антон Иванович. Ничего я от тебя не скрываю и скрывать мне от тебя нечего. Ради бога, дай мне прочитать газету.

Марья Петровна. Может быть, что-нибудь на службе?

Антон Иванович. Я тебе уже сказал: полдня я пробыл у себя, полдня — в наркомате. Вот и все, что было на службе.

Марья Петровна. Тебя никуда не вызывали?

Антон Иванович. Никуда! (Пауза.) Вызывал помощник директора Пропотеев, говорил насчет Беловского.

Марья Петровна. Какое же ты имеешь отношение к Беловскому?

Антон Иванович. А я почему знаю? Я ему так и сказал: «Беловский был хорошим работником, ничего подозрительного я за ним не замечал и что с ним могло случиться — не представляю».

Марья Петровна. Ну?

Антон Иванович. Ну и все.

Марья Петровна. И больше он тебя ни о чем не спрашивал?

Антон Иванович. Спрашивал о Лене, о Пете.

Марья Петровна. Почему он заговорил о Пете?

Антон Иванович. А почему бы ему и не спросить о Пете? Все знают, что мой племянник Петр Сарапулов делает проект большого дома для Садового кольца. О нем в газетах писали.

Марья Петровна. И что же он о Пете спрашивал?

Антон Иванович. Как работает, да почему о его проекте давно ничего не писали.

Марья Петровна. Ну, так я тебя уверяю, что о Петьке он спрашивал неспроста.

Антон Иванович. Перестань, Машенька, ты стала невыносимой. Давай обедать. (Садится к столу. Мавра вносит суп и уходит.) Лена!

Лена (входит, она взволнована). Здравствуй, папа.

Антон Иванович. Что с тобой, Лена?

Лена. Ничего!

Антон Иванович. Что значит «ничего»? Что это за ответ отцу?

Марья Петровна. Ну-ну, не расходись!

Антон Иванович. Что значит «не расходись»? Кто тут, в конце концов, старший?

Марья Петровна. Ты. Кушай и не кричи.

Антон Иванович. Я не кричу.

Марья Петровна. Нет, кричишь. Совершенно неприлично кричишь.

Лена. Перестань, мама! (Пауза. Молча едят суп.) Папа, у тебя нет никаких неприятностей на службе?

Антон Иванович. Да вы что, сговорились, что ли? В чем дело? Ну? В чем?

Лена. А в том, что на факультете пошли слухи, будто бы ты был связан с Беловским не только дружбой...

Антон Иванович. Ну, положим, был. При чем же здесь ты?

Лена. При том, что начали говорить об исключении меня из комсомола.

Антон Иванович. Бред!

Марья Петровна. Да что ты, Леночка?

Лена. Потом, когда я возвращалась домой, меня нагнал ваш старший бухгалтер, Иероним Сергеевич, и так участливо со мной говорил, словно у нас в доме случилось большое горе. Он сказал, что это безобразие, чтобы жена и дети отвечали за отцов и мужей, и сказал: «Как же вы теперь будете жить одни, бедняги?» — и предложил свою помощь. Я его хотела отчитать, но он разволновался и быстро ушел.

Антон Иванович. Что за чертовщина, мать?

Марья Петровна. Ну, успокойся, Лена, мало ли что люди бол-

тают. Я сегодня тоже всего наслушалась, а вот видишь, креплюсь! (Заплакала.)

Антон Иванович. Да будет вам, сумасшедшие! Я жив, здоров, еду за границу, стало быть, мне доверяют, а вы тут океан развели. Перестаньте! Кому я говорю! (Мавра вносит второе блюдо. Увидев плачущую Марью Петровну, Мавра запричитала.)

Лена. Мавра, замолчи! Сию же минуту замолчи!

Мавра. Да как же мне, Леночка, не плакать, когда я столько лет с вами, как с родными... Куда же вы теперь головы приклоните?

Лена. Довольно! Убирай тарелки и давай третье. (Мавра берет тарелки и уходит, всхлипывая.) Мама! Перестань плакать. Все это чепуха.

Антон Иванович. Ну, конечно, чепуха! Чепуха и сплетни! (Нарочито бодро.) Я и забыл, — у меня для вас есть подарок: билеты на «Тевье-молочника» в Еврейский театр. Мне сегодня утром предложил два билета Павел Алексеевич. Они тоже пойдут. Розалия Наумовна знает еврейский язык, и вы все поймете. Вот я сейчас позвоню Павлу, чтобы он за вами заехал на такси! (Подходит к телефону, набирает номер.) Это квартира товарища Каина? Павла Алексеевича. Это Антон Иванович Проскуровский. А кто это говорит? Алло! Алло! Вот чортов телефон! (Набирает номер.) Это квартира товарища Каина? Позовите Розалию Наумовну. Это ее знакомый. Розалия Наумовна? Здравствуйте. Сегодня утром Павел предложил мне билеты в Еврейский театр. Он вам ничего не говорил? Странно. А где он? Это Антон Иванович! Когда уехал? Вы что, шутите, я же сегодня с ним... Да нет, вы просто... Что? Почему не звонить? Нет, вы мне, чорт возьми, извольте ответить толком, почему Павел не желает... Ах, вот как? Алло! Алло! (Кладет трубку.) Этот идиот отдал, вероятно, билеты кому-нибудь еще и теперь не желает подходить к телефону. А Розалия сказала, что он вчера уехал в командировку, и чтобы я вообще не звонил...

Марья Петровна. Почему?

Антон Иванович. А я знаю, почему? Мавра! Что у нас на кухне — пожар, драка? Почему нет третьего? Мавра! (Входят Мавра и Вася.) Не дом, а бедлам! Третье подают через час после второго, вы, Василий Осипович, вечно опаздываете, ждать вас надо...

Вася. Простите меня, Антон Иванович, но я обедать не буду.

Марья Петровна. Почему это? Садитесь! Мавра, разогрей суп!

Мавра. Разогреть, что ли?

Вася. Не надо! (Мавра уходит.) Я уже обедал.

Марья Петровна. Опять в своей студенческой столовой? Вы что — уморить себя решили? Вам что доктор сказал насчет вашего желудка? Вы мне что — чужой человек, нахлебник? Мы с отцом знаем все насчет вас и Леночки...

Лена. Мама...

Марья Петровна. Да, и я обязана заботиться о вашем здоровье.

Вася. Я понимаю. Я вам очень благодарен. Но, видите ли, я от вас уезжаю. Я нашел себе комнату.

Марья Петровна. Вы же вчера отдали мне за полгода вперед?

Вася. Да, но, вот, мне дали комнату.

Лена. Странно. Где же?

Вася. В Филях. Правда, это далековато, от вокзала сорок минут хода, но зато хорошая комната, и там живут все мои приятели.

Лена. Отдельная комната?

Вася. Не совсем отдельная. Там живут еще пять человек, но это даже веселей.

Антон Иванович. Что-то тут не то. Вы, Вася, плутуете.

Вася. Нет, я не плутую. Это вы со мной плутовали! Поэтому я и не должен здесь оставаться! (Идет к двери.)

Лена (вскакивает и загораживает дверь). Нет, вы, Вася, сначала мне скажете, в чем тут дело.

Марья Петровна. Васенька, да что с вами? Кто вас обидел? Антоша, что ли? Ну, он грубоват, ну, резковат, но он же любя! Мы же вчера с ним решили отдать вам и Лене угловую комнату.

Вася. Нет, вы меня этим не заманите! Теперь такое время, и я совсем не хочу, чтобы меня заподозрили в чем-нибудь! Я приехал из Моршанска не за тем, чтобы из меня сделали тут отбивную котлету!

Лена. Вася! Я ничего не понимаю. Или вы объясните все толком или сию же секунду убирайтесь!

Антон Иванович. Что у нас такое, мать?

Лена. Ну?

Вася. Лена, я могу для вас сделать все. Я могу даже взять вас с собой, хотя и рискую. Да, да, именно рискую! Меня уже вызывали и все рассказали, и предупредили, так что нечего меня больше обманывать. Вот так влопался в историйку! Лучше бы мне не уезжать из Моршанска! И если у вас, Антон Иванович, осталась хоть капля совести, вы должны сказать, что я у вас был только жильцом и что свадьба была под вопросом.

Антон Иванович. Он что: негодяй или идиот?

Вася. Да, да, идиот. Все проморгал, все прозевал, ничего не увидел, всему верил.

Лена. Убирайтесь отсюда или я вас прибью, как мальчишку!

Вася. Лена!

Лена. Вон!

Вася. Но во... вы! (Пятится к двери, уходит.)

Антон Иванович. Подлец! (Лена быстро идет к себе и выходит оттуда, на ходу надевая шляпу и перчатки.)

Марья Петровна. Ты куда?

Лена. Я к Гаврику. Я ему все расскажу... Боже мой, какая гадость! (Ушла.)

Марья Петровна. Что же это такое, отец?

Антон Иванович. Убей меня бог, если я что-нибудь понимаю.

Марья Петровна. Нет, теперь я уверена, что ты от меня что-то скрываешь. Да, да, уверена! Ты всегда молчишь. Ты всю жизнь молчал. Приходишь со службы и молчишь или читаешь газету. Недаром мама была против нашего брака. Она говорила, что ты погубишь мою молодость. Где моя молодость! Отдай мне мою молодость!

Антон Иванович. Маша, ты с ума сошла?

Марья Петровна. Это ты меня свел с ума! Я уверена, что ты в чем-то виноват. Что у тебя на службе? Почему Павел Алексеевич Каин прячется от тебя? Почему ушел Вася? Что о тебе написано в газетах?

Антон Иванович. Вот тебе газеты, читай. Тут нет «Известий», пойди спроси у соседей, срамись! (Звонок у двери. Входит курьерша.)

Курьерша. Тебе пакет. Вот тут расписуйся. Велено ждать ответ.

Антон Иванович (читает записку). «Библиотека месткома просит немедленно вернуть книги в связи с переучетом». Что за чепуха? Переучет перенесен на осень!

Курьерша. Без книг велено не приходить.

Антон Иванович. Тебя только ко мне послали или ты была и у других?

Курьерша. Вернее всего только к тебе.

Антон Иванович. Да что они там с ума посходили? Что у нас там делается?

Курьерша. Я за все учреждение отвечать не могу, я стою на своем участке. Но что-то там поговаривают. С утра еще начали высказываться — насчет Беловского, что ли... И что ты вообще тоже вроде из тех же.

Антон Иванович. Ты, Акулина Федоровна, болтаешь глупости.

Курьерша. Я знаю, чего я болтаю. Эти самые книжки и есть? Ну и прощай. Да! Вот твоя трешница, ты мне на лимон дал, теперь уж ни к чему. (Отдает деньги, уходит.)

Марья Петровна. Сию же секунду звони на службу.

Антон Иванович (у телефона). Алло! Мне Инну Сергеевну. Ага (Кладет трубку.) Она у директора. (Набирает номер.) Товарища Пропотеева. Привет, товарищ Пропотеев, это Проскуровский, здравствуйте еще раз. Видите, я бы хотел узнать... Ага. Ладно. Не буду отвлекать. (Кладет трубку.) Занят. (Набирает номер.) Михайлов? Это Проскуровский. Все еще сидишь? Алло! Алло! Положил трубку. Что такое! (Набирает номер.) Это дирекция? Инну Сергеевну! Это Проскуровский. Я бы хотел узнать, подписал ли Яков Лукич... хорошо, буду ждать. (Кладет трубку.) Сказала, что директор позвонит мне, когда освободится. А-а, все это чепуха и бред! (Ложится на диван, включает приемник. Глухой голос: «Проверяйте ваши часы... До шести часов осталось полминуты, внимание, проверяйте ваши часы...» Два длинных и один короткий гудок. Марья Петровна подводит часы. Голос диктора: «Внимание, говорит радиостанция имени Коминтерна. Шесть часов по московскому времени...» Телефонный звонок.)

Марья Петровна (у телефона). Сейчас! Антоша, тебя!

Антон Иванович (выключает радио, берет трубку телефона). Да, слушаю, Вера Матвеевна. Что-о? То-есть, как это так? Нет, этого не может быть. А директор у себя? А Пропотеев? Вера Матвеевна, я вас прошу, ради бога, в чем дело? Так! (Медленно опускает трубку.) Маша, меня уволили со службы!

Марья Петровна. Господь с тобой, Антоша!

Антон Иванович. Наркомат ликвидировал мою должность. Меня уволили по собственному желанию.

Марья Петровна. То-есть, как это по-собственному?

Антон Иванович (ищет шляпу). Я сейчас пойду... Я не позволю... Я им покажу... (Хватается за сердце, стонет.)

Марья Петровна. Мавра! Компресс! Ложись, Антоша, ложись на диван. Ну, не волнуйся... Мавра!

Антон Иванович. Я сейчас пойду...

Марья Петровна. Никуда ты не пойдешь! Мавра! (Входит Мавра.) Мавра, Антон Иванович должен лежать, у него опять сердечный припадок. Его уволили со службы, понимаешь? Давай компресс. Да ну,

поворачивайся! (Мавра уходит.) Не-ет, ты никуда не пойдешь, я пойду! Я пойду сейчас к дяде, все расскажу, мы этого не потерпим! Тридцать лет работы кошке под хвост? Выбрасывать, как мальчишку на улицу? Я к директору пойду, к наркому, сто дверей выломаю, а этого не допущу! (Входит Мавра с компрессом. Марья Петровна кладет компресс мужу. Звонок у двери.) Мавра, открой! (Мавра уходит. Входит агент книжного магазина.)

Агент. Извиняюсь, виноват, простите. Мне нужна, э-э, вдова гражданина Проскуровского.

Марья Петровна. То-есть, как это так — вдова? Да вы что — рехнулись? Вот мой муж!

Агент. Виноват, мне все равно, кем этот товарищ приходится вам в данное время. У нас это очень просто — муж в крематорий, а жена в загс. Особенно, знаете, если мужчина без жилплощади...

Марья Петровна. Вам, собственно, что нужно?

Агент. Наш магазин, видите ли, узнал, что вы продаете книги своего, как бы это сказать, э-э, отсутствующего мужа...

Антон Иванович. Гони его, Маша...

Агент. Рекомендую продать их нам. Конечно, у вас купят и другие, но предупреждаю, мадам. Вот, например, лавка писателей. Там сидит некто Романов. Купит огулом, обманет и писателям продаст со скидкой. А вам сейчас дорога каждая копейка. Посылки... Передачи...

Марья Петровна. Мавра, гони его в шею!!

Агент. Мадам, я умываю руки! Пусть ваши книги сожрет Романов! (Входит Мавра.) Но, но, Мавра, я уйду сам! Ха-ха! Романов так Романов, мадам! (Уходит. Антон Иванович стонет.)

Марья Петровна. Молчи, Антон, будь мужчиной. Мавра, я ухожу. Я сейчас пришлю Лену. Она, конечно, объясняется с этим негодяем на бульваре. Я знаю, где они целовались! Жених, а? Сын, а? Комнату хотела отдать. Если придет — в шею его, в шею! (Уходит.)

Мавра (плачет). Что же это теперь будет-то, батюшка, Антон Иванович? Чем же это вы провинились, что вас хотят по этапу на каторгу гнать?

Антон Иванович. Замолчи!

Мавра. Да ведь посадют вас, батюшка! Раз со службы вон, то и из мира вон. Угонют вас в леса дремучие, в болота гниючие.

Антон Иванович. Никто меня не тронет, что ты болтаешь!

Мавра. Не я болтаю — все болтают. Родила вас мать, как у людей говорится, не под той звездой. Голубчик вы мой, батюшка, дайте мне сорок целковых, я вам сухарей напеку, сала куплю, чайку, кофею. Чего же мне тут прохлаждаться! Пойду бельишко вам выстираю, чулки теплые заштопаю, валенки отнесу подшить. О господи, страх-то какой, — человека враз убили из неизвестного ружья.

Антон Иванович. Брось молоть чепуху. Никаких сухарей мне не надо.

Мавра. Нынче не надо, а завтра вот как понадобятся. Богом молю, дай хоть тридцатку на провсякий случай.

Антон Иванович. На, и — уходи. Мне от твоего нытья еще хуже. Позови ко мне соседа.

Мавра. Это какого же?

Антон Иванович. Адвоката, Филиппа Марковича. Скажи, что я болен и прошу зайти.

Мавра. Сей момент схожу. (У двери.) Э-э, уж раз за аблаката хватается — пеки сухари, готовь теплую одежу. (Уходит.)

Антон Иванович (встает, со стоном надевает халат, ночные туфли, шарит на столе, находит какие-то письма, рвет их, ставит телефон на стул и опускается на диван. Набирает номер). Агафон Иванович? Привет, Агафон, это я, Проскуровский. Голос? Да, вот заболел. Что-то, брат, сердце шалит. Годы и этаж. На восьмом этаже живу, а лифты у нас знаешь какие — день работают, год стоят. Слушай, Агафон! Ты мне неделю назад говорил, будто бы вам нужен главный консультант. Ага. Вот ежели бы я предложил себя? Да, видишь ли, ушел по собственному желанию. Нет, не уволился по собственному желанию, а меня уволили по собственному желанию. Какая же тут разница? Ну, положим, так, но ведь ты же меня знаешь двадцать лет. Ах, вот что? Ну и пес с тобой! (Кладет трубку, вытирает пот, набирает номер.) Прохоров! Здравствуйте! Это Проскуровский. Про-ску-ров-ский. Да полно вам, как это можно забыть человека, которого вы знаете пять лет. Ну, значит вы просто негодяй. Не-го-дяй! (Кладет трубку.) Не может этого быть, не может быть! Позвоню главбуху Иерониму Сергеевичу, неужто и тот в кусты? (Пауза. Дрожащими руками набирает номер.) Иероним Сергеевич? Привет. Это Антон Иванович. Ты можешь со мной говорить? То-есть как так, «почему бы и не поговорить»? Ты что — не знаешь, что со мной случилось? Хорошенькие пустяки! Нет, ты, брат, просто герой — эдак-то вот со мной разговаривать. Ну, спасибо, ну, и пусть оно по-твоему будет. (Кладет трубку.) Есть еще люди. Вот я сейчас еще одному дружку позвоню! (Набирает номер.) Это товарищ Тряпченко? Слушай, Тряпченко, милый, ты меня переманивал к себе в пятнадцатый трест. Вот валяй, переманивай, может быть, что-нибудь и выйдет. Какой там у вас оклад-то? Врешь, Кретушина вы не могли взять, он уехал по контракту на Камчатку. Скажи, что боишься, не можешь, я не малое дитя, пойму. Слушай, вам был нужен человек в Тулу. В Тулу меня можно пустить? Ага, понимаю. Да нет, зачем же оправдываться. Нет, денег мне не надо. Если мне опасно давать работу, то деньги давать еще опасней! А вдруг меня завтра того? Прощай, Тряпченко, да хранит тебя бог, пропадешь ты со своей осторожностью! (Кладет трубку. Стонет.) Вчера на куски рвали — и туда, и сюда, а сегодня полотером не возьмут. Трусы, мошенники! (Звонок в передней. Входит дворник Наумыч.)

Наумыч. Здравствуйте, Антон Иваныч. Экхма. Эт-то, стало быть, посылает меня к вам управдом и говорит: «Мне — говорит, — некогда, сходи, Наумыч, в сто сорок пятую квартеру и скажи там, что, мол, в ихнюю квартеру мы вселим Островского. Конечно, супругу вашу и дочку мы, мол, не выгоним, но им будет довольно и одной комнаты. А тут завтрева плотники начнут прошибать дверь. (Антон Иванович стонет). Понятно, тяжко. У нас в третьем этаже тоже один был — хапнул сто десять тысяч и сел. Нынче к вечеру, скажем, хапнул, а к утру сел. Стало быть, всему свое время. (Антон Иванович стонет.) Тут один уже приходил справляться, живет ли, мол, у вас гражданин Проскуровский? Во френче. Красные нашивки. Я думаю: «Нет, тебе, — думаю, — не сейчас положено ходить. Нет, — говорю, — не живет». Так и ушел. Почесал нос и ушел.

Антон Иванович (стонет). Уходи, ради бога!

Наумыч. Уйду. Вещички будет супруга перекидывать, пусть меня позовет, я по дешевке, не то что истопник. Тот, сукин сын, дерет чорт его знает, лишь бы содрать. Ах, жила мужик! (Оглядывает Антона Ивановича с головы до ног.) Да, к утру эт-то беспременно должны того! (Уходит. Телефонный звонок.)

Антон Иванович. Да-да, это номер 33-04. Почему выключается? Я буду жаловаться, вы не имеете права. Алло! Алло! (Бросает трубку, стонет. Звонок у двери. Входит адвокат Подушко.)

Подушко. Антон Иванович, дорогой, да как же это так? Свалились? Больны? Со службой неприятности? Ай-яй-яй!

Антон Иванович. Вот за вами послал. Как за другом. Ради бога, посоветуйте — что делать?

Подушко. В каком смысле?

Антон Иванович. Ну, что мне говорить следователю, если меня вдруг... того...

Подушко. А что, могут?

Антон Иванович. Все говорят, что непременно.

Подушко. Ай-яй-яй! И за что же?

Антон Иванович. А я знаю? Поэтому-то я вас и спрашиваю. Если бы знал за что, я бы и без вас обошелся.

Подушко. Не понимаю! Пятнадцать лет живем стена о стену, вы знаете все, что делается у нас, я — все, что у вас. Слова против не слыхал! Вот тут уж я перестаю понимать. Ну, этот, как его, ну, да вы знаете, ну, это так. Ну, Прощелыгин — и это понимаю. Ну, Птицын, Курицын — и это можно понять. С натяжкой, но можно. Но вас? Ничего не понимаю. Вот уж чего не понимаю, того не понимаю.

Антон Иванович (стонет). Компресс.

Подушко. Сию минуту. (Выливает на полотенце воду из графина, кладет компресс.)

Антон Иванович. Спасибо.

Подушко. Н-да. Но, должен признаться, в последнее время и у меня начали появляться мысли. И я стал ожидать.

Антон Иванович (стонет). Чего?

Подушко. Я стал думать, что и вас должны того-с! (Антон Иванович стонет.) Зачем вы ездили за границу? Других идиотов нет? Вам-то это зачем?

Антон Иванович. Я же не просился. Меня просили. Я оттуда галстука не привез. Я дочери пары чулок не привез. Сколько скандалов на этой почве с женой имел!

Подушко. Нет, все же это была ошибка, роковая ошибка, Антон Иванович! Не надо бы ездить за границу, не следовало. Вот, например, я. Проси не проси — не поеду. Начитался, знаете, этих самых «коварных методов» и просто в ужасе. Учительнице иностранного языка отказал: кто ее знает, зачем она ко мне ходит... (Антон Иванович стонет.) Ну, ладно. Надо исправлять ошибку. Надо сделать все возможное, чтобы облегчить и вашу участь и участь вашей семьи. Это я все сделаю. И без микста! Деньги? Гонорар? С вас? Упаси бог! Я, знаете ли, не таких людей вытаскивал из-под пули и хоть бы копейку взял. Мне нужна ваша доверенность на ведение дела, заявление в коллегию защитников, и это надо сделать сию же секунду.

Антон Иванович (стонет). Я не могу писать. Потом.

Подушко (садится за стол, пишет). Ничего не поделаешь, Антон Иванович. Потом будет поздно. Нет, мы все это сделаем сейчас. Вот-с. Вот здесь подпишитесь. И вот здесь. Отлично-с! Есть еще справедливость на нашей планете! Так. Теперь будем говорить начистоту, как исповедник с попом. Значит, *та* женщина на вас и донесла?

Антон Иванович. Какая женщина?

Подушко. Ну, с которой вы живете на стороне... Она! По глазам вижу — она.

Антон Иванович. У меня нет женщины на стороне. И не будет.

Подушко. Да-да, теперь, к сожалению, уже не будет. Странно. Очень странно! Может быть, вы, будучи за границей, этак невзначай чертежик какой-нибудь продали, э? За доллары, за золотые, или как там у них в Дании — ёре? А?

Антон Иванович. Не говори глупостей, Филипп Маркович. Какие там к чорту чертежи. Я у них покупал чертежики.

Подушко. Совершенно невероятный случай! Может быть, у вас кто-нибудь сел из родных или из знакомых?

Антон Иванович. Голубчик, Филипп Маркович, мало ли у меня родных и знакомых? Разве за всех поручишься?

Подушко. Да-да, ужасно, ужасно. Лучше уж, знаете, не заводить этих знакомств! Кстати, вы не дружили... с кем-нибудь из них? Гм? Или, может быть, шатались насчет генеральной линии?

Антон Иванович. Слушайте, а вы не шатались?

Подушко. Хе-хе-хе, это так. (Пауза. В ужасе.) Послушайте, может быть, вы и не судились?

Антон Иванович. Слава богу, не пришлось.

Подушко. Минуточку. Давайте говорить, как мужчина с мужчиной. От меня скрывать ничего не надо: я — не жена, я — адвокат.

Антон Иванович. Я не скрываю. Я не судился.

Подушко. Но это же ужасно!

Антон Иванович. Что ужасно?

Подушко. Помилуйте, каждый должен иметь хоть одну судимость. Это же закаляет! Это же укрепляет нервы! Это же необходимейшая вещь, это то же самое, что не иметь ни одного зуба. Без зубов вы не сможете кушать, без судимости — вас скушают. Кто-нибудь стукнет ладонью по столу, и вы признаетесь и в чем виноваты и в чем не виноваты. Ай, Антон Иванович, милый, как же это так можно? Как же вы это допустили?

Антон Иванович. Уж, право, я и сам не знаю...

Подушко. Конечно, для биографии отсутствие судимости — драгоценнейший момент. Но это же лирика в данной ситуации. Лирика, которой грош цена. Ай-яй-яй! (Антон Иванович стонет.) Сердце? Да уж, сердцу от этой истории капут. Ну-с, я пойду. Я что-нибудь придумаю. Тут надо зацепку найти, найти начало всему этому делу, вину вашу установить, а это, знаете, и есть, как я вижу, самое затруднительное. Будьте здоровы. Если Марья Петровна решит продавать кое-что, пусть постучит. (Уходит.)

Антон Иванович. С ума можно сойти! За что? Кто? Взяток никогда не брал. С женщинами всегда был строговат, а в последнее время

и совсем строг. Советскую власть не отрицал. Вертинского дома не держал. В церковь не хожу лет десять. Квартплату вношу аккуратно, на все займы подписан! (Стонет.) Вот только с женой насчет всего очень откровенно говорил. «Почему, мол, то, да почему это?..» А зачем мне это знать? Легче, что ли, от этого было бы? И пьесу какую-то недавно выругал, а в ней — пограничники, что-то такое... И этот чортов племянник Петька пропал. Недаром меня насчет него сегодня Пропотеев спрашивал. И этот подлец Беловский... Вот оно и набирается — того немного, того, немного, глядишь — и готова статья. (Стонет. Пауза. Рассмеялся.) О, чорт возьми, да что я, ополоумел? Какую же я чепуху пер, старый дурак, обыватель окаянный, трус, осел. Люди со смеху бы удавились! А-а, вам уже смешно! А вот мне не смешно. Я всю жизнь прожил, как сегодняшний день. Вот вспоминаю свои грехи — и вспомнить не могу. Ловлю себя за хвост, а хвоста нет. Вы видели, как бешеная собака свой хвост ловит и от того еще больше бесится? Вот и я на нее похож. И я взбесился. Да от такого дела всякий бредить начнет! Вам-то не приходилось свои грехи вспоминать? Вы не проклинали дедушку лабазника за его происхождение? Вы себя не ловили за несуществующий хвост? А-а, тошно стало, паскудно на душе стало? Вот и поймите, каково мне-то, — меня ведь из неизвестного ружья застрелили. За что? Молчите? Не желаете говорить? Тоже побаиваетесь? Эх, вы! (Стонет. Пауза. Входит Наумыч с жильцом.)

Наумыч. Вот тут и будете проживать. Квартера ничего, хотя и высоко. Тут дверь прорубим и с вас — на пол-литра.

Жилец. Виноват. Обеспокоил? Но, знаете, одиннадцатый год на восьми метрах, душа ожесточилась. Рад несчастью другого. Парадокс, но это так. (Антон Иванович стонет.)

Наумыч (показывает на вещи и на Антона Ивановича). А это все завтра уберут, вы будьте без сумленья. И с вас — на пол-литра.

Жилец. Виноват, не буду более беспокоить. Мне все равно — низко, высоко, лишь бы въехать! Что делать? Рок! (Уходит.)

Наумыч. Антон Иванович, вас спрашивает гражданин.

Антон Иванович. Кто такой?

Наумыч. Не сказывают. Пальтом прикрылись, шляпа аж до глаз.

Антон Иванович. Пусти. (Наумыч выходит.)

Мавра (кричит из кухни). Будьте спокойны, батюшка, Антон Иваныч! Хлеба я купила, и сала достала, и чаю, и чулок купила, и валенки к ночи будут. Кил пять сухарей напеку, а там пришлем. Сейчас за бельишко возьмусь! (Дверь тихо отворяется, входит Павел Алексеевич Каин.)

Павел Алексеевич. Здравствуй, Антон.

Антон Иванович. Кто это?

Павел Алексеевич. Это я, Павел Алексеевич Каин.

Антон Иванович. Павел, ты?

Павел Алексеевич. Я на одну минуту. Видишь ли...

Антон Иванович. А мне Розалия сказала, что ты уехал, что тебя нет, что-то плела насчет билетов...

Павел Алексеевич. Видишь ли ты, какое оно дело-то...

Антон Иванович. Что там у нас?

Павел Алексеевич. Да, право, я не знаю, я сам был просто потрясен. И я, конечно, не верю, но видишь ли ты...

Антон Иванович. Вот этого я никогда не забуду! Всем скажу: нашелся честный человек, Павел Алексеевич Каин, пришел в трудную минуту, подал руку, не побоялся прокаженного. (Обнимает Павла Алексеевича.) Вот и сердце перестало болеть, и компресс к чорту! Все это вообще чепуха, бред. Завтра все станет на место. Сажают подлецов, а у меня и характера-то такого нет, чтобы настоящим мерзавцем стать. А я давеча подумал, что и ты — в кусты! Мавра, дай мне коньяку! К чорту сухари и бельишко!

Павел Алексеевич. Тс-с... Не надо звать Мавру!

Антон Иванович. Правильно, мы и без нее все найдем. Мы знаем, где Машенька коньяк прячет. Тарарахнем по единой.

Павел Алексеевич. Нет, пить я не буду. Я к тебе пришел...

Антон Иванович. Вижу. Спасибо. Вот какое спасибо!

Павел Алексеевич. Ты, Антоша, меня знаешь и все дела мои знаешь. Розалия Наумовна больна. Ребята только-только встали на ноги. Меня директор не любит, да ты его знаешь, каков он, наш Яков Храбрый... Тем более, что в двадцать третьем году у меня два месяца висел один портрет...

Антон Иванович. Да брось! К чему все это!

Павел Алексеевич. Я тебя прошу. И Розалия просит: если тебя будут спрашивать насчет меня, насчет нашей, этой... дружбы, — скажи, что мы с тобой два года назад разошлись по идейным причинам. (Пауза. Входит Лена). Здравствуйте, Лена. Я на минуту. Я к отцу. И еще, Антоша, ни слова, понимаешь, ни слова о том, что я тянул тебя в партию. Ради дружбы...

Антон Иванович. Гони! В шею его гони! Вон, вон, подлец, Каин! (Бросился на диван, зарылся в подушки.)

Павел Алексеевич. На коленях прошу...

Лена. Уходите! (Павел Алексеевич уходит.) Папа!

Антон Иванович. Что?

Лена. Я сейчас была в университете. Там заседал комитет комсомола. Нашего секретаря Гаврика Пастухова не было, он болен, и они исключили меня из комсомола. Вася — и тот голосовал за исключение. Меня обвинили в усыплении бдительности. Идиоты!

Антон Иванович. Теперь тебя выкинут из университета.

Лена. Руки коротки! Я знаю, куда мне итти! Но этот негодяй Вася— каков, а? И как же я могла?.. Такую дрянь, такую грязную тварь... Ну, хорошо, хорошо, что все это случилось и я узнала, каков он. Фу, какая гадость. (Пауза.)

Антон Иванович. У меня сердце сейчас лопнет.

Лена. Успокойся. На, выпей воды. Вот так. Ты, может быть, вспомнишь, как все это случилось, откуда все это пошло?

Антон Иванович. Не представляю. Теряюсь в догадках. Какая-нибудь гадость, донос...

Лена. Ты расскажи мне все, что было сегодня на службе. Все по порядку — с утра. Мне это очень нужно. Я завтра начну воевать и за тебя, и за себя.

Антон Иванович. Не знаю, с чего и начинать. На службу я пришел во-время. Поднимаюсь по лестнице, меня встречает Аким Акимыч Пропотеев, помощник нашего директора. Увидел меня, улыбнулся. «Здравствуйте, — говорит, — Антон Иванович!» Отвел меня в сторону и

спрашивает... (Вдруг вскочил с дивана.) А-а-а! Все понял, все теперь знаю! Лена, зови Наумыча, пусть он переносит вещи! Мавра, пеки больше сухарей! Сапоги мне готовь болотные! Лена, рви все письма, дневники, просмотри все книги! Скорей! Скорей!

Лена. Папа, что ты?

Антон Иванович. Ну да, это он все сделал! И уж тут кончено. Уж кто ему в лапы попадется, тому не жить.. Он за год двадцать человек со службы выгнал, облил грязью, навозом...

Лена. Да кто же это?

Антон Иванович. Кто? Это Аким Акимыч Пропотеев все сделал. Это его дело! Конченный я человек! (Стонет, падает на диван.)

АКТ ВТОРОЙ

КАРТИНА ВТОРАЯ

Вестибюль учреждения. Буфетная стойка, вешалка для платья, табельная доска около нее курьерша. Висит стенгазета «Под микроскоп». Аким Акимыч Пропотеев, уплетая бутерброды, читает стенгазету.

Пропотеев. Те-те-те-те! Ишь ты, как меня изобразили, а? И кто это у нас обладает таким соответствующим для живописи талантом? Дайте мне, Аня, еще... Ну, с икоркой... Акулина Федоровна, ты не знаешь, кто у нас так знаменито рисует?

Курьерша. А тебе, видно, охота узнать?

Пропотеев. Исключительно в интересах данного художника. Мы бы его могли выдвинуть в академию художеств на предмет усовершенствования природных способностей, а он пропадает в четырех стенах.

Курьерша. Ну да, тебе бы только выдвинуть его из нашего учреждения. Знаем!

Пропотеев. Только исходя из того, что ты герой труда и имеешь медаль, я не обращаю внимания на твои намеки зловредного характера. Дайте мне, Аничка, пяточек «Мишек».

Буфетчица. Она всегда такая, с кем ни попало одно городит. Никакого различия между товарищами делать не умеет.

(Входит Антон Иванович.)

Курьерша. Повесь нумер, товарищ Проскуровский.

Антон Иванович. Ах, да! Вот уж всегда из ума этот нумер.

Пропотеев. Здравствуйте, Антон Иванович. Опять табельный номер утеряли?

Антон Иванович. Представьте.

Пропотеев. Попрошу у вас, Аничка, вареньица. Спасибо. Неважное, Антон Иванович, у вас отношение к дисциплинарному знаку.

Курьерша. Он ему и не нужен. Он всегда на работе во-время.

Пропотеев. Да, да, усерден, весьма. Как дела, Антон Иванович?

Антон Иванович. На этой неделе — за границу. Хочешь — не хочешь, а ехать надо.

Пропотеев. Слышал, будто бы новые приборы оказались не в порядке?

Антон Иванович. Да, чорт бы их побрал. Недоглядели.

Пропотеев. Люблю я в вас эту открытость души. Недоглядели... Гм! А кто недоглядел? Эту партию приборов, кажись, Беловский принимал?

Антон Иванович. Мы вместе с ним принимали.

Пропотеев. Ну, уж где Беловский свою руку приложил, там так гниль и осталась. Хе-хе, Аня, дайте мне простокваши.

Антон Иванович. Не понимаю вашего смешка. Беловский работал хорошо, и все ваши намеки — чепуха.

Пропотеев. Но тем не менее — сидит.

Антон Иванович. Не знаю, не информирован.

Пропотеев. А вот я знаю, точно знаю. Будучи от нас уволен, тотчас сел. Данный факт для вас должен быть особо огорчителен,—вы ведь Беловского сюда и притащили.

Антон Иванович. И отлично сделал, что притащил.

Пропотеев. Это хорошо так-то вот, принципиально стоять на своем. Так-с! Значит, опять за границу? Завидую.

Антон Иванович. Да, съездить туда небезынтересно.

Пропотеев. И глаза, небось, разбегаются на множество предметов первой необходимости?

Антон Иванович. Признаться — разбегаются.

Пропотеев. И как-то на ум всякие мысли идут: почему, мол, у нас глаза не разбегаются?

Антон Иванович. Приходят и такие мысли... Ну, я за работу. Ага, новый номер стенной газеты? Позвольте, кого же это тут так изобразили?

Пропотеев. Все меня, все Пропотеева. Пропотеев, видите ли, им, как заноза в пальце.

Антон Иванович. Да, вам везет. Что ни номер, вы тут как тут. Ну, что же? Справедливо, справедливо, Аким Акимыч, — ничего не скажешь.

Пропотеев. Да? Вы именно так мыслите?

Антон Иванович. Именно так. Ловко изобразили. И похожи вы, как две капли воды. (По лестнице поднимается Павел Алексеевич.).

Павел Алексеевич. Здравствуй, Антон. Фу, упарился, — с утра и такая жарища! Слушай, ты не желаешь сегодня вечером пойти в театр? У меня есть два лишних билета. Здравствуй, Аким Акимыч!

Антон Иванович. Куда билеты?

Павел Алексеевич. В Еврейский театр, на «Тевье-молочника». Взял, понимаешь, для тетки, а она захворала.

Антон Иванович. Ладно, беру. Лена все собирается в этот театр и никак не соберется.

Павел Алексеевич. Ну и чудесно. Розалия Наумовна знает еврейский язык, и мы все поймем. Билеты у меня дома, ты загляни после работы.

Антон Иванович. Ладно, непременно. (Уходит.)

Пропотеев. Приятно наблюдать такую дружбу. Аничка, мне еще пару пирожных. Давно с Проскуровским дружишь?

Павел Алексеевич. Да порядочно. Он — великолепный человек.

Пропотеев. Вот дружишь, бываешь, а насчет партийной принадлежности, небось, и не заговаривал?

Павел Алексеевич. Почему? Говорил. Старался, пропагандировал да он что-то тянет. Он — анархист. Собраний не любит, речей не говорит...

Пропотеев. Да-да, это известно. Антиобщественный элемент в нем сказывается. Например, никогда не поет массовых песен. Объясняет это отсутствием голоса. А я уверен — из оппозиции.

Павел Алексеевич. Старый специалист, у него своя закваска.

Пропотеев. И надо сказать, что означенная закваска в нем очень сильна.

Павел Алексеевич. Да ведь и то сказать, человеку пятьдесят два года. Дочь на выданьи. Его уж не перевоспитать.

Пропотеев. Безнадежен? Грустно, грустно. А дочка чем занимается?

Павел Алексеевич. Она у него комсомолка, студентка, учится на медицинском факультете. Третий курс кончает.

Пропотеев. Те-те-те-те! Скажите! Комсомолка даже! Аня, дайте мне вот эту шоколадку. И за кого же она выходит?

Павел Алексеевич. У них квартирант живет, тоже студент с того же факультета — Василий Осипович Сапрыкин. За него и выходит.

Пропотеев. Так-так-так. Значит, скоро будешь гулять на свадьбе? Мило, хе-хе, мило. Ты у них эдак частенько бываешь?

Павел Алексеевич. Да захожу. У него народа всегда много. Антон Иванович, ежели разойдется, весельчак. И танцовать, и петь, и рисовать.

Пропотеев. Вон как. И рисует?

Павел Алексеевич. Особенно каррикатуры. Мы со смеху умираем.

Пропотеев. Та-ак. И Беловский у него бывал?

Павел Алексеевич (вздрогнув). Беловский? Бывал. А что?

Пропотеев. С врагом народа из одной рюмочки коньяк хлестали? Неосторожно, товарищ Каин, неосторожно.

Павел Алексеевич. А что? А что такое?

Пропотеев. Ничего. Неважную ты себе компанию избрал, товарищ Каин. Как бы не вышло чего-нибудь.

Павел Алексеевич. Аким Акимыч...

Пропотеев. Нет, я ничего не знаю, я лишь в предупрежденье.

Павел Алексеевич. Я не понимаю.

Пропотеев. Следует понимать, Паша.

Павел Алексеевич. Неужели и Проскуровский?

Пропотеев. Разве я сказал что-нибудь о Проскуровском?

Павел Алексеевич. Так значит с ним все благополучно?

Пропотеев. Ничего не могу сказать. Но по-дружески посоветовал бы — эти самые билетики в театр отдать кому-нибудь еще.

Павел Алексеевич. Да что вы говорите?

Пропотеев. Тс-с. Я ничего не говорил. Я ничего не знаю. Просто совет, а там как знаешь, товарищ Каин, как знаешь.

Павел Алексеевич. Ну, спасибо, спасибо, Аким Акимыч.

Пропотеев. Моя обязанность наблюдать, предупреждать и ликвидировать. Ты зайди ко мне через часок, потолкуем. Аничка, пришлите

мне завтрак с Акулиной Федоровной. Можно пообильней, я что-то проголодался. (Уходит.)

Павел Алексеевич. Вона что! Недаром он меня насчет Беловского, насчет дружбы... Батюшки мои! (Подбегает к телефону, висящему около табельной доски, нервно набирает номер.) Роза! Это я, ай, боже мой, я! Роза, билеты в театр отдай кому хочешь. Нет, нет, им отдавать нельзя. И если они будут звонить, скажи, что нас нет дома и когда будем — не известно, что мы уехали, ушли — одним словом, провалились. Что? Ну, о таких делах по телефону не говорят. Я сказал не говорят, значит, должна понимать. Ай, Роза, ну ты дура или не дура? Ну, конечно! Поняла? Слава богу. (Кладет трубку.)

Курьерша. Что это ты дух испускаешь, словно тебя сей момент на каторгу?

Павел Алексеевич. Молчи, Акулина Федоровна. Ты ничего не слышала насчет Антона Ивановича?

Курьерша. На моем участке ничего не известно.

(На лестницу выходит секретарша директора Инна Сергеевна.)

Инна Сергеевна. Павел Алексеевич, вас Яков Лукич разыскивает целый час!

Павел Алексеевич. Сейчас иду. Инна Сергеевна, на минуту. Что такое у нас произошло?

Инна Сергеевна. А что?

Павел Алексеевич. С Проскуровским?

Инна Сергеевна. Не знаю. Ужасно смешно изобразили Пропотеева — видели?

Павел Алексеевич. Меняем пластинку? Да ну, скажите, — честное слово, никому не звука.

Инна Сергеевна. Да в чем дело?

Павел Алексеевич. Будто бы вообще. И насчет Беловского...

Инна Сергеевна (в ужасе). Что вы говорите?! Вот и верь людям. Не может быть!

Павел Алексеевич. Нынче, Инна Сергеевна, все возможно. Не представляю, чтобы это могло быть? Может быть, то, что он за границу ездил? И в Моршанске служил... (Ушел.)

Инна Сергеевна. Ужасно! Аня, дай мне «Мишку» и готовь завтрак Якову Лукичу. У него сегодня опять что-то плохо с почками, — он просит фруктов, боржому и чего-нибудь еще, легкого.

Буфетчица. Хорошо. Инна Сергеевна, что-то я слышала, будто бы с Антоном Ивановичем неладно?

Инна Сергеевна. Наверное, сплетня.

Буфетчица. Ну вам-то уж не знать!

Инна Сергеевна. Ей-богу, не знаю. Теперь только и жди — что-нибудь да случится, кто-нибудь кем-нибудь да окажется. Ужасно!

Буфетчица. Я нынче сон видела, словно бы у меня все сосиски полопали. Сосиски были лежалые, а их жрут, а их жрут. Вот оно и сон в руку.

Инна Сергеевна. Ужасно! Дай еще «Мишку»! (Уходит.)

Буфетчица. Слышала, Акулина Федоровна? Говорят, Антон Иванович тоже!

Курьерша. Что тоже?

Буфетчица. Понимай сама! Недаром он за границу ездил и в Моршанске служил.

Курьерша. Вона! В один момент человеку рога напялили.

Буфетчица. А Беловский оказался шпионом. Не то африканским, не то индейским.

Курьерша. Кто же это тебе доложил?

Буфетчица. Товарищ Пропотеев говорил, а я услышала.

Курьерша. Узнать бы насчет Пропотеева, что он-то за птица. Ну, да ты тупа, словно полено, с тобой образованному человеку и говорить-то не о чем. Готово, что ли?

Буфетчица. Тоже, образованная! (Курьерша берет завтрак и уходит.)

Оля (входит). Аня, готов чайник для машинного бюро?

Буфетчица. Готов.

Оля. И значит так. Сосисек три порции, простокваши пять стаканов и пучок редиски. У нас старшая только редиску и жрет. Ох, и скупа!

Буфетчица. Оленька, ты не слышала, что-то там насчет Антона Ивановича говорят?

Оля. А что?

Буфетчица. Кто их знает. Будто бы вообще и насчет Беловского. За границу ездил, всякие наши секреты там продавал!

Оля. Да что ты?

Буфетчица. Будто бы он тоже — понимаешь?

Оля. То-то он какой-то расстроенный ходит. Пришел в бюро, диктует мне, а сам задумывается. Продиктует, продиктует и задумается.

Буфетчица. Задумаешься!

Оля. Да ведь это, значит, его должны...

Буфетчица. Уж будь покойна. У него, говорят, в Моршанске было крупное дело.

Оля. Ай-яй-яй! А он меня упросил работу ему написать. Там что-то на иностранном языке.

Буфетчица. Вот и попадешься ты с этой работой.

Оля. Нет, уж, пусть другую дуру ищет. Дай мне «Мишку», и я побегу, старшая и то, небось, ругается.

Буфетчица. Только уж ты, Оленька, никому ни слова.

Оля. Ну, спрашиваешь! Я только девочкам скажу, чтобы не влопались с этой работой.

Буфетчица. Ну, девочкам скажи, а то действительно страдай из-за них. Чайник и завтрак я пришлю с Акулиной Федоровной.

Беня (входит). Оленька, куда спешите?

Оля. В бюро. Я уж и так заболталась. А вы куда, Беня?

Беня. Иду в бухгалтерию наркомата сверять счет Антона Ивановича.

Оля. Уже?

Беня. Что — уже?

Оля. Уже сверяете?

Беня. Да. А что?

Оля. Хорош он, ваш хваленый Антон Иванович!

Беня. А чем плох? Он в бухгалтерии из всех наших сотрудников на первом месте. Счета всегда в порядке, отчеты сдает во-время...

Оля. Одним словом, лучше Антона Ивановича и человека нет?

Беня. А что?

Оля. А вот вы ступайте, Беня, в бухгалтерию, созовите всех сотрудников, позовите товарища Пропотеева, выйдите на середину и скажите, что Антон Иванович — самый замечательный человек.

Беня. Да полно вам! Не может быть! Неужели и он?

Оля. Вы, Беня, наивный мальчик. Ваш Антон Иванович ездил за границу на чужое золото. И в Моршанске его чуть к расстрелу не приговорили. За разные дела. Вот вам! (Уходит.)

Беня. Чепуха! А все же пойду, скажу Иерониму Сергеевичу. Он ему собирается целую кучу денег выдать! (Уходит в ту же дверь, откуда пришел. Появляется курьерша. Она нажимает кнопку звонка. В учреждении поднимается шум, отодвигаются стулья, слышатся голоса, смех, из дверей вываливается толпа сотрудников.)

Беня (отводит в сторону молодого упитанного человека в очках). Иероним Сергеевич, вы слышали, что поговаривают насчет Антона Ивановича?

Иероним Сергеевич. И пусть поговаривают. Нынче о всех поговаривают.

Беня (шепчет на ухо). Вот.

Иероним Сергеевич. Бред! Глупости! Наплевать!

Беня. Да, но все в один голос!

Иероним Сергеевич. И наплевать, что все. Значит, сплетники! И вы — сплетник, баба на базаре!

Беня. Это уж слишком, Иероним Сергеевич. Я вам, как своему шефу, сигнализирую, а вы...

Иероним Сергеевич. Не верю! Обойдусь без ваших сигналов! Взял бы я этих сплетников и доносчиков да ремнем пониже спины. И вас, Беня. Вас первого! Чтобы не мололи чепуху! Терпеть я вас, Беня, не могу! Дайте мне два стакана простокваши.

Турганов. Что это вам говорил Беня?

Иероним Сергеевич. И повторять не желаю. Что-то насчет Антона Ивановича. Идиот — испортил мне обеденный отдых своей дурацкой сплетней!

Турганов. Я тоже слышал насчет Антона Ивановича. Какие-то бредовые фантазии. Откуда только это идет? Что-то о «загранице», о Моршанске...

Иероним Сергеевич. Вы — комсомолец, вот вы и займитесь и найдите, кто первым все это пустил!

Турганов. И найдем!

Иероним Сергеевич. Болваны! Мне сдачу с трех рублей. (Уходит.)

Турганов. Беня, на минутку. Что вы тут болтаете о Проскуровском?

Беня. Я? Откуда вы взяли?

Турганов. Быть вам битому, Беня! (Отходит.)

Кукушкин. А я утверждаю, что это клевета!

Оля. Утверждаете? Вы, может быть, и насчет Беловского будете утверждать.

Кукушкин. Не о Беловском речь, а об Антоне Ивановиче. Стыдно, молодые люди, стыдно и дрянно!

Беня. Тс-сс!

Кукушкин. Что — «тсс»? Сегодня уволят Антона Ивановича, завтра — меня, послезавтра — вас!

Беня. Ну, уж кто-кто, а я-то чист! Беня тут не при чем!

(Разговор в толпе вперемежку с едой.)

Павел Алексеевич. Говорят, что-то с Антоном Ивановичем?

Беня. Представьте себе, товарищ Каин, говорят, что замешан.

Павел Алексеевич. Но в чем?

Беня. Ну, вероятно, в чем-нибудь замешан, раз говорят.

Алеева. Да будет вам болтать чепуху.

Беня. А я и не говорю. Я только рассказываю, что знаю.

Алеева. А что вы знаете?

Беня. Я молчу. Самое лучшее — молчать.

В толпе. Слышали, что он в Моршанске делал? Целая организация была, он еле-еле оправдался.

В толпе. Они это умеют.

В толпе. Чепуха!

Беня. Моршанск — это старое дело, это по вредительской линии. А вот, говорят, он за границу ездил не только по нашим делам. Прямо, говорят, с поезда — и в разведку!

Павел Алексеевич. Не может быть! Какое нахальство!

В толпе. Олечка, а что вы слышали?

Оля. А вот обратитесь к Бене, он все знает.

Беня. Я-то, может быть, и знаю, да не скажу.

Оля. Говорят что-то о Беловском... Испортил приборы! И вообще!

Павел Алексеевич. О господи, вот ужас-то!

Кукушкин. А я не верю.

Павел Алексеевич. Как сказать...

Алеева. И я тоже не верю! Бред и глупости.

Беня. Вы, товарищ Алеева, всегда на себя напускаете. А тоже комсомолка.

Алеева. Да, комсомолка, потому и не верю.

Беня. «Ходит птичка весело по тропинке бедствий...»

Турганов. Перестаньте, что за шутки!

Беня. Не жалеть же их!

Кукушкин. Бред! Бред!

Беня. Бред? А товарищ Пропотеев для вас авторитет?

Все. Пропотеев?

Беня. Да, Пропотеев.

Все. Э-э-э! (Живая картина.)

Беня. Ну и замолчите, ради бога. Был Антон Иванович и нет Антона Ивановича. И переменим разговор. (Идет Антон Иванович, толпа перед ним расступается.)

Кукушкин. Куда направляетесь, Антон Иванович?

Антон Иванович. В наркомат. Аня, дайте мне что-нибудь пожевать.

Буфетчица (ледяным голосом). Буфет закрыт для приемки продуктов.

Антон Иванович. Чорт знает что. Нашли время!

Буфетчица. Это уж наше дело. Я в системе Наркомпищепрома и прошу не указывать!

Алеева. Я не хочу простоквашу. Антон Иванович, кушайте.

Антон Иванович. Спасибо. (Ест.)

Алеева. Антон Иванович, Оля не хочет печатать вашу работу. Если вы не возражаете, я вам ее напечатаю.

Антон Иванович. Да, да, конечно. А что вы на меня так смотрите, Беня?

Беня. Я? На вас? Что вы!

Антон Иванович. Спасибо, товарищ Алеева! Аня, вам рубль. До свиданья, спешу. (Уходит.)

Алеева. Идиоты! Человек как человек!

Беня. Ладно, посмотрим.

Оля. Уж выхватила работу. Эх ты!

Алеева. Брысь, Оля!

Турганов. Получите рубль за простоквашу. Чепуха все это. Пошли работать, товарищи. (Уходит.)

Оля. Тс-с, девочки, военный!

Беня (шопотом). Это из НКВД! (Кирилл Кириллович подходит к курьерше, спрашивает ее о чем-то.)

Курьерша. Он только сей момент ушел в наркомат.

Кирилл Кириллович. Ага, ушел. Ну, ладно, время терпит. А вы не скажете его адрес?

Курьерша. Гоголевский бульвар, семьдесят два, квартера сто сорок пять.

Кирилл Кириллович. Спасибо. (Уходит.)

Беня. Акулина Федоровна, о ком он спрашивал?

Курьерша. Много будешь знать, скоро постареешь.

Беня. Граждане, а я знаю, о ком он наводил справку. Он спрашивал об Антоне Ивановиче. Понимаете? А вы говорили!

Все. Э-э-э! (Пауза. Живая картина.)

Курьерша. Кыш по местам! (Звонит. Все исчезают. Беня бросается к телефону. Входит Вася.)

Беня. Это наркомат? 2-37. Сукновского. Сукновский, это Беня. Слушай, срочно приготовь лицевые счета Проскуровского. Да, срочно. А? Нет, не могу сказать. Ну, не могу и не могу... Ну ладно. (Шопотом.) За ним приходили. Да. Честное слово. Ну, ты сам знаешь, откуда за ними приходят. Я иду, а ты молчи. Иду. (Кладет трубку.)

Вася. Простите, я тут слышал ваш разговор о Проскуровском.

Беня. Я? О Проскуровском?

Вася. Я же слышал, что вы отпираетесь? Что с ним?

Беня. Не уполномочен. А вы, собственно, кто?

Вася. Я его квартирант и жених его дочери.

Беня. Ах, жених? Н-да! (Зловеще.) Ну, вы могли бы выбрать себе тестя понадежней. А зачем вы сюда явились? К тестю?

Вася. Меня вызвал товарищ... (Справляется по бумажке.) Товарищ Пропотеев.

Беня. Пропотеев? Так-с. Ну, не поздравляю. До свиданья... Жених— ха-ха! (Уходит.)

Вася (к курьерше). Товарищ, как мне пройти к помощнику директора, к товарищу Пропотееву?

Курьерша. Наверх взойдешь и налево по коридору в тупик. Там в тупике он и сидит. (Вася уходит.)

Буфетчица. Ну, что? Говорила я тебе?

Курьерша. Тьфу, окаянная! Замолчи, скалозубка несчастная. Торгуй своими сосисками и не лезь в чужие дела. Тьфу!

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Кабинет Пропотеева. Множество несгораемых шкафов. Надписи: «Не курить», «Не сорить», «Не отвлекаться разговорами», «Время—деньги», «Садитесь без приглашений», «Излагайте дело коротко и четко». Перед Пропотеевым огромная тарелка с бутербродами, простоквашей, зеленью, пирожными. Он кушает и пишет.

Пропотеев (кончил писать, перечитывает). «Исходя из всего вышеупомянутого, означенная личность, являя собой тип, в котором старое, руководствуя всем существом, ведет к гибельным для страны последствиям, — не может быть объектом доверия в глазах трудящихся масс». Н-да. Слог канцелярский, специальный. Им не отразишь всех чувств, волнующих тебя при написании подобного документа. Но стиль литературный почему-то не принят в междуведомственной переписке. А жаль! Все это можно было расписать с оттенками, подвести психологическое обоснование, вникнуть в суть данного субъекта! Тогда означенный документ превратился бы в поэму. Потомки могли бы уяснить из нее всю сложность текущего момента и место, которое занимал в данном текущем моменте Аким Акимыч Пропотеев! М-да! Жаль, весьма жаль! (Стук в дверь. Пропотеев прячет написанное.) Да-да. (Входит секретарша.)

Секретарша. Студент ждет вас второй час, товарищ Пропотеев. Сердится. «Меня, — говорит, — оторвали от учебы, это, — говорит, — отразится на моих успехах».

Пропотеев. Отразится? Пусть он будет благодарен мне за сочувствие: иначе бы это ему не так бы отразилось!

Секретарша. Может быть, ему завтра притти?

Пропотеев. Понимаю. Уже почувствовали симпатию к человеку, которого вы не знаете, не проверили...

Секретарша. Да что вы, товарищ Пропотеев... Всегда вы бог знает что...

Пропотеев. Бог и я — понятия полярные, товарищ Грекова! Не забывайтесь.

Секретарша. Мне с вами трудно работать. Я уйду от вас.

Пропотеев. Не нравлюсь? Да, лицо мое непривлекательно. Но в лице ли дело, если чиста душа?

Секретарша. От вашей души за год шестая секретарша бежит.

Пропотеев. Ушли. Сбежали с ответственного участка. Но с весьма большим трудом устроились на работу.

Секретарша. Меня зовут в Главрыбу. Не хуже, чем здесь.

Пропотеев. Счастливо. Пусть студент войдет через пять минут. (Секретарша уходит. Пропотеев берет трубку телефона, набирает номер.) Сектор кадров Главрыбы? Здравствуй, Савва Кузьмич. Это Пропотеев. Я слышал, что вы хотите иметь в числе сотрудниц гражданку Грекову. Почитаю долгом предупредить — эта работница внешне усердна, толкова, но вздорна, груба и неустойчива. Вывод из этого заключайте сами. Не за что! (Стук в дверь.) Да-да! (Входит Вася. Пропотеев продолжает говорить.) Алло, коммутатор. Это

коммутатор НКВД? Вы нас прервали с номером 21-18. (Васе.) Нет, нет, ничего, садитесь! Да, нас прервали. Я и сам знал, что он того-с. Да-да. Я имею уже директиву, и он будет освобожден. Хорошо. (Кладет трубку.) Да, дорогой товарищ, тяжело, очень тяжело разочаровываться в человеке.

Вася. Я — Василий Сапрыкин, вы меня вызывали...

Пропотеев. Да, да, я знаю. Ты уж меня прости, товарищ Сапрыкин, что я тебя заставил ждать. Звонки, директивы, секретные дела. Того проверь, того уволь! Дело-то у меня к тебе тонкое. Ты уж извини, но я нашу молодежь люблю и ценю. В том числе и тебя, товарищ Вася. Но... (Зловещая пауза.) Слышал, жениться собираешься? У Антона Ивановича дочку отнимаешь? Из квартирантов — в зятья? Так-так. Кушать хочешь?

Вася. Нет. А в чем, собственно, дело?

Пропотеев. В чем дело? Тут-то она и заковыка. Тут-то она, брат, и есть главная точка. Знаешь ли ты этих людей? Изучил ли ты их? Веришь ли им, как своим рукам?

Вася. Они с мамой дружили еще по Моршанску, она меня к ним и устроила.

Пропотеев. Отсюда вывод: уважая родителей, не всегда им доверяй на сто процентов. Возьми пирожное!

Вася. Не хочу. Разве что-нибудь случилось?

Пропотеев. Неосторожно, товарищ Вася, легкомысленно. Комсомолец, студент, — и такая политическая беспечность. А вдруг сегодня твой будущий тесть будет изгнан из государственного учреждения как элемент, не внушающий доверия? Вдруг окажется и будет доказано, что он был агентом темных сил?

Вася. Да что вы! Да разве...

Пропотеев. Товарищ Вася, друг мой, поверь старшему товарищу, — я тебе ничего сказать не могу, но — понимаешь сам — не советую, — подумай, оцени, взвесь, сделай выводы.

Вася. Но я же им отдал за полгода вперед!

Пропотеев. Пропали деньги!

Вася. Но я люблю Лену!

Пропотеев (ледяным тоном). Лену? Ту самую, которая пробралась в ряды комсомола? Не знаю, ничего не знаю, товарищ Сапрыкин. Пожалуйста, — люби, но знай кого! И до свиданья, мне надо работать. Возьми «Мишку» и иди. Иди и подумай! (Вася, бледный, берет конфету и уходит. Пропотеев набирает номер.) Будьте любезны, попросите Антона Ивановича. Ах, в наркомате. Как вернется, попросите зайти ко мне. (Кладет трубку, берет справочную книжку, ищет номер, набрал его.) Коммутатор университета? Комсомольский комитет. Спасибо. Мне нужен секретарь комсомольского комитета. Болен? Так. Может быть, есть его заместитель? Ага. Здравствуйте, товарищ. С вами говорят из учреждения, где работал некто Проскуровский, отец Елены Проскуровской, члена вашей организации. Видите ли, мы выясняем лицо этой семейки. Да, Проскуровских. По телефону такие вещи не говорят, молодой человек, это надо знать. Ну, были... И связи, и прочее. Знаете ли вы, что означенный гражданин Проскуровский затащил к себе члена вашей организации Сапрыкина и женит на своей дочери? Мой телефон 44-04. Ладно. Спасибо. Было бы хорошо, если бы означенный Сапрыкин

поделился со мной устно или письменно обо всем, что ему известно о семье Проскуровских. Пусть позвонит. (Кладет трубку.) Нет, гражданин Проскуровский, не ваши выпады против меня заставили Пропотеева заняться выяснением вашей личности и принятием соответствующих мер. Мелко и подло так думать. Пропотеев выше личной мести, хотя, конечно, Пропотеев не может вас нежно любить. Я стою на принципиальной точке! Я вас кладу под микроскоп, как некоторое насекомое, потому что я подозреваю вас. Я всех подозреваю — и не напрасно. Лучше подозревать, чем не подозревать. Лучше удалить сомнительную личность заранее, нежели потом отвечать за нее и иметь из-за нее неприятности. Если вы враг, вас следует удалить. Если вы еще не враг, но кажетесь мне таковым, вас следует удалить, ибо зачатки врага в вас должны быть несомненно. И я вас удалю, Проскуровский, как удалил Князева, Светлова, Агафеева, Сухотина, Попова, Носова, Ртищева, Болотина и прочих. И я еще буду удалять всех, кто не удален по легкомыслию, по либерализму. (Стук в дверь.) Нельзя. Одну минуту. Войдите. (Гремит ключами от несгораемых шкафов. Входит Беня.)

Беня. Аким Акимыч, вы слышали новость?

Пропотеев. А что?

Беня. Говорят, Проскуровский испортил вместе с Беловским приборы, пил с Беловским и будто бы завербован иностранной разведкой.

Пропотеев. Те-те-те-те!

Беня. Да-да, все говорят. И будто бы, чтобы замести следы, уезжает за границу или, кажется, хочет перейти в пятнадцатый трест. Вот! А потом насчет Моршанска просто ужасы рассказывают: будто бы в Моршанске он завод взорвал или что-то еще. И за ним уже приходили.

Пропотеев. Когда?

Беня. С час назад. Прямо сюда!

Пропотеев. Те-те-те-те!

Беня. А я побежал в трест проверить лицевой счет Проскуровского. Но там все чисто, меня даже сомнение взяло.

Пропотеев. Товарищ Беня, что же вы думаете — враги народа воруют командировочные? Святая невинность. Тут-то как раз они абсолютно чисты. Ну, хорошо. Это я и ожидал. А что говорят?

Беня. Всякое говорят. Кто верит, кто не верит. Иероним Сергеевич ругается.

Пропотеев. Подозрителен, тоже подозрителен. И его бы под микроскоп!

Беня. Под какой микроскоп?

Пропотеев. Вот бы, Беня, устроить такой микроскоп, вот такой,— и через означенный микроскоп все сто миллионов и пропустить на предмет выяснения социальной сути. Всех — никому не давать пощады!

Беня (шопотом). И вышестоящих?

Пропотеев. И вышестоящих! А что? И ежели в ком какое сомнение, какая туманность, — в особый ящик для принятия соответствующих мер! А, каково? Штат бы особый подобрать, вывеску бы повесить «Центробдительность», и меня при той машине главным консультантом!

Беня. Мы бы, Аким Акимыч, всех за пояс заткнули!

Пропотеев. Факт! Факт, Беня! Я тебе, Беня, верю, я из тебя воспитаю, Беня, смену, я устаю, старею. Ты за меня, Беня, держись! Я из

тебя, Беня, через два года человека сделаю, будь покоен. Но для этого надо дорожку чистить, топориком махать! То-то оно, Беня!

Беня. А что верно, Аким Акимыч! Ведь на вышестоящем посту, Аким Акимыч, куда приятней, чем на нижестоящем, а?

Пропотеев. Беня!

Беня. Что, Аким Акимыч?

Пропотеев. Карьеризм, Беня? Не туда гнешь, Беня! Я за чистую идею, Беня!

Беня. И я за идею! Эх, Аким Акимыч, нам бы соответствующие кадры, — мы бы из этой идеи конфетку сделали. Мы бы в три счета доказали, что наш директор...

Пропотеев. Беня, не зарывайся!

Беня. А что? А может быть, он и есть диверсант, а? Вы, что же, его покрывать вздумали, а? А по мне — Якова Лукича с работы снять, вас — на его место, Аким Акимыч, а меня — на ваше.

Пропотеев. И посадят, Беня. Кто тут до меня сидел? Проволоков. А почему он снят? Недоверия у него было мало. А кто это доказал? Я доказал. Я чем беру? Нюхом. Принюхаюсь: враг! Безошибочно. Как лягавая на охоте. Я еще в месткоме на этом деле тренировался, а теперь вот это место занял. А потом я и другие вышестоящие посты займу. А почему? А потому, что я никому на сто процентов не верю. Верить, Беня, никому нельзя. Недоверие, Беня, — священное чувство! Остерегайся, присматривайся, наблюдай, — кто их знает, чем они дышат.

Беня. Факт! Они чем-то дышат, а ты отвечай. Они не так дыхнули, а ты подставляй голову.

Пропотеев. Верно, Беня, верно! Я, например, люблю спокойствие, Беня, я по характеру, Беня, спокойный человек. Я, Беня, люблю нежность, душевный покой. Я очень люблю, Беня, рыбку ловить, особенно карасей. Или грибки искать. Ах, какое наслаждение искать грибки в сыром лесу, Беня, после дождичка! Я со службы приду домой, покушаю вареников, я вареники могу есть даже во сне, побалуюсь с дочкой, сыграю на фисгармонии что-нибудь трепетное и на диване читаю «Ниву» за 1903 год. Различные события: конкурс обжор или, например, убийство сербского короля, или самое большое дерево в мире... Тишина, жена чулок вяжет, спокойствие. А мне говорят: нельзя спокойствие допускать, — волнуйся за Проскуровского, за Беловского. Зачем мне волноваться? А они, говорят, того-с. Ах, того-с? Тогда долой их, раз они того-с! Тотчас применять меры, тотчас собрать материал. А почему? А еще и потому, что мне сказали: будь бдителен. Я и есть бдителен. Закон. Все. Точка.

Беня. Правильно, Аким Акимыч. Вы, Аким Акимыч, великая личность. А насчет микроскопа, Аким Акимыч, не беспокойтесь! Мы его соорудим, ей богу, соорудим. У меня есть приятель, он по технической части дока, он немедленно нам такую штучку соорудит. Он, подлец, в пай начнет проситься, да я его обману. Я пообещаю, а там его под тот микроскоп и в ящик, а? Ах-ха-ха! (Смеется.)

Пропотеев. Да ты, брат, о-го-го!

Беня. А вы думали! Мы их, Аким Акимыч, всех разоблачим! А ежели кто захочет откупиться, мы посмотрим, а? Мы за свои заслуги все

посты займем! И персональные оклады получим, и путевки на курорты, и машины «ЗИС»... Ура, Аким Акимыч!

Пропотеев (строго). Те-те-те-те. Смотри, Беня, не возмечтай, не возгордись, не возомни. Надо скромней быть, Беня, тише, надо любить спокойствие. Людей надо, Беня, любить. Ежели которые, Беня, не враги, тех Беня, люби, они нам могут пригодиться.

Беня. А вот вас, Аким Акимыч, все не любят.

Пропотеев. Те-те-те-те. Опять неверно. Кто меня не любит? Это— во-первых. И почему? Во-вторых. Разве любит лошадь кнут, ее погоняющий? Разве любит лягушка человека, очищающего болото? (Горько смеется.) Пропотеева, мальчик, не любят враги. А Пропотеев именно тем и горд, что его не любят враги. Я ведь, Беня, всех насквозь вижу.

Беня (в ужасе). Ва-ва-ва... И меня?

Пропотеев. И тебя, Беня. Ты вот сегодня старшему бухгалтеру Иерониму Сергеевичу головкой кивнул, когда он называл меня кляузником. Зачем?

Беня. Я же только один раз.

Пропотеев. Запомни, мальчик: кто против Пропотеева, тот почти что против советской власти, кто кивает головой врагам Пропотеева, тот кивает головой врагам советской власти. Иди и помни, товарищ Беня, кругом нас кишат змеи, и мы должны означенных змей передушить своею собственной рукой!

Беня. Будьте, Аким Акимыч, в уверенности, передушим! Засучим рукава и душить! Ах, Аким Акимыч, вы в меня жизнь вдохнули. Что я есть? И кем я могу стать! Я буду вам, Аким Акимыч, сигнализировать и держать в курсе. Вы уж на меня положитесь, — Беня не подведет. Беня все понимает, и он больше не будет кивать головой. Шалишь! Беня себе цену узнал, Аким Акимыч!

Пропотеев. Ну иди. Иди и наблюдай. На-блю-дай! Это закон. Это, Беня, главная точка. (Беня уходит. Телефонный звонок.) Да, да, это я, товарищ Вася. Можно и еще тише, у меня слух тонкий. Так, так! (Делает записи.) Те-те-те-те! Это ценная деталь! Как? Петр Евгеньевич Сарапулов, архитектор. И сколько времени он отсутствует? Вон как? Мы-то знаем где он! Ну, спасибо, товарищ Вася, спасибо, милый. Живи, Вася, и наблюдай. (Кладет трубку. В дверь просовывается секретарша.) Гражданка Грекова, я сто раз говорил вам в течение текущей пятидневки, чтобы вы без стука не входили ко мне. Мало ли какими секретными делами я занимаюсь, мало ли с какими вышестоящими руководящими товарищами могу вести разговоры, не подлежащие оглашению!

Секретарша. Пришел Антон Иванович!

Пропотеев. Вы легкомысленны, товарищ Грекова. Я сомневаюсь в возможности использования вас на государственной работе. Зовите Проскуровского. (Секретарша исчезает. Входит Антон Иванович.) Здравствуйте, товарищ Проскуровский. Простите меня великодушно, сам я не мог отлучиться. Разговор у меня к вам по поводу кадров вашего отдела. Распустили вы людей, — сами табеля не признаете, а за вами и все прочие. Отсюда упадок дисциплины.

Антон Иванович. Не замечал.

Пропотеев. Тем прискорбней. Пропотеев туда, Пропотеев сюда, и в ВЦСПС, и в наркомат. Я не могу за всем усмотреть.

Антон Иванович. А я и не просил вас об этом.

Пропотеев. И, скажем, ваше отношение к ликвидации последствий деятельности Беловского... Не на высоте, не на достаточной высоте!

Антон Иванович. Последствий не замечал. И вообще, что вы пристали ко мне с Беловским? Я о Беловском ничего не знаю!

Пропотеев. Просто указываю вам на потерю бдительности.

Антон Иванович. Это все?

Пропотеев. По-дружески предупреждаю — в массах идет разговор: Антона Ивановича, мол, в свое время с Беловским водой не разделить, что, мол, Беловский у него и дневал и ночевал, в картишки, то да сё.

Антон Иванович. Ну, это мое дело, с кем в картишки играть.

Пропотеев. Да, естественно. Но все же следует остерегаться. А вы несколько беспечны, Антон Иванович. Сегодня дали работу совершенно беспартийной машинистке... А там секретные, может быть, цифры и так далее?

Антон Иванович. И это опять-таки мое дело — выбирать машинистку.

Пропотеев. Имея в виду ваше раздраженное состояние, что отношу к тому, что вы вообще не любите самокритики, не стану вас более затруднять. (Пауза.) Как жизнь? Дочку, говорят, замуж выдаете?

Антон Иванович. Да, вероятно. Но мне ее выбор не нравится.

Пропотеев. Однако — комсомолец?

Антон Иванович. Не все же комсомольцы должны мне нравиться. Подловат. Продаст и папу и маму за полтора целковых.

Пропотеев. Н-да-с. Что-то поговаривают, будто бы вы хотите уйти в пятнадцатый трест?

Антон Иванович. Переманивают. Там круг работы шире.

Пропотеев. А у нас вам уже узко стало, хе-хе? И зарплата там шире?

Антон Иванович. Да, и зарплата имеет значение. Мне наш директор не нравится: ни рыба, ни мясо.

Пропотеев. Однако Яков Лукич не сам сел на это место.

Антон Иванович. Ну, что же, ошиблись. Какой он, к дьяволу, директор для нашего дела? Он же ни черта в нем не понимает. Он же аптекарь, ну и шел бы по аптечной части. Там он, может быть, пришелся бы к месту. И потом, чорт знает, что тут у нас развел: склоку, двурушничество, сплетни, лицемерие.

Пропотеев. Однако — член партии.

Антон Иванович. И среди членов партии сукины дети попадаются. По недоглядке остались.

Пропотеев. Те-те-те-те! Язычок у вас того, да-с. Как ваш племянник? Говорят, будет строить небоскреб?

Антон Иванович. Да, работает.

Пропотеев. Что-то о нем давно не пишут? Все ли у него благополучно?

Антон Иванович. И сам не знаю — пропал куда-то, сгинул.

Пропотеев. Вон как! Ну, не смею задерживать. (Антон Иванович уходит.) Сомнений быть не может — личность неустойчивая, враждебная и, пока его не убрали другие, мы его уберем. (Набирает

номер.) Пришлите мне машинистку Алееву. Это Пропотеев. (Стук в дверь.) Да.

Секретарша. Пришел Павел Алексеевич Каин.

Пропотеев. Так-с. Пустите. Придет машинистка Алеева, введите без предупреждения. (Секретарша уходит, входит Павел Алексеевич.) Ну-с, товарищ Каин?

Павел Алексеевич. Вот и я к тебе, Аким Акимыч, насчет... Проскуровского.

Пропотеев. Насчет личности, которой вы, товарищ Каин, пытались помочь пробраться в ряды ВКП(б)?

Павел Алексеевич. Аким Акимыч!..

Пропотеев. Вы знаете, кем вырисовывается ваш друг и собутыльник?

Павел Алексеевич. Я не позволю клеветать! Какая дружба! Знакомство, да и то кое-какое. Два года назад разошлись по идейным причинам.

Пропотеев. Не лгите! Не вывертывайтесь, я все знаю! Я все проверил! Встречались с Беловским, вели всевозможные разговоры.

Павел Алексеевич. Только один раз...

Пропотеев. Ну-с, гражданин Каин, вы и дальше будете упорствовать или пополните вот эти уже согласованные материалы? Разумеется, мы обойдемся и без ваших дополнений, но, имея в виду 1923 год, когда вы шестьдесят два дня держали у себя на стене портрет злейшего врага народа и все прочее, что я не имею права перечислять, я бы вам советовал написать все, что вы знаете о личности Проскуровского. Это поможет следствию, когда станет вопрос о его изоляции. А этот вопрос уже встал. Уже приходили за вашим другом! Племянник его уже сел! Сел племянник — сядет и дядя!

Павел Алексеевич. Ну что я могу? Он же обыкновенный человек...

Пропотеев. Маска! Маска, драгоценный товарищ. Приподнимите ее, и ужаснетесь.

Павел Алексеевич. Не знаю, решительно ничего не вспомню...

Пропотеев. Ну, иди, иди! Мне некогда.

Павел Алексеевич. Я, может быть, что-нибудь...

Пропотеев. Твое дело, твое дело! (Павел Алексеевич пятится назад, уходит. Пропотеев берет телефонную трубку.) Это отдел кадров пятнадцатого треста? Слушай, Соловейчиков, это говорит Пропотеев. Твое руководство переманивает к себе Проскуровского. Пусть поспешит, а то не успеет. Почему? А вот потому. Ну, брат, догадывайся. Да-да. Нет, мы таких не держим. Ах вот как? Ну, сообщи в свою очередь и Агафону Ивановичу, обрадуй его. (Кладет трубку. Стук в дверь.) Да! (Входит машинистка Алеева.) Ага, товарищ Алеева. Печально, товарищ Алеева, печально. Являясь членом комсомола...

Алеева. Мне некогда. В чем дело?

Пропотеев. В том-с, что, будучи предуведомленной насчет личности Проскуровского, ты взяла у него неизвестную нам работу, дабы, используя инвентарь государственного учреждения, заработать деньги и распространить в печатном виде, быть может, клевету на наш строй?

Алеева. Это его личная научная работа.

Пропотеев. Шифр! Наивный человек, — шифр!

Алеева. А в чем, собственно, Антон Иванович виноват?

Пропотеев. Это тебе знать не надо. Я имею соответствующую директиву.

Алеева. Откуда? Покажите.

Пропотеев. Еще что?

Алеева. А вот что: я сейчас пойду в партком и расскажу о нашем разговоре.

Пропотеев. А что же я тебе сказал? Ну, что? Пойдешь клеветать в партийную инстанцию?

Алеева. Пойду (Идет к двери. Пропотеев бежит за ней.)

Пропотеев. Погоди, Алеева, куда ты? Что я тебе сказал?

Алеева. Вот то самое! (Уходит.)

Пропотеев. Ах, злая девчонка! Ну, и под нее ключи подберем! Так-с. Тогда надо действовать более быстрыми темпами. (Телефонный звонок.) Да, Антон Иванович. В чем дело? Видите ли, я сейчас занят. (Кладет трубку, собирает бумаги. Входит директор.)

Директор. Аким Акимыч, отчет готов?

Пропотеев. Готов, Яков Лукич. Все в порядке.

Директор. Давайте я подпишу и надо посылать. Первыми пошлем во всем объединении. Славно, славно.

Пропотеев. Вот, прошу вас.

Директор (подписывая). А вы почему засиделись?

Пропотеев. Все дела, Яков Лукич, дела и заботы. Виноват, задержу. Считаю своим долгом возобновить наш вчерашний разговор насчет Проскуровского. Возобновляю и настаиваю. (Стук в дверь) Да! (Входит Павел Алексеевич.) Ага, товарищ Каин? Написали? Отлично. (Павел Алексеевич уходит.) Вот, Яков Лукич, вот документ, составленный не врагом, но близким другом Проскуровского. А вот второй документ — показания жениха его дочери, квартиранта, комсомольца. А вот тут то, что собрано иными путями. Вот тут, в этой папке. Тут каждый факт изобличает вашего любимца...

Директор. Помилуйте, какой же он мой любимец?

Пропотеев. Утверждаю вышесказанное. Итак, повторяю, Яков Лукич, тут каждая бумага выводит вашего любимца Проскуровского на чистую воду. А его моршанское дело! А его поездки за границу! Наконец, у него племянник сел — оказался вредителем в области архитектуры! Более того! Есть сведения, что, вырвав из ваших доверчивых рук заграничную командировку, он имел намерение остаться там! Да-да! Это все факты! И я имею директиву с означенным Проскуровским не церемониться. Наркомат согласен ликвидировать занимаемую Проскуровским должность главного эксперта, заменив ее должностью консультанта. Под этой маркой Проскуровский должен быть убран немедленно. Сегодня же, имея в виду, что им уже заинтересовались другие органы. Вам понятно — какие именно?

Директор. Но, Аким Акимыч, мы же этаким манером всех разгоним. Кто ж останется — я да вы?

Пропотеев. Насчет вас — не уверен!

Директор. То-есть?

Пропотеев. Проскуровский говорит, что вы аптекарь, что вам место в аптеке, а не здесь. Что вы тут подхалимство развели, двурушничество, склоку, что вы в нашем деле ни черта не понимаете. Не зав-

тра — послезавтра он бумагу накатает и, главное, все в данной бумаге докажет. И вас, действительно, в аптеку, хе-хе! В аптеку его! Туда его! Так что лучше Проскуровскому ротик заткнуть сегодня же. День промедления, и ваша судьба под эдаким вопросом. Если меня вызовут по его бумаге да будут спрашивать — дам подтверждение, так и знайте. Да-с, скажу: в аптеку его! А ежели мы его сейчас удалим — голос его будет иным. Не тот будет голос. Это уже будет клевета!

Директор. Но ведь эдаким же манером вся работа к чорту?

Пропотеев. А что вы считаете важней на данном этапе? На данном этапе, я спрашиваю вас, что важнее — очищение рядов или успех работы?

Директор. И то, и другое, знаете, важно...

Пропотеев (зловеще). Так-с! А ежели завтра Проскуровского заберут прямо со службы — кто будет в ответе? Кто будет отвечать за потерю бдительности? Вы или ваша покойная мамаша? И я буду отвечать, и вы! И я укажу на вас. Я скажу: я предупреждал, я докладывал, а он уши заткнул ватой и глаза закрыл.

Директор. Надо же подумать, посоветоваться наверху.

Пропотеев. Те-те-те-те! Подумать? Пошататься? Поколебаться? Перестраховаться? Разумеется, это для меня не новость. Это для меня лишь добавочный факт из того цикла фактов, касающихся вашей биографии, коими я располагаю.

Директор. Да вы, что же, и меня хотите во вредители произвести?

Пропотеев. А кто вас знает. Вы так упорно цепляетесь за врагов и подозрительных людей, что я ничему не удивляюсь. Моя обязанность и вас взять под микроскоп, как некое насекомое. Вдруг да и увижу вашу главную точку!

Директор. Вы с ума сошли!

Пропотеев. Ну, если вы считаете заботу о чистоте кадров и бдительность безумием, нам с вами говорить нечего. Но предупреждаю — покровительство врагам даром не проходит!

Директор. Я — покровительствую?

Пропотеев. Да, вы! Я молчу о том, какие сражения происходили у нас на почве очищения вверенных вам кадров. Но и я могу потерять терпение. И я могу рассказать о тех препятствиях, которые вы мне ставили, когда я выкорчевывал беловщину!

Директор. Хорошо, хорошо, не надо! Вы все проверили, что тут написано о Проскуровском?

Пропотеев. До мельчайшего факта. Убежден: враг.

Директор. Приказ!

Пропотеев. Вот-с, заготовлен... «По собственному, хе-хе, желанию в связи с ликвидацией должности наркоматом...» Ну, вот. Подписано — и нет человека. Одной гремучей змеей стало меньше. Поздравляю вас, Яков Лукич!

Директор. Вы уж ему сами сообщите. У меня, знаете, почки, сердце, и я еще разволнуюсь. Зачем это? И он уже звонил, что-то узнал...

Пропотеев. Хорошо, хорошо, возьму это на себя. До свидания, Яков Лукич, всего наилучшего! (Директор уходит. Пропотеев нажимает кнопку звонка. Входит секретарша.) Товарищ Грекова, позвоните Проскуровскому, сообщите ему данный документ.

Секретарша (читает приказ). Добились своего? Эх, вы!

Пропотеев. Попрошу не комментировать действий руководства.

Секретарша (у телефона). Это квартира Проскуровского? Антона Ивановича. Это Вера Матвеевна. Антон Иванович? Директор подписал приказ о вашем увольнении по собственному желанию в связи с ликвидацией должности наркоматом. К сожалению, это так. Директор ушел...

Пропотеев. И я ушел...

Секретарша. И Аким Акимыч ушел. (Кладет трубку.) И я ухожу.

Пропотеев. Дайте мне личное дело Павла Алексеевича Каина и вы свободны.

Секретарша. Оно у вас. До свидания. (Уходит.)

Пропотеев. Ну-с, будем выкорчевывать остатки проскуровщины. Возьмемся за Павла Алексеевича. Что тут у него? (Уплетая бутерброды, рассматривает бумаги.) Те-те-те-те! Ай-яй-яй! Тянул Проскуровского в партию. Пьянствовал с Беловским. Снабжал билетами в театр врагов народа. Покрывал их. Дружил с ними. Вот в эту папочку. В синенькую, в синенькую. Поднакопим материальцы — и долой отсюда! Враг — нет сомненья! Под микроскоп, как насекомое! (Злорадно смеется.) Чем больше, тем спокойнее.

АКТ ТРЕТИЙ

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Кабинет директора учреждения. Директор сидит за своим столом.

Инна Сергеевна (входит). Яков Лукич, опять Проскуровский пришел. Шестой день ходит. Примите вы его!

Директор. Что ему нужно? Что? Уволен и баста!

Инна Сергеевна. Он все за сердце хватается, — жаль смотреть!

Директор. Просите. (Инна Сергеевна уходит. Входит Антон Иванович.)

Антон Иванович. Здравствуйте, Яков Лукич. Вот, наконец, я вас застал. Иду по учреждению, а люди меня не видят. Хотя не обижаюсь, некоторые узнают. А за спиной слышу шепчутся: «Неужели, мол, он еще ходит?»

Директор. В чем же, однако, дело?

Антон Иванович. Шестой день хожу по разным учреждениям — ищу места. Позвонят сюда и отказывают.

Директор. Не могу отвечать за головотяпов из учреждений, посторонних нашему ведомству.

Антон Иванович. Да, но почему же меня так рекомендуют?

Директор. Обратитесь к Акиму Акимычу — это его дело. Когда же запрашивают лично меня, я излагаю суть дела и только.

Антон Иванович. Вот я за этим к вам и хожу всю неделю — за сутью. В чем она?

Директор. Вы же знаете—наркомат ликвидировал вашу должность.

Антон Иванович. Но он же создал равноценную. Я согласен ее занять.

Директор. Кандидатура на эту должность подлежит утверждению наркомата.

Антон Иванович. Я был в наркомате. Они не возражают.

Директор. Бумажку имеете?

Антон Иванович. Зачем же бумажку? Позвоните!

Директор. От разговора можно отказаться, а от бумаги никак.

Антон Иванович. А если я достану бумагу?

Директор. Против вашей кандидатуры будем возражать мы.

Антон Иванович. Почему?

Директор. Наркомат не зря сократил вашу должность.

Антон Иванович. Он же не против меня.

Директор. Перестраховщики и лицемеры. Вы попросите бумагу, другое запоют.

Антон Иванович. Значит, есть бумага — нет работы, нет бумаги — нет работы. Зачем же тогда бумага?

Директор. Не смею вас больше задерживать. Очень занят. До свиданья. (Антон Иванович уходит. Входит Инна Сергеевна.) Чтобы я больше Проскуровского здесь не видел! У меня нервы, у меня почки!

Инна Сергеевна. Я слышала, Яков Лукич, что партком и местком затевают по поводу Проскуровского большое дело. Сегодня в стенгазете опять вас с Пропотеевым прохватили. Почитайте.

Директор. Мне некогда читать художественную литературу.

Инна Сергеевна. Так вы подумайте, что вы делаете.

Директор. Мне некогда думать, — я работаю. У меня все трещит.

Инна Сергеевна. Не выгоняли бы людей пачками...

Директор. Инна Сергеевна, я знаю, что я делаю. Я государственный деятель еще молодой, но я действую, исходя из высших принципов. (В кабинет входит разгневанная Марья Петровна.)

Марья Петровна. Где тут ваш паршивый директор?

Директор. Гражданка, вы не на базаре.

Инна Сергеевна. Яков Лукич занят.

Марья Петровна. Ах, вы и есть тот самый Яков Храбрый? Вы и есть тот самый беспринципный человек, который играет людьми, как кеглями? Почему вы меня не принимали шесть дней? Почему прятались от меня?

Директор. Я вас первый раз вижу! Я вас не знаю.

Марья Петровна. Ах, не знаете? Я — жена Проскуровского, которого вы ошельмовали и продолжаете шельмовать.

Директор. Что я могу сделать? Это же все наркомат.

Марья Петровна. Врете! Врете беспринципный вы человек! Вы иезуит, по физиономии видно. Иезуит! И мне у вас ничего не добиться. (Входят Лена и Гаврик.)

Лена. Мама? Кто же остался с папой?

Марья Петровна. Папа твой — сумасшедший человек, он убежал... Его к постели надо приковывать цепями!

Директор. Да что же это такое, Инна Сергеевна? Я работать должен.

Инна Сергеевна. Граждане... (Махнула рукой, ушла.)

Марья Петровна. Вот, Леночка, этот самый директор! Хотела дать ему по физиономии, но пожалела себя.

Директор. Да я вас...

Гаврик. Директор, спокойствие! Марья Петровна, спокойствие. Ся-

дем вот на эти приспособления, ибо сказано, что лучше сидеть, чем стоять, и тихонько поговорим на волнующие темы.

Директор. Но я вас не знаю.

Гаврик. И я вас не знал. Это не мешает нам познакомиться. Я из университетского комитета комсомола. Кто-то позвонил из вашего учреждения в комитет и наговорил разной чепухи.

Лена. Эта чепуха стоила мне комсомольского билета!

Гаврик. Тихонько, Лена. Все станет на свое место. Вот я хожу по вашему учреждению и узнаю, кто звонил.

Директор. Цель вашего посещения мне не ясна. Тем более, в присутствии посторонних...

Марья Петровна. Посторонних? Ах вы, иезуит!

Гаврик. Марья Петровна, тихонько.

Лена. Нет, это чорт знает что! Мы — посторонние?

Гаврик. Лена, тс-с! Сейчас мы все выясним. Спокойствие. Дело в том, товарищ директор, что я очень сердит, а в сердитом состоянии у меня страшно портится характер. Если я к вам пристану, то уж не отстану, пока все не будет для меня ясно. Клевета интересует меня, как социальное явление. И я найду клеветника у вас, и я из него без шума и грохота сделаю манную кашу.

Директор. Но я же ничем вам не могу помочь.

Гаврик. Напрасно. (Входит Инна Сергеевна.)

Инна Сергеевна. Член коллегии защитников товарищ Подушко.

Директор. Просите... (Инна Сергеевна уходит.) Виноват, но вам придется притти в другой раз. (Входит Подушко.)

Подушко. А-а, вся семья подзащитного?

Марья Петровна. Пришла поглядеть на этого вот...

Лена. Мама!

Марья Петровна. Что — мама? Что — мама?

Гаврик. Мама, тихонько... Спокойствие.

Марья Петровна. Я вам не мама!

Гаврик. Как знать — вдруг будете. Доверимся, Марья Петровна, члену коллегии защитников...

Подушко. Будьте покойны, приложу все усилия.

Гаврик. А мы зайдем в партком—там нас примут учтивее. (Марья Петровна, Лена и Гаврик уходят.)

Подушко. Я интересуюсь мотивами увольнения подзащитного.

Директор. Гиблое дело! Проиграете! Неоспоримые данные.

Подушко. Наркомат только сегодня узнал об увольнении Проскуровского и, знаете, не одобряет.

Директор. Не смею верить, простите.

Подушко. Придется отвечать.

Директор. Я сумею ответить за свои поступки.

Подушко. За поступки ответить легко, а за проступки?

Директор. Виноват, какие же проступки вы имеете в виду?

Подушко. Клевету.

Директор. В данном случае карается.

Подушко. Подберу статью — закатаю, как миленького. Из адвоката в обвинителя превращусь, а уж упеку вас.

Директор. Без угроз, без угроз... Материалы о Проскуровском подтвердились.

Подушко. Разрешите ознакомиться. Имею полномочия.

Директор. Материалы секретного порядка. Без указаний особого характера ничего не могу дать. Ни одного листа.

Подушко. Ой, не миновать вам судиться.

Директор. Не впервой! (В кабинет, запыхавшись, вбегает Беня.)

Беня. Яков Лукич, опять справляются!

Директор. Неужели?

Беня. К вам идет. Вот! (В кабинет входит Кирилл Кириллович.)

Беня хочет остаться. Директор указывает ему глазами на дверь Беня выходит.)

Кирилл Кириллович. Простите, я на одну минуту...

Директор. Прошу вас, садитесь.

Кирилл Кириллович. Нет, не стоит... Видите ли, я хочу навести справку о Проскуровском...

Директор. Да, понимаю. (Смотрит на Подушко, тот встает).

Кирилл Кириллович. Нет, зачем же вы уходите. Вы мне не мешаете.

Подушко. Тем лучше. Член коллегии защитников Подушко.

Кирилл Кириллович. Очень рад.

Директор. Сейчас я вызову одного человека, и он вам даст все объяснения по интересующему вас вопросу. (Нажимает кнопку звонка, появляется Инна Сергеевна.) Позовите сюда немедля Пропотеева! (Инна Сергеевна исчезает.) Прошу вас (открывает портсигар). Чертовская жара в этом году в Москве. Деваться некуда. (Входит Пропотеев.) Мой помощник, товарищ Пропотеев. Вот товарищ интересуется личностью Проскуровского.

Пропотеев. Ага! А я уж начал думать, что вы пройдете мимо. Прошу ко мне.

Кирилл Кириллович. Зачем же к вам? У меня всего один вопрос.

Пропотеев. Не веду никаких разговоров на ответственные темы в присутствии посторонних.

Подушко. Я могу...

Кирилл Кириллович. Да помилуйте, к чему все это? Я пришел узнать, работает ли у вас Антон Иванович Проскуровский?

Директор. Шесть дней назад он работал у нас.

Кирилл Кириллович. То-есть вы хотите сказать...

Пропотеев. Об этом потом, это дело конченное. Но если бы вы, товарищ, знали, как мне трудно работать в окружающей обстановке. Что меня окружает? Недоверие, легкомыслие, либерализм! И знаете, товарищ директор, заявляю в присутствии вот этого ответственного и полномочного товарища, больше я не могу. Вот кончу дело Павла Алексеевича Каина, и прошу дать мне отпуск. Нервы, невралгия, мигрень, почки — все устало, все просит отдыха.

Директор. Но вы же только что из отпуска, Аким Акимыч?

Пропотеев. Из отпуска! Да! Но разве обычный отпуск достаточен для меня! Нет, товарищ директор, вы не понимаете Пропотеева, не цените!

Директор. Я не понимаю? Я не ценю?

Пропотеев. Ответственно заявляю: понимая всю остроту момента

недооцениваете, не относитесь чутко к товарищу, который только тем и занят, что день и ночь стоит на вышке государственных интересов, забывая семью, самообразование, культурные развлечения...

Кирилл Кириллович. Я прошу прощенья, но мне некогда...

Пропотеев. Виноват, но не могу не воспользоваться вашим присутствием, чтобы не изложить свою точку зрения на своего шефа. Вы уж меня простите, Яков Лукич, я без дипломатии.

Директор. Аким Акимыч, что ты, дорогой? Я тебе за счет лечебного фонда закажу путевку в Мацесту. Поезжай, отдохни!

Пропотеев. Вот, полюбуйтесь! Путевку предлагает! Нет, не подкупите! Не заставите молчать человека, который, не щадя сил, борется со всем тем, с чем вы бы и не сочли нужным бороться! Поверьте, дорогой товарищ, за год изгнано двадцать вредителей!

Подушко. Неужто все вредители?

Пропотеев. Или уже, или кандидаты во вредители. Вот это была работа! А ты, директор, со своей путевкой! Поезжай с ней сам, ежели тебе вообще придется ехать на юг, в чем я глубоко сомневаюсь! Как бы на север не поехать, хе-хе!

Директор. Аким Акимыч!

Пропотеев. Что — Аким Акимыч? Уже задрожал? Уже побелел? Недаром Яковом Храбрым зовут! А ну, скажите, директор, как вы защищали Акима Акимыча от всех выпадов? Помогли ли вы создать вокруг Акима Акимыча атмосферу любви и доверия? Где любовь? Где атмосфера? Ну что? Что же вы выпучили глаза? Лишились органа речи?

Директор. Но опровержения? Но соответствующие характеристики и выдвижение? Вспомни, кем ты стал за два года! Что ж тебе надо еще?

Пропотеев. Эх, директор, директор! Ничего мне от вас не надо! Да и что мне надо от человека, потерявшего бдительность!

Подушко. Одно дело бдительность, другое — мнительность.

Пропотеев. Виноват, а вы, собственно, кем являетесь на данном этапе, товарищ?

Кирилл Кириллович. Не обращайте на него внимания: он любит острить. Продолжайте.

Пропотеев. Что продолжать? Кому, как говорится, повем печаль мою? Да, я утверждаю, что наш директор потерял остаток классовой бдительности! Поверите ли, товарищи, каждого врага я вырывал у него из рук! Я рву, а он за них цепляется. Я Беловского у него просто выдрал! Он и в Проскуровского зубами вцепился!

Кирилл Кириллович. Так это вы Проскуровского выгнали?

Директор. Еще бы!

Кирилл Кириллович. За что?

Директор. За всевозможные действия, направленные к ниспровержению установленного народом строя.

Кирилл Кириллович (хохочет). Вы что, в уме?

Директор. Виноват, я не понимаю....

Кирилл Кириллович. Да я Проскуровского знаю двадцать лет. Мы же с ним Урал на ноги ставили! Это же такой человек!

Директор. Да вы не родственник ли ему, товарищ?

Кирилл Кириллович. Какой к дьяволу родственник! Друг, товарищ. То-то приезжаю я в Москву, десять лет не видел Антона, иду

к нему домой — говорят, не проживает. Звоню по телефону — выключен. Прихожу сюда — что-то мычат, посылают к директору.

Пропотеев. Те-те-те-те, это же действительно гнусная история. Товарищ ищет своего друга, соратника по борьбе, а директор изгнал его из государственного учреждения, как классового врага!

Директор. Я изгнал?

Пропотеев. Вы изгнали! Вы-с! Вы приказ подписали!

Директор. Но материал-то... Материал-то ты собрал.

Пропотеев. Что вы меня тыкаете? Я с вами не пил соответствующего брудершафта. О каких материалах вы лепечете? Вы что, гражданин? Вы вдобавок и клеветник? Вы читали упомянутые материалы. Вы их видели?

Директор. Ты же мне говорил...

Пропотеев. Я? Когда? Где свидетели? Разве я не сказал сию минуту, что тащил из ваших зубов уважаемого Антона Ивановича Проскуровского, когда вы его хотели сожрать?

Директор. Вон! Увольняю! Изгоняю!

Пропотеев. Э-э, постой, постой, директор. За что? По какому праву? За самокритику? Виноват, не выйдет.

Иероним Сергеевич (входит). Да, да, подлость! Клевета, донос! Чорт знает что! Не учреждение, а навозная куча! Не желаю, не хочу! Немедленно требую ответа, что такое у нас происходит?

Директор. Да что с вами случилось, Иероним Сергеевич?

Иероним Сергеевич. Со мной еще ничего не случилось. Но гарантий нет. Раз что-то случилось с Болотиным, Проскуровским, Каином, Поповым, Кузьминым, и со мной может что-нибудь случиться. Требую ответа! Сейчас! Сию секунду! Или я, чорт возьми, в набат ударю! Почему уволен Проскуровский? Кто в нашем доме навоз развел?

Директор. Иероним Сергеевич, тут же люди...

Иероним Сергеевич. Вижу! Тем лучше! Тем лучше!

Пропотеев. Факт! Факт, Иероним Сергеевич! Именно общественность тут и не мешает!

Иероним Сергеевич. Вы? Вы еще тут? Глазам не верю? Вон! Чтобы духу не было...

Пропотеев. Но-но!

Директор. Граждане, да что же это такое? (Входят Алеева и Кукушкин.)

Алеева. Ну?

Директор. Это же не так просто. Разберусь.

Алеева. Разберетесь! А если мы уже разобрались?

Директор. Молчать! Я единоначальник!

Кукушкин. Вы идиот, а не начальник. Да-с! Заявляю вслух: идиот! Вы все учреждение размотали.

Пропотеев. А я что говорил? А? Вот и массы тоже говорят.

Алеева. Вас, товарищ Пропотеев, просят в партком по делу Проскуровского.

Кукушкин. Если сегодня же дело Проскуровского не выяснится, в высшие сферы пойду! А? Да! В НКВД пойду!

Алеева. И не один он пойдет, Яков Лукич.

Директор. Оставьте кабинет, я все сделаю, я все выясню, я все согласую. Прошу вас! Прошу вас!

Иероним Сергеевич. Ждем еще сутки и тогда уж пеняйте сами на себя. (Уходит.)

Пропотеев. Видели, товарищи, возбуждение масс? Ах-ха-ха! Вот так доигрался директор. (Входят Лена, Гаврик, курьерша.)

Гаврик. Товарищ прокурор, или как вас там...

Подушко. В данный момент являюсь общественным обвинителем.

Лена. Вот вам начало всей этой истории.

Гаврик. А ну-ка, выходи, Акулина Федоровна, на арену правды.

Курьерша. Мне некогда, у меня участок остался оголенным. Прошу задавать наводящие вопросы.

Лена. Вот ей было сказано, что Антон Иванович — враг народа.

Подушко. Кто вам это сказал?

Курьерша. Буфетчица, заместо того, чтобы торговать сосисками, она разводит сплетни.

Лена. Позвать буфетчицу.

Гаврик. А ну!

Директор. Буфетчицу сюда, живо!

Курьерша. Сейчас я вам представлю эту легкомысленную зубоскалку. (Уходит.)

Пропотеев. Виноват! Отправляюсь для несения служебных обязанностей.

Лена. Нет! Подождите.

Гаврик. Именно, вы-то нам как раз и нужны.

Кирилл Кириллович. Директор разрешает вам остаться здесь.

Директор. Не только разрешаю, но властью мне данной приказываю. Я еще молодой государственный деятель, но, когда надо, я крут! (Входит буфетчица.)

Гаврик. Кто вам сказал, что Проскуровский — враг народа?

Директор. Отвечать! Ну?

Буфетчица. А я, может быть, и не слышала. Я не в вашей системе!

Директор. Сейчас же выброшу ваш паршивый буфет на улицу.

Гаврик. Директор, тихонько.

Буфетчица. Мне машинистка Оля сказала, она у вашей секретарши сидит, губы подмазывает. Спрашивайте ее!

Лена. Позвать Олю!

Директор. А позвать мне Олю! (Входит машинистка Оля.) Вы знаете, что Проскуровский враг народа?

Оля. Я не при чем, Яков Лукич. Мне Проскуровский, правда, навязывал работу, но я от нее отказалась. Мне Беня сказал: «Откажитесь. Проскуровский того...»

Лена. Что — того?

Оля. Ну, то самое!

Лена. Позвать Беню!

Директор. Да, да, немедленно. (Оля уходит.)

Лена. Я эту канитель размотаю. (Входит Беня.)

Директор. Вы этого товарища (показывает на Кирилла Кирилловича) видели?

Беня. Видел. Он за Проскуровским приходил.

Гаврик. Кто вам сказал?

Беня. Я сам догадался. Потом пошел к Акиму Акимычу, и он мне подтвердил.

Пропотеев (зловеще). Что я тебе, товарищ Беня, подтвердил?

Беня. Подтверждали, Аким Акимыч, ей-богу, подтверждали. Помните, вы насчет микроскопа говорили. Что, мол, всех бы надо под микроскоп, и даже вышестоящих... И что Проскуровский того... Я спрашивал Инну Сергеевну, так ли это, она говорит так. Тут и я всем сказал.

Гаврик. Вы, Беня, комический тип, вас бы в пьесу.

Беня. Пожалуйста! Беню этим не запугаете, у Бени троюродный брат театральный критик!

Лена. Идите и позовите Инну Сергеевну!

Директор. Марш! (Беня уходит.)

Инна Сергеевна (входит). Вы меня звали, Яков Лукич?

Гаврик. Да, мы вас звали. Мы хотим спросить у вас, кто вам сказал, что Проскуровский вредитель?

Директор. Прошу ответить четко.

Инна Сергеевна. Да все говорили. Павел Алексеевич Каин говорил...

Лена. Где Павел Алексеевич?

Инна Сергеевна. Он получает расчет.

Директор. Отменяю расчет! Позвать Павла Алексеевича! (Инна Сергеевна уходит.)

Пропотеев. Как бы до вас не дошло, товарищ директор. Не вы ли первый и сказали?

Директор. Нет, не я! Это ты, Пропотеев!

Пропотеев. Нет вы! Вы и есть главный клеветник.

Гаврик. А кто к нам в комитет звонил?

Пропотеев. Он, точно знаю, — он!

Павел Алексеевич (входит. Он постарел, поседел, осунулся). За что?

Директор. Отменяю! Восстанавливаю! Завтра же на работу!

Павел Алексеевич. О чорт, три дня без дела, как без воздуха!

Кирилл Кириллович. Кто вам сказал, что Проскуровский вредитель?

Директор. Что он враг, негодяй?

Павел Алексеевич. Да вот Аким Акимыч сказал.

Пропотеев. А кто на своего дружка донос сочинял? Кто означенную кляузу мне подсунул? Это ты, Паша-Каин!

Павел Алексеевич. А ты мне прошлым грозил!

Пропотеев. Ответственно заявляю: клевета.

Кирилл Кириллович. Ну, кажется, все ясно.

Лена. Вполне.

Подушко. Н-да!

Директор. Товарищи, я вас заверяю, что все от меня зависящее будет предпринято.

Павел Алексеевич. Пойду, обрадую Розу. Она ведь мне сухари печет. Лена, можно вас на одну минутку?

Лена. Нет.

Павел Алексеевич. Я же стал жертвой...

Лена. Я вас не знаю...

Павел Алексеевич. Передайте отцу...

Лена. Ничего не передам! (Павел Алексеевич уходит.)

Кирилл Кириллович. Лена?

Лена. Да?

Кирилл Кириллович. Не узнали?

Лена. Простите... нет.

Кирилл Кириллович. Да, значит крепко я постарел. Помнишь на велосипеде тебя катал?

Лена. Кирилл Кириллович?

Кирилл Кириллович (обнимает Лену). Пузырь!

Лена. А вот это Гаврик!

Кирилл Кириллович. Да, понимаю...

Лена. Он со мной учится.

Кирилл Кириллович. Да. Понимаю. Ну, ладно, спешите к отцу, обрадуйте и скажите, что я буду у него вечером. (Уходят. Звонок телефона.)

Директор. Да, я слушаю. Поздно спохватились. Я сам за него вступился! (Кладет трубку.) Партком, видите ли! Насчет Проскуровского.

Марья Петровна (входит). Вот вам бумага от наркома, беспринципный человек!

Директор. Никаких бумаг, никакой волокиты! Инна Сергеевна, пишите приказ — увольняю Пропотеева без выходных, без отпускных, без компенсаций. Немедленно, с сего числа, за клевету, за подлоги, за шантаж.

Пропотеев. Товарищ директор, да что ты? Яков Лукич! Я же за правду страдаю!

Директор. Под суд тебя, каналью, упеку!

Пропотеев. А-а, так! Я тебя сам затаскаю по судам и коллегиям. Я из тебя жилы вытяну. Я всю твою нервную систему расшатаю, должность отниму, и сам на нее сяду. А тебя на Колыму, в аптеку, хинин делать! У тебя жена из Финляндии приехала! Ты свою тещу на базар на казенной машине возишь! Ты в восемнадцатом году у белых унтер-офицером служил! Ты семь недель колебался по вопросу о генеральной линии! У тебя отец кем был? Товарищи, у него отец — мельник, кровопиец, с попом в карты по вечерам играл и водку жрал с губернатором! Я все знаю! Я под тебя все ключи подобрал! Я тебе под хвост перцу насыплю!

Директор. Швейцар!

Пропотеев. Но-но, ты! Расхрабрился очень! Погоди, у тебя еще не раз душа в пятки уйдет. Ты еще семь раз сегодняшний день проклянешь. А ну, откройте дверь! Пропотеев увольняется, но Пропотеев живет! (Уходит.)

Директор. Товарищ защитник! Подберите под него статью похлеще, покрепче, погуще, чтоб его, сукина сына, тридцать лет на воздух не выпускали!

Подушко. Выпишите доверенность на ведение дела — и я готов.

Директор. О-о, подлец! Кляузник, мошенник! Всех опутал, перепутал, одной веревочкой связал. Я его ночью во сне видел и холодным потом покрывался! Холерой снился! В виде смерти приходил! В образе Серафима Саровского являлся и упрекал в потере классовой бдительности!

Инна Сергеевна (входя). Яков Лукич... там... пришел... ох, ужасно... Беловский.

Директор. Кто-о?

Инна Сергеевна. Беловский. Живой. Смеется. К вам.

Директор. Ав-ва-ва... З-зовите! (Инна Сергеевна уходит.) Товарищи! Что ж это, а? Покойники начали являться?

Беловский (входит). Здорово, директор! Да ты, брат, что-то бледен, чем-то расстроен, похудел даже!

Директор. Виноват. Вы что же — прямо из тюрьмы?

Беловский. Я? Да ты что, очумел?

Директор. Вас же посадили?

Беловский. Верно, посадили, — в советский контроль посадили. Целый месяц в провинции болтался, твои отделения осматривал. Худо, директор, худо. А тут ты с Проскуровским что-то начудил, заявлений на тебя куча — и от парткома, и от месткома, и от главного бухгалтера, и от комсомола, и от Алеевой. Худо, Лукич, худо! Ревизию мне поручено произвести!

Директор. Ревизию? Погубили! Зарезали! Под топор подвели! А-а-а!

Подушко. Дайте ему стакан воды!

Директор. Стакан воды! Дайте мне омут, чтобы я мог в нем утопиться! Инна Сергеевна, звоните Болотину, Кузьмину, Светлову, Ртищеву — всем, кого уволили, — отменяю, восстанавливаю! На коленях перед ними ползаю — пусть идут работать! Пишите приказ: восстанавливаю Проскуровского с выплатой выходных и с занесением на красную доску! С благодарностью в личное дело. Кабинет ему новыми обоями оклею! Квартиру дам на третьем этаже, персональную машину, путевку в Кисловодск! Машину за Проскуровским! Линкольн вызвать из «Метрополя»! Стой! Я сам поеду! Машину мне! Я перед невинной беспартийной личностью извиняться еду!

КАРТИНА ПЯТАЯ

Квартира Проскуровских. Разгром. Вещи сложены, увязаны. Плотники прорубают дверь. Антон Иванович лежит с головой, увязанной полотенцем, и с компрессом на сердце. Около него корзина с продовольствием. В дверях Наумыч.

Наумыч. Что же это они вас не выкорчевывают? Что же это они вас за душу тянут? Ай руки до всех до вас не доходят?

Антон Иванович. Вот подожду еще три дня и уеду в Моршанск. Там мне место обещают — старшего помощника к младшему консультанту. Все равно!

Наумыч. А нынче опять приходили по твою душу. И все один и тот же ходит, я уже его узнал. Я говорю: «Не живет». — «Как так не живет? У меня есть данные». — «Данные, — говорю, — мне ни к чему, мне ордер показывай. Ордера нет — и иди». Почесал нос и ушел. Эй вы, плотники-работники, чтоб вас! Поторапливайтесь!

1-й плотник. Мы и то стараимси!

Наумыч. «Стараимси»! За неделю одну дверь не могут сделать.

2-й плотник. Дом старый, стены вон какие — не то, что в нынешних.

1-й плотник. Такую стенку прошибить — это тебе не что-нибудь.

2-й плотник. А ты думал!

Наумыч. Поговорите у меня! (Уходит.)

Антон Иванович (кричит). Да кончайте вы скорей!

1-й плотник. Верно нам лектор говорил: в городу, мол, люди нервные...

2-й плотник. А ты думал. Ну, руби, Микита!

Лена и Гаврик (вбегают). Ура, папа! Я в советском контроле была, там за тебя вступились!

Гаврик. Поздравляю вас, папа! За вас и партком, и местком заступились. Ура, папа, дайте я вас поцелую!

Антон Иванович. Виноват, какой же я вам, папа? Я вас совсем не знаю.

Лена. Ах, да, пожалуйста, знакомься. Это тот самый Гаврик Пастухов, наш комсомолец, понимаешь?

Антон Иванович. Ничего не понимаю.

Лена. Ну, Гаврик, ну, студент. Он тоже взялся за это дело, понимаешь?

Антон Иванович. Нет, абсолютно нет.

Лена. Ну и ладно, ну и не надо.

Гаврик (робея). Видите ли, Антон Иванович. Я вообще... Я ввязался... Это меня, знаете, очень все рассердило... И потом Лена... Я знаете, давно... Но тут, знаете, Вася. И я, знаете...

Антон Иванович. Хорошо. Но при чем же тут «папа»?

Лена. Ну, это он пошутил, ты ему не верь.

Гаврик. Почему пошутил? (Кричит.) Какие тут шутки, если я ее год и два месяца люблю, а? До шуток мне или нет?

Лена. Гаврик, тихонечко, спокойненько, пойдем сейчас на воздух, остынь, не будь таким порывистым...

Гаврик. Одним словом, вы мне будете папой! Будете, будете!

Антон Иванович (пугаясь). Ну ладно, ну, пожалуйста! Ну, ради бога!

Гаврик. То-то и оно. Кирилл Кириллович просил передать вам, что он зайдет к вам вечером.

Лена. Да, да, папа, я и забыла, он поседел, я его и не узнала.

Антон Иванович. Да что вы?

Гаврик. Так что все в порядке!

(Звонок в передней. Гаврик открывает. Входит Вася с цветами и чемоданом.)

Вася. Поздравляю вас, Антон Иванович! Поздравляю вас, Лена. Я же говорил, все пройдет, все успокоится...

Антон Иванович. О-о-о, мошенник!

Вася (хихикая). Мы с вами еще сто лет поживем.

Лена. Комната сдана.

Антон Иванович. Сдана, сдана!

Вася. Жаль. Но хотя бы столоваться...

Лена. Нахлебник тоже есть.

Вася. Виноват, что делать! Нельзя ли мне с вами, Леночка, поговорить? Наедине.

Лена. Некогда, не о чем, я выхожу замуж.

Вася. З-замуж? За кого же?

Гаврик. Кандидатура подбирается. Претендент уже есть.

Вася. Так это ты?

Гаврик. Возможно.

Лена. Кому цветы?

Вася (осклабясь). Вам!

Лена. А ну (берет цветы), Гаврик, открой окно. Спасибо. (Выбрасывает цветы в окно.) Прошу чемодан. Так. Гаврик, чемодан выкинь в дверь. Спасибо. А вы, Вася, убирайтесь... Гаврик, скажи, куда ему убираться.

Гаврик. Он знает куда. Да, да, туда именно...

Вася. Я не позволю! Я вам за полгода вперед заплатил.

Гаврик. Пропали деньги.

Вася. Я судом взыщу!

Лена. Гаврик, убери!

Гаврик. С наслаждением! А ну, отчаливай!

Вася. Но-но! (Гаврик берет Васю за шиворот и выкидывает из квартиры. Вытирает руки.) Готово! Лена, идем! До свиданья, папа!

Антон Иванович. До свиданья, сынок! (Лена и Гаврик уходят. Появляется Наумыч.)

Наумыч. С оправданьицем вас.

Антон Иванович. Откуда ты знаешь?

Наумыч. Слушок такой прошел: все, мол, чисто, как в молочной. Меня, это, управдом и посылает к вам. «Иди ты, — говорит, — в сто сорок пятую квартеру и скажи ты им, что ежели что такое, то дверь я им могу заложить мрамором. Мрамор как раз привезли». Эй, вы! Кончайте! Все на обратную точку стало.

1-й плотник. Вон как! Ну, стало быть, на выпивку с вас!

Наумыч. Да уж полагается.

Антон Иванович. Вот вам. И идите.

Наумыч. Ежели супруга будут вещички перекидывать, пускай кликнет, я по дешевке возьму, не то что истопник. Энтот дерет, подлец... Ой, жила-мужик... (Уходит.)

Мавра (входит). Батюшка вы мой, Антон Иванович, слава богу, дошла до господа моя молитва. Недаром я пять дней в Москве церкву искала, да попа искала, да торговалась с ним насчет молебна. Ан, помогло. Продовольствию я продам — Павла Алексеевича, слышь, тоже того... Ихняя Аксинья прибегала — я им и суну.

Антон Иванович. Полно врать-то!

Мавра. Это мне все равно, мне главное свои деньги вернуть. (Уходит с корзинкой. Звонок в передней. Входит курьерша.)

Курьерша. Здорово! Вот расписуйся, книжки тебе обратно прислали, — кончился, мол, учет. И какую-то книгу еще навязали: он, мол, ее целый год добивался.

Антон Иванович (стонет). Что же это такое, а? Что там у нас происходит?

Курьерша. Ревизию, слышь, ожидают, — быть, выходит, худу. Ну, я пойду. У Павла Алексеевича велено книжки отобрать, — вон оно как. Лимон-то на завтрашний день купить, что ли?

Антон Иванович. Купи.

Курьерша. Эко тебя свело! Ну, ничего, отойдешь. (Уходит. Звонит телефон.)

Антон Иванович (вздрагивает, хватается за трубку). Да! Опять включили? Ах, ремонт был? Благодарю. (Кладет трубку. Звонок. Берет трубку.) Да. Здравствуй, Агафон Иванович. Нет, брат, поздно, я на старом месте остаюсь. Да, жив! (Вешает трубку. Телефонный звонок.) Эге. А-а, товарищ Тряпченко. В Тулу? Накося, выкуси! Накося, говорю, выкуси! (Звонок телефона.) Ах, Прохоров? Это какой Прохоров? Нет, я вас не знаю. Я вас забыл. Навсегда! (Кладет трубку. Звонок телефона.) Да, я. Ах, Розалия Наумовна! Что вам угодно? Нет, в театр мы не пойдем. Ни я, ни жена, ни Лена. Нет, с вами не пойдем. Можете подавиться своими билетами! (Вешает трубку. Звонок телефона.) Да, Иероним Сергеевич, спасибо друг. Другом тебя и называю, и считаю. Мудро в старину говорили — друзья в несчастьи познаются. Приходи вечером — шандарахнем. (Кладет трубку. Входят Марья Петровна, директор, Подушко.)

Марья Петровна. Ну вот, не угодно ли! Он уже встал! Он уже гуляет по комнате, он уже звонит по телефону! Боже мой, что же это за наказание! Всю жизнь он меня мучает. Куда ты уходил утром? Кто тебя выпустил?

Антон Иванович (свирепо). Замолчи, женщина. Я тебя поколотить могу!

Марья Петровна. Ну, не волнуйся, ну, ложись. Вот так. И полотенце сюда. И компресс. Лежи, ты же ведь болен, ты же слаб. Вот этот беспринципный человек к тебе навязался.

Антон Иванович. Я вас, Яков Лукич, не хочу видеть!

Директор. Антон Иванович!

Антон Иванович. Не желаю, не хочу, в пятнадцатый трест уйду!

Директор. Все же трещит.

Антон Иванович. И плевать. И к чорту! И пусть трещит!

Подушко. Отмечая справедливость вашего настроения и поздравляя с удачным окончанием порученного мне дела, все же, Антон Иванович, призываю вас вспомнить свои гражданские обязанности.

Директор. Пожалуйста, Антон Иванович. Я же молодой государственный деятель, я мог ошибиться. Я же тону!

Подушко. Тонет — подтверждаю.

Директор. На колени стану!

Марья Петровна. И пусть станет!

Антон Иванович. Ну, уж ладно, уж как-нибудь...

Марья Петровна. Квартиру тебе обещал в третьем этаже, «ЗИС», путевку в Кисловодск.

Директор. Сначала за границу, потом в Кисловодск.

Марья Петровна. Нет уж, сначала Кисловодск!

Антон Иванович. Ну, уж ладно, уж пускай уж...

Подушко. Просите двойной оклад.

Антон Иванович. Да ну его, уж пусть что есть, я уж не гонюсь.

Директор. Вашу руку, бесценный товарищ! Прошу извинения за все несообразности, допущенные нами. Мы примем соответствую-

щие меры. (Входит огромнейший милиционер. Директор отшатывается от Антона Ивановича.)

Милиционер. Гражданин Проскуровский, Антон Иванович, тут проживает?

Антон Иванович (стонет, хватается за сердце). Тут!

Милиционер (в дверь). Проходите! (Входит Петя. Он в тумане, он оброс бородой, обрюзг.)

Директор. Виноват. Я — случайно! Я тут насчет вообще. Где мой портфель? (Судорожно хватается за портфель.) Я пойду и буду ждать звонка о благополучном окончании. Виноват. (Бочком уходит.)

Антон Иванович. Воистину сказано: Яков Храбрый. Эх, тоже человек! (Пете.) Где же ты, подлец, пропадал?

Петя. Дядя!

Марья Петровна. Да ты знаешь, что тут из-за тебя было?

Петя. Тетя!

Марья Петровна. Я тебе сто раз запрещала называть меня тетей!

Петя. Дайте мне двадцать пять рублей. Пожалуйста.

Антон Иванович. Ни копейки!

Петя. Филипп Маркович, прошу вас.

Антон Иванович. На, шалава, на!

Петя (протягивает деньги милиционеру). Вот вам и уходите!

Милиционер. Виноват, должон по всей форме дать квитанцию. Не мне даете, а советской власти за проявленную к вам заботу. (Садится за стол, пишет и говорит при этом.) С гражданина Сарапулова, Петра Евгеньевича, штраф за нарушение правил езды, будучи в нетрезвом виде...

Петя. Вы про себя, про себя...

Милиционер. Не в состоянии. Так уж привык с детства, что пишу, то и говорю. Так-с. За вытрезвление такового и доставку по адресу — двадцать пять рублей. Вот, прошу. (Отдает квитанцию, козыряет и уходит.)

Антон Иванович. Где же ты был, пьяница?

Петя. Забыл. Где-то вообще. Какой-то туман. Какие-то свечи. Какая-то жара. Проект, дядя, обмывали!

Антон Иванович. А-а! Приняли проект!

Петя. Проект? Зарезали!

Антон Иванович. Что же вы обмывали?

Петя. Дядя, покойников-то как раз и обмывают! Тетя — каплю воды, во рту просто Кара-Кумы. Посплю — и за работу. За новую.

Марья Петровна. Мавра! Мавра! Не дом, а бедлам! Мавры нет, этот пьян, дочь на бульваре с каким-то гавриком целуется.

Антон Иванович. Именно с Гавриком. Уже был. Познакомился. Папой меня назвал.

Марья Петровна. Еще один? О господи! Ну, иди ты, архитектор, иди, прими ванну.

Подушко. За сим пожелаю всяческих благ. И прошу, если что-нибудь будет еще, пожалуйста, по-соседски.

Марья Петровна. Как же нам вас благодарить, Филипп Маркович?

Подушко. Меня? Гонорар? Микст? Что вы? С вас? Да полно!

Но зная, что у вас есть заграничные пластинки, не отказался бы от подарка, тем более, имея в виду, что Антон Иванович сможет восполнить...

Антон Иванович. Ради бога! Маша, отпусти десять пластинок.

Подушко. Я уж к вам вечерком забегу и отберу лично. Всего наилучшего. (Уходит. Марья Петровна меняет полотенце на голове Антона Ивановича, кладет свежий компресс. Входит Мавра с корзинкой.)

Мавра. Отказались. Еще кое-куда забегала — не берут... Это что ж мне теперь делать с продовольствием-то, а? — Ах ты, господи! Гостей, что-ли, придется звать!

Марья Петровна. Не болтай глупости. Идем на кухню, начнем все приводить в порядок. На неделю работы — не меньше. А ты лежи, лежи, ты болен, ты слаб. Не двигайся, не волнуйся, все хорошо. (Уходят с Маврой. Пауза. Тихонько входит Пропотеев.)

Пропотеев. Тс-с! Дверь открыта, я тихо, я осторожно, у меня секретный разговор. Вот видите, пришел, чтобы доказать, что не питаю ни вражды, ни ненависти, что питаю полное доверие. Ф-фу! Устал. Ну и высота. Гора Монблан, а не квартира! Больны? Сердце? Ну ясно, довели, в гроб чуть-чуть не уложили. И все он, подлец, все он, злодей, — вышеуказанный Яков Лукич! Укажите мне человека подлей, вредней, пакостней! Всех работников разогнал, дело летит под гору! Вот вас изгнал! По какому праву? За что?

Антон Иванович. Я не понимаю...

Пропотеев. И я не понимаю. Я только сейчас его социальную сущность понял. Не вы враг — он враг. Он вредитель! Я все выяснил.

Антон Иванович. Послушайте, убирайтесь вы к чорту! Я болен, я еле жив...

Пропотеев. Антон Иванович, я все материалы на этого подлеца собрал. Хочешь, мы его австрийским шпионом объявим? Слушай, вот тут все факты! Мы его в тюрьму закатаем! Подпиши, а? Подпиши, и кончен Яков Храбрый.

Антон Иванович. Вы что — с ума сошли?

Пропотеев. Ну, полно ломаться-то. Слушай: я все ходы знаю, давай на пару работать? У тебя стиль литературный, отчетливый, — читал твои статейки в органах печати. Я тебе факты, а ты им соответствующую форму! А? Давай, а?

Антон Иванович. Значит, вместе? И все пополам?

Пропотеев. Там поделим! Не обижу!

Антон Иванович. И всех под микроскоп?

Пропотеев. Всех! И первым Якова Лукича! (Антон Иванович со стоном и кряхтением поднимается и, развернувшись, дает Пропотееву затрещину. Пропотеев падает, встает. Антон Иванович бьет его еще раз. Вышибает пинком за дверь. Стонет. Опускается на диван.)

Антон Иванович. Ну что с этими мерзавцами делать? А? Ловить и бить! Так бить, чтобы кости трещали, чтобы мокрого места от них не оставалось, чтобы дух вон!

Конец.

СТАРИННЫЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Читая сборники западноукраинских песен, мы находим много знакомых мотивов и сюжетов. В Предкарпатье широко известны думы о Морозенке и Бондаривне. Некоторые песни в разных вариантах до сих пор бытуют по всей Украине — Восточной и Западной. Неудивительно: создавал их один народ, в силу исторических событий надолго разделенный границей на две части.

Песни западных украинцев отличаются той же мелодичностью и поэтической силой, как и все украинские песни вообще. Публикуемые пять старинных песен возникли, повидимому, в XVIII веке. Первые их записи были сделаны восемьдесят лет назад.

Б. Лапин

ПЕСНЯ О БОНДАРИВНЕ

Ой, в городе возле тына
Хороводы водят!
Молодая Бондаривна
Перед кругом ходит.

Ой, приехал пан Каневский,
Из вельможной знати,
Слез с коня, в шинок заходит,
Шныряет по хате.

Говорит: «Дзень добры паны!..
Не маемо скуки!..»
И хватает Бондаривну
За белые руки.

Знать не хочет пан Каневский —
Увидят ли люди.
Он целует Бондаривну
В румяные губы.

А девчина молодая —
Тонкостей не знает,
Как взмахнет рукой и в щеку
Пана как ударит!

Люди старые разумны.
Говорят ей тихо:
«Беги, беги, Бондаривна,
Будет тебе лихо!..»

Убегает Бондаривна
Дальними плетнями,
А за ней спешат гайдуки
С острыми клинками.

Ой, поймали Бондаривну,
Схватили за руки,
Ой, ведут, ведут девчину
На смертные муки.

Посадили Бондаривну
За стол поневоле,
На расшитом полотенце
Несут хлеба-соли.

— Хочешь ли ты, Бондаривна,
Меды с нами пить?
Аль ты хочешь, Бондаривна,
Под землею гнить?

— Не хочу я, пан Каневский,
Меды с вами пить.
Лучше буду я, девчина,
Под землею гнить.

Тут ударил пан Каневский
Из тугого лука.
Повалилась Бондаривна
На землю без звука.

Ой, лежала Бондаривна
С вечера дорану.
А с утра велел Каневский,
Чтоб копали яму.

Приказал. Его гайдуки
Скрипачей позвали.
И с музыкой Бондаривну
К гробу провожали.

В честь нашей-то Бондаривны —
Скрипки да тимпаны.
На поминках пили-ели
Вельможные паны.

У нашей-то Бондаривны —
Шитая сорочка.
Там, где несли Бондаривну, —
Кровавая строчка.

«КОЛОМЫЙКИ»[1]

Славен город Коломыя. Всех славнее — Куты!
Там бы я и оженился, кабы не рекруты.

У людей волы в дуброве, мои — у прудочка.
Любит меня не чужая — соседская дочка.

Ой, к чужим ходить далеко — кони притомятся,
А с соседской возле тына — сладко обниматься.

Кабы не ты, моя радость, и не твои очи,
Я коня томить не стал бы с утра до полночи.

До полночи ждали кони — не могли дождаться.
Прощай, прощай, дорогая, — время расставаться!

Ой, на груше белый цвет — цветет, опадает.
Любил казак молодую — теперь покидает.

Пускай его покидает. Как он пожелает.
Добрый путь ему, дорога! Пускай пропадает!

ДУМА О БРАТКЕ-ИГНАТКЕ

Идет Гнатка, идет братка
Степным тихим шляхом.
Надо ж было братку-Гнату
Повстречаться с ляхом!

Взяли Гната и — под стражу,
В яму при дороге.
Бежал Гнатка, бежал братка,
Еле унес ноги.

Скинул Гнатка, скинул братка
С плеч своих сермягу,
Бежит, скачет наш сердечный
С горы по оврагу.

Бежит Гнатка в Запорожье
Искать себе славы.
А в степи не проберешься —
Стражи да заставы!

Прибег Гнатка, прибег братка
К бабушкиной хате.

[1] «Коломыйками» на Западной Украине называются любовные и юмористические частушки, распеваемые на известную мелодию.

— Открой, бабка, пусти в хату,
Пусти на полати...

Спрячь ты меня, моя бабка,
От ляхов проклятых!..

Набежали вражьи паны
К бабушкиной хате.
— Отвечай, старуха, живо!
Что знаешь о Гнате?..

— Ой, не знаю, паны-ляхи,
Ничего о Гнате.
Не был Игнат, не был внучек
Давно в моей хате!..

Ходят ляхи, чинят розыск
В сенях, на соломе.
И нашли Игната ляхи
В погребе при доме.

Налетели на Игната —
Ой, лютые страсти! —
Разрубили молодого
На четыре части.

— А ты что же, ведьма-баба,
Правды не сказала?
Ты зачем врага-Игната
В доме укрывала?..

И срубили тут старухе
Голову долой.
Не пускать бы тебе, баба,
Игната домой!

КОГО ПОЛЮБИТЬ?

На Украйне всего вдоволь — и хмеля и браги,
Жалко, силу там забрали проклятые ляхи!

Украина всем богата — горилкой, медами,
И девчинами своими с черными бровями.

Красотой они гордятся, одеждой нерваной,
В сундуках — цветные плахты бязи домотканной.

А ты, девка молодая, — стыда ты не знаешь!
Не с казаком, а с поляком — для чего гуляешь?

Так ведь мать моя, старуха, меня научила.
Казака она гоняла, пана приводила.

А у пана добра много — все деньгами манит.
Вражий пан девчину видит, он уж не отстанет!

МОРОЗЕНКО

Гей, Морозе, Морозенко, славный казачина.
По тебе, по Морозенке, плачет Украина.
И не так-то Украина, вольница лихая,
Как плакала Морозиха, к городу шагая.

Полно, полно, Морозиха, по сыну тужить.
Пойдем с нами, с казаками, вина-меду пить!

Скучно мне, казаки-братцы! Мед-вино не пьется.
Далеко мой Морозенко. С поляками бьется.
Идет войско из-за кручи, пылью ветер дует.
Впереди мой Морозенко на коне гарцует.
Славный конь у Морозенки, червлена уздечка.
Где проедет Морозенко — кровавая речка.

За рекою, за лиманом поляки стояли
Взяли, взяли Морозенку, рученьки связали.
Посадили Морозенку на тесовой плахе.
Расстегнули молодому ворот у рубахи.
Посадили Морозенку на желтом песочку.
Сняли ляхи с Морозенки красную сорочку[1].

[1] «Сняли красную сорочку» — содрали кожу с живого.

ПИСАТЕЛИ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Писатели Западной Украины — Василий Стефаньк, Марко Черемшина и Лесь Мартович, новеллы которых печатаются ниже, запечатлели в своем творчестве правдивую, реалистическую картину тягостной жизни западноукраинского крестьянства, обездоленного панами, задавленного гнетом кулаков, угнетавшегося шовинистическим польским правительством.

Писатели эти были тесно связаны с народом, сами вышли из него. Стефаньк и Мартович, родившиеся в 1871 году, оба были детьми бедных крестьян, в прошлом — батраков. Будущие писатели познакомились друг с другом в стенах Коломыйской гимназии, из которой скоро были изгнаны «за политику». Дружба, зародившаяся в дни юности, с годами крепла, и можно сказать, что Стефаньк и Мартович прошли всю жизнь рука об руку. Они не только были близки в личной жизни, но и являют собой пример творческого и политического единомыслия. Этому не помешало то обстоятельство, что один из друзей стал врачом, а другой — юристом. По существу, они считали делом своей жизни литературу, и «основные профессии» не отрывали Стефанька и Мартовича от напряженной работы над собой, от пристального внимания к окружающей их горестной действительности. И Стефаньк и Мартович страстно переживали тяжелую участь своего народа, болели за его судьбу и резко критиковали угнетателей западноукраинского народа—польских чиновников, помещиков и панов. Этими мотивами проникнуто все творчество Стефанька и Мартовича—от первых литературных опытов до последних произведений. Оба писателя — новеллисты. Их короткие рассказы всегда злободневны, политически остры и написаны ярким, простым языком, понятным широким народным массам. Наибольшей известностью пользуются сборники Стефанька: «Каменный крест», «Дорога»; книги Мартовича: «Не «чтец», «Хитрый панько», «Подарок».

Сын гуцулского дьячка, Марко Черемшина, учившийся в той же Коломыйской гимназии, но на четыре года позже Стефанька и Мартовича, весьма близок своим старшим товарищам по всему характеру и звучанию творчества. Его отличают от них лишь своеобразное гуцулское[1] наречие, на котором он пишет, оригинальная ярко эмоциональная окраска его ритмической прозы. Им выпущены сборники: «Карбы», «Село погибает», «Буковины».

Кровная заинтересованность в судьбах украинского народа делает литературное наследие этих трех своеобразных писателей интересным и в наши

[1] Гуцулы — украинское горное племя, живущее в Восточных Карпатах.

дни — знаменательные дни освобождения Западной Украины из-под панского гнета.

Новеллы Стефаныка и Мартовича, изданные на русском языке в 1907 и 1916 годах, печатаются в новом переводе. Новелла Черемшины публикуется на русском языке впервые.

И. Дюшен

Василий Стефанык

НОВОСТЬ

По селу разнеслась новость: Грыць Летючий утопил в речке свою младшую дочку. Он хотел утопить и старшую, да она отпросилась.

С тех пор как умерла Грыцыха, Летючему стало жить совсем невмоготу. Что ему делать с малыми детьми без хозяйки? А замуж за него никто не шел: добро, если бы только дети, а то и бедность, и нехватки.

Целых два года мучился Грыць один с малыми детьми. Как он жил, что делал — никто не знал. Только его соседи сказывали, что Грыць всю зиму почти не топил в хате и ютился с девочками на печи.

А теперь все село заговорило о Грыце. После долгих пересудов выяснилось, что это случилось так:

Пришел Грыць как-то вечером домой, — девочки сидели на печке.

— Тату, мы хотим есть! — захныкала старшая — Гандзуня.

— Так ешьте меня! Откуда я вам возьму! Вот хлеб — начиняйтесь!

И он дал девочкам кусок хлеба, на который те набросились, как щенки на обглоданную кость.

— Наплодила вас, да и бросила на мою голову, чтоб ее сыра земля выбросила! Ходит где-то чума, чтоб ей пусто было, а к нам не заглянет. Этой хаты и чума боится!

Девочки не слушали отца: такие разговоры повторялись изо дня в день и дети к ним привыкли. Страшно было смотреть на голодных, оборванных малышей, комочками свернувшихся на печи. Бог знает, как держалась кожа на их костлявых тельцах. Только четыре черных глаза блекло светились жизнью. Эти глаза были тяжелы, как олово; если бы не они, тела девочек, казалось, полетели бы с ветром, как пух.

Грыць посмотрел на детей и подумал: «Мертвецы!» И вдруг так испугался этого слова, что весь облился потом. Ему стало так тяжело, точно камень на грудь положили. Девочки жевали хлеб, а он припал к земле и молился, но почему-то его все тянуло смотреть на них, и мозг не оставляла мысль: «Мертвецы!»

Через несколько дней Грыць боялся уже сидеть в хате, все ходил по соседям, и они рассказывали, что он очень тосковал. Почернел весь, а глаза провалились так глубоко, что почти не смотрели на свет.

Раз вечером Грыць пришел в хату, наварил картошки, посыпал ее солью и подал дочкам на печь. Когда они поели, Грыць сказал:

— Слезайте-ка с печи да пойдем куда-нибудь в гости.

Девочки слезли. Грыць натянул на них лохмотья, взял меньшую — Доцю — на руки, Гандзуню за руку и вышел с ними из хаты. Шел долго, все лугами, пока не дошли до горы, где Грыць и остановился. При свете луны по долине, как длинная полоска ртути, расстилалась речка. Грыць вздрогнул, — сверкающая река заморозила его, а камень на сердце стал еще тяжелее. Грыць задыхался и едва мог нести маленькую Доцю.

Спускались в долину к реке. Грыць скрипел зубами так, что треск шел по лугу. Точно длинный огненный пояс обхватил грудь Грыця и жег ему сердце и голову.

Над самой речкой Грыць не мог уже итти тихо и побежал, оставив Гандзуню позади. Она бежала за ним. Грыць порывисто схватил Доцю и изо всех сил бросил в речку.

Он сделал это, и ему как будто стало легче. Он взволнованно заговорил.

— Скажу, что иначе было нельзя: и есть нечего, и топить нечем; ни белья постирать, ни голову вымыть, — ничего! Хоть вешайся! Виноват я, мол, готов и кару принять.

Грыць оглянулся. Возле него стояла Гандзуня и тоже говорила быстро-быстро:

— Таточку, милый, не топите меня, не топите, не топите!

— Ну, коли просишь, так не буду, — усмехнулся Грыць. — Только тебе бы лучше было. А мне все равно отвечать — что за одну, что за двоих. Теперь сызмала будешь бедствовать, а потом в няньки к чужим людям пойдешь, и там тебе не легче будет. Как хочешь!

— Не топите меня, не топите!

— Ну, не буду, не буду. Возвращайся назад в село, а я пойду заявлю на себя. Вот, смотри, иди этой дорожкой туда, на гору, а как дойдешь до первой хаты, войди и скажи, что так и так: отец меня хотел утопить, а я отпросилась у него и пришла к вам, чтобы переночевать пустили. А завтра, мол, вы меня, может, и в няньки к детям возьмете. Ну иди, а то ведь ночь уж.

И Гандзуня пошла.

— Гандзя, Гандзя, на вот тебе палочку, а то собаки задерут, с палкой будет спокойнее.

Гандзя взяла палку и пошла лугами.

Грыць засучил штаны, чтобы перейти речку: там была дорога в город.

Марко Черемшина

ОПОЗОРЕННАЯ

— Опозоренное, незаконное дитя мое!

Косы платком накрывает, в ладонях лицо мочит, как подстреленная птица бьется.

— Опозоренная — незаконное дитя несет!

Лесом идет. Куда ступит — трава гудит, дуб валится, землю сотрясает. Солнце падает.

А на ветке кукушка кричит.

— Ой, не пой, кукушечка, не кричи — сил нет! Как перешла я на панский хлеб, потеряла я себя, не смею тебя слушать. Зачем тебя буду дурить, зачем утруждать буду?

Есть у меня, милая, веночек, что мои груди сосет. Гляди, какой красивый! Лес дивится, что такой у меня веночек! А в село войду — люди на меня озираться станут. Будут ругать, позорить будут.

Спросят они у меня: «Ты где, голубка, такой веночек себе купила, где такие цветы насобирала?» А я им отвечу: «Была я у пана, что такой сад имеет!» Или по правде скажу: «Пан завязал ночью мне руки, да и...»

Нет убегать от людей буду!

Ветер шумит — позор до села доносит. Опозоренной дорогу стелет. Тучи сзывает.

На ветке кукушка кричит...

Зачем же обманула ты меня, кукушка? Такую хорошую долю мне предсказала, такую ясную!

Будут меня парни окликать, спрашивать будут: «Чем ты так хороша, что пану далась?» А я им так скажу... Нет, не так! Проклинать буду всеми клятвами за то, что из села девку пустили. Попрошу их: «Не бейте меня, милые, не приведу вас к стыду». А девчатам скажу: «Остерегайтесь меня, сестрички, — позор переходит легко».

— А-а, а-а, а!

— Дитетко мое!

Незаконное дитя кричит, кричит громко. Нет у него отца. Плачет дитя, будто секира, будто пила звенит.

— А-а, а-а, а!

Горы от земли оторвались. Весь мир сотрясается, бьется.

— Ку-ку! Ку-ку! Хе!

С дедом здороваться буду — на колени упаду. А мать на себе седые волосы рвать будет — вот ей радость: «Наконец, дождалась, наконец, внучку имею!»

А я ей скажу: «Говорила ты мне, матко, чтобы я пана слушалась, чтобы уважала. А я его слушалась и днем и ночью».

Дед закричит: «Хоть бы не видел тебя! Не впирайся в хату!» А я

руки ему поцелую: «Я, дедок, только виновата, что сама служила, да и вас кормила. А как работать кончила, так к вам в гости пришла».

А потом мать за косы меня держать будет, а дед внучку за ножки возьмет, раскачает и станет меня бить.

А потом пойду себе пруд глубокий искать.

Да, так и будет оно...

Лесь Мартович

ВОЙТ

I

В двух хатах, что стоят рядом с общинной канцелярией, повскакали со своих мест люди и звери. Пес сначала зарычал, потом громко залаял и, наконец, испуганно заскулил. Теленок выскочил прямо на плетень. Он ударился бы о кол, если бы Аныч ка не выбежала из хаты и не угнала его на двор. Пес лаял и рвался с цепи, будто увидел чорта ясной ночью.

Такой страх нагнал на бедных зверей войт[1] Степан. Когда войт был в гневе, двери дрожали, а окна дребезжали, будто в бурю. У самого войта уши болели от раскатистых звуков собственного голоса.

— Я больше не выдержу этой беды! — гудел Степан, обращаясь к радным[2]. — Снова на меня штраф наложили. Просил я вас, господа радны, разрешить мне сбросить с себя чертовскую (простите за слово) эту обязанность. Христом богом молил. Не согласились — сами теперь и платите штраф.

Радные переглянулись, и каждому захотелось, чтобы другой осадил войта: не наша, мол, вина, не мы и платить должны. Взглянул на них войт — и сразу понял их мысли.

— Ах вот как! Теперь вы не при чем и знать меня не хотите, а когда до дела дойдет, всюду меня вперед пихаете! — загремел Степан. — За то, что создали мы читальню, кого оштрафовали? Меня! А за вечеринки в читальне? Опять меня! И теперь за то, что община решила писать урядникам по-русски, штрафуют тоже меня.

Радные опустили головы — они знали, что правда на стороне войта. Однако никто из них не хотел платить за войта. Дело здесь было не только в том, что жалко денег; больше всего каждый боялся, что узнает начальство и потом не оберешься хлопот. И все же справедливые слова войта действовали на радных.

Степан догадался об этом и продолжал гудеть:

---

[1] Войт — сельский общинный староста.
[2] Радные — выбранные общиной советники войта.

— Скоро будут выборы; не пошлете меня за вас голосовать — наложит староста штраф, а пошлете меня — снова будет штраф за то, что не голосую так, как староста хочет. Что же мне вместе с хрунями [1] за пана голосовать?

Радные помрачнели.

— Мы сами видим, что, как ни поверни, все плохо, — решился отозваться один из них. — Но скажите нам, кум Степан, где же совета искать? Разве что у гадалки.

— Совета я вам никакого не дам, — ответил войт. — Я сам спрашивал всюду, где только мог. Ходил к адвокату, ходил в комитеты, писал в Львов, а староста как меня штрафовал так и штрафует... Вот и советуйтесь теперь, с кем хотите. Я вам лишь одно должен сказать: грех все с меня брать. Откуда мне деньги брать, чтобы за всех платить? Вот вы, кум Петр, да и вы, кум Василий, вы более богатые хозяева, чем я. Побудьте-ка и вы немного старостами. Пусть так и будет у нас: каждый год — новый староста. Для одного это тяжко.

Кумовьев даже в пот бросило от такого предложения.

— Нет уж, кум Степан, увольте! — загалдели они. — Ну, в самом деле, кому хочется подставить свой карман под штрафы!

Выход найти не могли, и совещание готово было кончиться наказом старосте итти дорогой хруней, — галицкие власти не одну общину таким способом сломили.

Но тут на сцену выступил Иван Хворостюк. Это был самый старый из радных, мужик ловкий, башковитый и хитрый.

— А мой совет такой, — проговорил Иван Хворостюк хриплым и слабым голосом, — если уж каждый староста должен быть оштрафован, то нужно так сделать, чтобы ему этот штраф не был тяжел. Я не о том говорю, чтобы мы за старосту платили, — добавил Хворостюк, увидя, что радные недовольно посмотрели на него. — Надо так сделать, чтобы староста и штраф имел, и чтобы никто его не платил.

— Вот это дело! Радные были явно заинтересованы предложением Хворостюка, перестали между собой разговаривать и, хотя не понимали, к чему он клонит, внимательно прислушивались к его словам. Хворостюк откашлялся и продолжал:

— Почему наш староста боится штрафа? — спрошу я вас. — Да потому, что он имеет чем заплатить. Ну, а если бы он ничего не имел, то никакого бы штрафа не боялся. Так ведь? Хорошо говорю или нет? — спросил Хворостюк у всего совета.

— Правду говоришь, — отвечали все вместе.

Хворостюк хитро прищурился, помолчал, как бы упиваясь всеобщим вниманием, и, наконец, произнес:

— Так вот, кумы, мой совет: выберем такого старосту, который ничего не имеет и никакой кары не будет бояться.

Железная логика Хворостюка сразила радных. Они с благодарностью смотрели на него, своего спасителя. Но тут снова раздался голос Хворостюка:

— Но кто между нами такой, что ничего не имеет? — лукаво спросил он.

---

[1] В Галиции «хрунями» (свиньями) называли избирателей, продававших свой голос.

Радные поглядели друг на друга, и их радость улетучилась. Они убедились, что такого между ними нет. Круг снова сомкнулся. Радные с мольбой посмотрели на Хворостюка, в ум и хитрость которого они вдруг сразу крепко поверили. И Хворостюк сжалился над ними.

— Совет есть и на это, — медленно заговорил Хворостюк. — Вы меня спросите какой, а я вам скажу.

Иван Хворостюк поднял кулак вверх и, отчетливо выделяя каждое слово, закончил:

— Откажемся, господа крестьяне, все, как мы тут есть, от должности радных, да и выберем новый совет. А в новый совет введем нашего общественного пастуха Петро Коваленко. А потом выберем мы Петро Коваленко начальником нашей общины. Вот мой совет! — Иван Хворостюк опустил кулак вниз.

Хоть это и показалось радным чудным и смешным, все-таки они после долгих разговоров решили, что Хворостюка следует послушаться.

2

Когда уездный староста узнал, что весь совет общины будет переизбран, он не только ничего не возразил, но и обрадовался. Этот общинный совет во главе с войтом Степаном был во всем уезде самым стойким, — во время выборов он никогда не играл старосте наруку. Староста боялся, что при новых выборах польский кандидат не пройдет. И он надеялся, что, когда будет избран новый совет общины и новый войт, он сможет выбрать для голосования таких избирателей, какие ему нужны.

Поэтому-то староста учредил выбор совета общины с такой резвой поспешностью, что крестьяне боялись, что не успеют договориться о выборах в совет Петро Коваленко.

Петро Коваленко ничего не имел и никакого налога не платил. Жил он себе на чужой земле в соломенном шалаше.

Для того чтобы Петро получил право быть избранным, войт Степан сообщил старосте, что Коваленко построил на общественном участке новую хату и что он должен платить налог. Налоговый урядник поспешил установить для Петро Коваленко налог за дом самый большой, какой было можно.

А дальше с Петро Коваленко вот что было:

...Солнце еще только поднималось. Петро успел лишь съесть четвертушку хлеба и полторы головки чесноку, когда увидел, что прямо на него идут двое присяжных. Один несет новую одежду, а другой сапоги.

Поровнялись. Слава богу! Слава навек!

— А ну, Петро, обуй сапоги, да и одевайся. Хватит тебе за скотиной присматривать, иди на село, там тебя хорошо встретят, — говорит один присяжный.

Петро не донес хлеб до рта. Он вытаращил глаза и молчал.

То, что один присяжный говорил, другой договаривал, но Петро так и не мог ничего понять. Пришлось присяжным прикрикнуть на будущего старосту:

— Одевайся, сякой-такой сын, а то как хвачу тебя палкой, так шкура треснет.

Петро сложил на груди руки, губы у него затряслись, и он еле выговорил:

— Люди добрые, смилуйтесь! Что за напасть на меня? Чем я провинился?

Присяжные его не слушали, пришлось Петро обуться и одеться. Один присяжный остался при скотине, другой повел Петро.

За всю жизнь Петро никогда не был так напуган, как в этот день.

3

Выбрали Петро Коваленко старостой, а он еще не понимал, что с ним делается. Вот когда дали ему общинную печать, тогда у него в голове немного просветлело.

Прежний войт Степан обратился к нему с речью:

— Гордись, Петро, гордись! Ты знаешь, что ты теперь? Ты теперь старший в общине. Как скажешь, так и должно быть. И ты никакой кары не бойся — на то ты и староста в нашей общине, чтобы тебя штрафовали. А как тебя оштрафуют? Скажут тебе деньги заплатить, а ты откуда дашь? Одежды с тебя не возьмут: не твоя она — наша.

— За общину хорошо постой, — говорил Иван Хворостюк надорванным голосом.

— А предашь, — можешь в селе не показываться! — добавил один молодой радный.

4

Какой Петро Коваленко был староста? Видели вы когда-нибудь маленького котика, который каждого пса боится? Боится... Но если этого котика пес втиснет в угол так, что ему некуда убежать, так он и глаза выдерет собачьи.

Вот так и Петро Коваленко.

Он всех боялся. Боялся каждого человека, каждой бабы, чуть ли не всякого ребенка в селе. Про жандармов и панов и говорить нечего: их каждый боится, не только Петро Коваленко.

Когда настали выборы, староста велел, чтобы только войт был послан избирателем. Это как нельзя лучше устраивало общину.

Дали Петро Коваленко избирательный лист, а община вписала в него русского мужицкого кандидата. Когда шел Коваленко в город, ему наказывали:

— Смотри, войт, чтобы паны у тебя лист не украли и чтобы не приписали польского кандидата.

Петро Коваленко не надо было повторять это дважды. Пошел он к панам с такими мыслями: «Штраф — так штраф, осудят — так осудят, а от своего не отступать!»

В выборной комиссии были и староста, и паны, и жандармы. Выдирали у Коваленко лист, совали ему другой, кто-то его и по спине хватил, но Коваленко не сдался. Не соблазнился даже на деньги.

Когда пришла его очередь голосовать, Коваленко вынул избирательный лист развернул его, да и ткнул под нос самому старосте.

— Смотри, пан староста, на то, что я голосую за русского кандидата!

Староста обозлился:

— Нельзя показывать — голосование тайное!

— А мне нечего таить, — ответил Коваленко. — Вы, паны, смотрите, как бы этот голос не украли. Штраф — так штраф, осудят — так осудят, а я от своего не отступлюсь!

Хоть выкинули Коваленко за двери, а русский кандидат прошел.

Теперь только понял староста, почему поставили крестьяне Коваленко войтом, и сразу его с этой должности сбросил.

Пошел Коваленко назад пасти скотину и скоро забыл уже о своем войтстве. Лишь иногда, разгневавшись на какого-нибудь телка, он кричит:

— Ты ,дурной теля, меня не слушаешь? А я ведь общине служил. Я — бедный, неученый пастух, а крепко стоял за общину. А что бы было, если бы я был образованным?! Тогда я взял бы панков в тиски, и они замычали бы передо мной, как телки в посев.

Ярослав Смеляков

ПАВИЛЬОН ГРУЗИИ

Кто — во что,
а я совсем влюблен
в Грузии чудесный павильон.

Он звучит в моей душе, как пенье;
на него глаза мои глядят.
Табачком обсыпавши колени,
по-хозяйски на его ступенях
туляки с узбеками сидят.

Я пройду меж них — и стану выше,
позабуду мелочи обид.
В сером камне водоем журчит,
струйка ветра занавес колышет
голову поднимешь — вместо крыши
небо необманное стоит.

И пошла показывать земля
горькие корзины миндаля,
ведра меда,
бушели пшеницы,
древесину,
виноград,
руно,
белый шелк
и красное вино.
Все влечет,
все радует равно —
яблоко
и шумное зерно.
Все — для нас,
всему не надивиться.
Цвет и запах —
все запоминай.
В хрупких чашках медленно дымится
Грузии благоуханный чай.

Жителю окраин городских
издавна знакомы и привычны
вина виноградарей твоих,
низенькие столики шашлычных.

Я давно, не тратя лишних слов,
пью твой чай и твой табак курю,
апельсины из твоих садов
северным красавицам дарю.

Но теперь хожу я сам не свой:
я никак не мог предполагать,
что случится в парке под Москвой
мне стоять наедине с тобой
и твоей прохладою дышать.

Ярослав Смеляков

МИЧУРИНСКИЙ САД

Оценив строителей старанье,
оглядев все дальние углы,
я услышал ровное жужжанье,
тонкое гудение пчелы.

За пчелой пришел я в это царство,
посмотреть внимательно, как тут,
возле гряд целебного лекарства,
тоненькие яблони растут.

Как стоит, не слыша пташек певчих,
в старомодном длинном сюртуке,
каменный великий человечек
с яблоком, прикованным к руке.

Он молчит, воитель и ваятель,
сморщенных не опуская век,
царь садов, самой земли приятель,
седенький сутулый человек.

Если это нужным он сочтет,
яблоня, хрипя и унижаясь,
в сапогах властителя валяясь,
по земле, как нищенка, ползет.

И в его неоспоримой власти
сделать так, мудруя в черенках,
что стоишь ты, позабыв напасти,
захмелев от утреннего счастья
и цветов в зеленых волосах.

Снял он с ветки вяжущую грушу,
на две половинки разделил,
и ее таинственную душу
в золотое яблоко вложил.

Я слежу, томительно и длинно,
как на солнце светится пыльца

О. Савич

В ПАРИЖЕ

Единственными организациями во Франции, всерьез заботившимися об улучшении положения французской бедноты, были учреждения компартии и муниципалитеты, руководимые коммунистами.

Очерки О. Савича написаны до начала войны Англии и Франции с Германией.

Сейчас, когда компартия Франции загнана в подполье, когда активные работники компартии подвергаются гонениям и арестам, а учреждения компартии разгромлены, нетрудно представить, как неимоверно ухудшилось положение французской бедноты и безработных, в первую очередь ощущающих бремя империалистической войны.

1. ВСТУПЛЕНИЕ

Покойный Вайян-Кутюрье был мэром парижского рабочего предместья — Вилльжюиф. В поисках материала о французской молодежи я пришел к нему. Он сказал:

— Конечно, для вас все открыто. Ходите, куда хотите, и смотрите, что хотите. Я вам очень советую пойти один раз в обход с инспектором социальной помощи. Это не имеет прямого отношения к вашей теме, но даст вам больше, чем разговоры.

Я начал с того, что попросил Вайяна разрешить мне присутствовать на приеме посетителей. За два часа несколько десятков людей пронесли через кабинет мэра такое количество горя, что я ушел от него пришибленный. Чтобы найти отдел социальной помощи, пришлось подняться под самую крышу. Там, в маленькой мансарде, над кипой бланков сидел инспектор. Это была женщина, большая, с резкими чертами лица, деловитая, в очках. Ее звали Ивонна Шолан. Сначала она категорически отказалась исполнить мою просьбу.

— Из несчастья нельзя делать театр.

Пришлось рассказать, кто я и каковы мои цели. Она проверила это у Вайяна. Вернувшись от него, она сказала:

— Идем.

Я думал, что прохожу с ней час или два. Мы не расставались несколько дней.

Вилльжюиф — бедное предместье. Бюджет мэрии был скромен до нелепости. Экономили каждый франк. Приходилось отвоевывать каждую тарелку супа в столовой для безработных. Дети не могли ходить в школу босиком, а расход на ботинки был для мэрии непосилен. Мера картошки решала судьбу семьи.

Ивонна Шолан никогда не уставала. Она работала быстро и организованно. Ее присутствие сразу наводило порядок. Ее нельзя было ни обмануть, ни разжалобить. Когда я уже с трудом по-

спевал за нею, она бывала так же спокойна, деловита и уверена, как по утрам. Мы почти не разговаривали друг с другом. Но однажды я спросил:

— Что вы делаете по вечерам?

— Ничего. Я не могу ни читать, ни развлекаться. Я редко выхожу из дому. На меня нападает тоска. Нас два инспектора, и моя подруга мучается еще хуже меня. Когда мы встречаемся вечером, мы все равно говорим только о нашей работе. Мы пробовали развлекаться. Не выходит. Мы видим слишком много. Говорят, что врачи сумасшедших домов сами в конце концов сходят с ума. Ну, а мы видим столько несчастья, что...

Так возникли эти рассказы.

2. ИДЕТ ДОЖДЬ

Мы вышли за пределы предместья. Дорога упиралась в разрытое поле. Кругом никого не было. Землянка стояла посреди поля, почти вровень с землей. Она была покрыта гнилым тесом и соломой. Старый облезлый фокс лаял отрывисто и хрипло.

Три скользкие ступени вели вниз, в темноту. Негде было повернуться, и стоять надо было согнувшись. Старуха в отеках водянки и густо заросший бородою старик, вынырнув из глубины, встали на свету. Они со страхом смотрели на меня.

— Мосье — не чиновник?

Старик ходил по полям, помогал чистить огороды, копал землю, строил и чинил бараки и землянки. Но люди предпочитали обходиться без чужой помощи.

Они боялись только одного: как бы их не выселили отсюда. Чиновникам могло вдруг притти в голову, что надо очистить зловонный пустырь и срыть их землянку.

— А хуже всего крысы.

Крысы уничтожали припасы, кусали человека.

К наружной стене была прислонена деревянная планка. За нею жила собака. Фокс был стар, как его хозяева. Он ловил крыс,—без него крысы, может быть, одолели бы людей. Он ходил со стариком по полям и лаял, когда к землянке приближался чужой. Может быть, он тоже боялся чиновников. Но внутрь землянки он заходил только в большие холода или почуяв крыс.

— Воздух слишком тяжел для него,— объяснила старуха, извиняясь, — не то за фокса, не то за себя.

Печка чадила, воняло старое тряпье. Фокс, дрожа, уползал под планку. Он прятался от дождя. Дождь, мелкий и беспрерывный, шел уже третий день. Договорясь, что старики получат полмеры картошки и что мэрия постарается отстоять их землянку от парижских чиновников, мы ушли. Старики остались у входа и долго глядели нам вслед. Тяжелые капли падали на них с крыши.

3. СТАРОСТЬ ВЕЛИЧЕСТВЕННА...

Узкие лестницы, темные коридоры, нелепые переходы.

— Каждый раз забываю, куда итти. Это лабиринт. Сломанные деревянные ступеньки, широкие площадки, сваленный в кучу мусор, доски, обрезки.

— Осторожнее. Здесь можно оступиться. Можно и провалиться.

Этот дом называется гостиницей. Вывеска: «Конечная станция». Никакой иронии. Просто напротив — конечная станция трамвая. Хозяин — богатый человек. У него есть дома и в Париже. За квартирной платой он приезжает на роскошном автомобиле, но держать управляющего считает лишним расходом.

Темнота. Дальше лестницы нет.

— Это посещение вне службы, — говорит Шолан. — Мэрия уже ничего не может сделать для нее. А мне жаль ее оставить.

Свет идет из люка в потолке. Дождь идет оттуда же. Мансарда треугольная. Повернуться негде. На кровати сидит старуха, благообразная, глад-

ко причесанная, чисто одетая, вся в черном. Она вяжет. Вокруг разбросаны мужские носки с дырами величиною в кулак. Она встает.

— Садитесь, садитесь. Вот я получила для вас боны на уголь.

Старуха не садится. Она смотрит на нас строгим, прямым взглядом.

— Благодарю вас, мадам.

— В богадельне сейчас мест нет, вам придется еще пожить здесь.

Старуха медленно кивает головой. Она как будто одобряет сообщение о том, что богадельня переполнена.

— Сколько вы должны за комнату?

— За шесть месяцев.

— Хозяин не выпустит вас?

— Нет. Он теперь вместо меня получает пенсию моего покойного мужа.

И она снова одобрительно кивает головой. Она словно хочет сказать: «Видите, все в полном порядке».

— Вы зарабатываете штопкой?

— Да. Только я сама должна покупать нитки. А дыры очень большие. Я зарабатываю как раз на хлеб. А за супом я хожу в столовую. Мне наливают в котелок. Неплохой суп.

— Вот видите. А вы не хотели итти туда.

— Конечно, когда был жив мой покойный муж, мы не стали бы есть такой суп. И в столовой так грязно. Это место для нищих, мадам. Положим, мой муж не стал бы носить и такие носки. Такие я прежде выбрасывала.

— Ну, что делать! Чем занимался ваш муж?

— Он был мастером на заводе. Он хорошо зарабатывал, его очень ценили. Он никогда не заставлял меня работать. Я работала только по дому. И то потому, что сама хотела. Я очень любила чистоту. У нас была самая уютная квартира во всем квартале. И потом я очень любила балы и театры. Муж часто водил меня. А вот теперь я третий год здесь.

Опять довольный кивок головы. Все в полном порядке, все так, как и должно быть.

— Я должна сказать вам неприятную вещь. Мне опять отказали в мэрии, когда я просила за вас. И вы сами знаете, почему.

С тем же достоинством, с тем же спокойствием старуха снова кивает.

— Если вы не бросите пить, это кончится плохо.

Старуха молчит и смотрит инспектору прямо в глаза.

— Надо бросить. Иначе вам никто не поможет. Ведь вы раньше не пили.

— Да, когда был жив мой покойный муж.

— Это просто стыдно. В шестьдесят лет начать спиваться!

— В шестьдесят восемь.

— Тем хуже. И откуда вы берете деньги на это?

— Раньше я продавала вещи мужа. А теперь—вот...—Она показывает на носки.

— Но вы же говорите, что этого хватает только на хлеб.

— Я не покупаю хлеба.

— Слушайте. Я последняя, кто еще заботится о вас.

— Я очень благодарна, мадам.

— Не нужно мне благодарности. Бросьте пить, я устрою вам и пособие, и богадельню.

— Я очень благодарна.

— Обещаете?

— Нет, мадам. Не буду вас обманывать.

— Но почему? Вы губите себя! Зачем вы пьете?

— Потому, что это весело, мадам.

И почтенная старуха лукаво подмигивает. Да, все в порядке, все так, как должно быть, но она всех перехитрила. Вот ее поместили в грязной норе, посадили за рваные носки, заставляют ходить за подачкой, перевернули всю жизнь и еще жалеют, сокрушаются, командуют. А ей, назло всем, весело. Ей не нужно никакой богадельни, она боится богадельни, она не хочет быть сытой, все равно суп отвратителен, ей ничего не нужно. Она хочет только жить пьяной и пьяной умереть.

Шолан не привыкла к непослушанию, к противоречию, к лукавой усмешке. Ей жаль старуху и ей обидно, что жалость пропадает зря. Она кричит:

— Вы умрете под забором!

И старуха величественно подтверждает ее слова кивком седой головы.

4. СЕРЕЖКИ

В конце жизни они остались совершенно одинокими. За два года до смерти он потерял работу. Он ничего не скопил за сорок с лишним лет, проведенных у станка. Переехали в огородную сторожку. Сырость накинулась на застарелый ревматизм, ревматизм свел его в могилу. Пособия нехватало, все было продано, все съели лекарства. Они не жаловались, они понимали, что старики должны умирать.

Соседям жилось так же, как им. Иногда они оказывали друг другу мелкие одолжения. Старик работал в соседском огороде, старуха помогала убирать. Под вечер прибегал соседский мальчик.

— Бабушка Симона, у нас сегодня осталось немного супа, мама посылает его вам.

После смерти мужа она пошла в мэрию. Старик, умирая, высчитал, что она должна будет получить 30 франков на похороны. Он высчитал точно. Она долго спорила с чиновником, простояла три дня в очередях и в конце концов добилась своего: ей выдали ровно 30 франков.

Она взяла у соседского мальчика взаймы карандаш, написала письмо, завернула в него 30 франков, и сережки, дешевенький подарок мужа к свадьбе, последнее, что она берегла, и бросила все это в огород к соседям. Она подмела барак, вымыла пол, все расставила по местам. Потом она прикрепила веревку к крюку от лампы и повесилась.

В письме она написала:

— Вы к нам хорошо относились, поэтому я оставляю вам все, что у меня есть.

Соседи показали письмо полиции. Полицейские отобрали его, а заодно деньги, и сережки. Старуху хоронили на городской счет, и деньги пошли в казну. А сережки, наверно, пропали. По крайней мере, соседи их не получили, а в полицейском акте значилось «никаких вещей не осталось».

5. ЦВЕТЫ

Пятого октября в Париже, на авеню д'Итали (улица Италии) упал человек. Он оказался безработным плотником по имени Фромантен, проживавшим в Вильжюифе, в «переулке акаций». Прошло несколько дней, пока из городской больницы сообщили об этом в мэрию предместья. Шолан немедленно отправилась в «переулок акаций». С тех пор каждый раз, когда она делала свой обход, она заходила к Марте, жене Фромантена.

Фромантен болен давно. Но он не хотел итти к врачу, он считал, что врач—излишняя роскошь для безработного. По вечерам он возвращался домой обессиленный от бесконечного хождения по Парижу, и молча, в горячем поту ложился в кровать. Он делил ее с женой и тремя детьми. В «переулке акаций» не было ни мостовой, ни тротуара. Дом, в котором жили Фромантены, был, в сущности, чем-то вроде летней избы. Сколоченный из тонких досок, он не держал тепла. Фромантен знал, что его болезнь заразна и отворачивался к стене, стараясь не дышать на детей. Крыша протекала, со стен текло. К утру печка была, как лед. У него не было сил встать.

Лежа в больнице, он терял право на пособие. Следовательно, его семья была обречена на голод. Он прятал под подушку хлеб и куски больничного обеда и отдавал их жене.

Марта бегала по благотворительным учреждениям. Никакой милостыни нехватало. Ей посоветовали стать цветочницей. Рано утром она шла в соседнее садоводство, брала там корзину дешевых цветов, уезжала в Париж, становилась на людном перекрестке и прода-

вала маленькие букеты. Она со страхом смотрела на небо: в дождь прохожие не покупают цветов. Она со страхом смотрела по сторонам: у нее не было разрешения на торговлю, и любой полицейский мог арестовать ее. Ее и арестовывали. Тогда она подолгу сидела в комиссариате, ожидая, пока составят протокол. Дети оставались на несколько часов дольше без присмотра и без обеда. Возвращаясь домой, она бессильно валилась на кровать, как это делал раньше Фромантен. Старшая девочка варила суп и кормила брата и сестру. Дети кашляли. Марта успокаивала себя, что это обыкновенная простуда, не чахотка.

Фромантен умер. Наутро, как всегда, Марта пошла за цветами. Садовод был добрым человеком. Он долго ахал и сокрушался и потом предложил ей выбрать, какие она захочет, цветы, чтобы положить их на гроб. Она сказала:

— Цветы я продаю. Цветы — мое несчастье. Фромантен обидится за цветы.

6. ДЕНЬ ЖАНА ДЮПОНА

Жан просыпается от холода. Резкий сквозняк заползает под рваное одеяло. Ногам мокро: ага, крыша протекает в новом месте. Он подбирает ноги и покрывает голову пиджаком и дрожа старается снова уснуть. Он спешит досмотреть сон, оборванный сквозняком. Он видел что-то веселое и цветное.

Кофе нет, сахару нет, согреться нечем. Кепка надвинута на брови, руки в карманах. Он отправляется в Париж пешком.

На воротах завода Рено надпись: «Приема рабочих нет». Он пытается проскользнуть мимо сторожа.

— Куда?

— У меня тут знакомый...

— Знаем мы этих знакомых!

— Я только поговорить... Может быть, не каждый день... Или уборка какая-нибудь...

— Катись, катись!

В следующие ворота Жан и не пытается проникнуть. Он только вопросительно смотрит на сторожа. Тот показывает головой: убирайся! Жан в ответ кивает: хорошо, хорошо, он понял. А потом он даже не задерживается: надпись есть, сторож есть — мимо!

Он натыкается на рабочий пикет: забастовка. Да, да, в мэрии что-то говорили и в газете, кажется, писали. Он останавливается. Пикетчик строго спрашивает:

— Желтый?

Здесь, пожалуй, взяли бы. Какое ему дело до других! Не подыхать же, в конце концов! Но пикетчик смотрит ему прямо в глаза. Жан густо краснеет.

— Да нет, — говорит он. — Работы я ищу, это верно. Ты не слыхал чего?

Пикетчик только усмехается.

— Слушай, а зачем вы бастуете? Тоже можете работу потерять.

— Ты не читал? У нас половину выкидывают, из-за них мы и бастуем.

Жан снова краснеет. Нет, нет ему и в голову не приходило, что он мог бы поступить сюда.

Сторож завода, с которого Жана рассчитали, пропускает его. Крадучись, он пробегает двором в свой прежний цех. Первое, что он видит, — бурав, у которого он работал.

Упруго натянут приводной ремень. Он идет быстро и ровно, издали кажется, что он вовсе не движется. Но вот на нем мелькает пятно, исчезает, снова выплывает. Когда Жан стал в первый раз на работу, он пролил масло на ремень. Пятно давно расплылось, оно стирается, оно едва заметно, но даже когда оно сотрется совсем, он будет искать его на ремне.

Резко, четко бьет бурав. Может быть, посторонним кажется, что интервалы размереннее секундной стрелки. Жан не посторонний. Для него бурав иногда задерживался на сотую долю секунды, иногда на ту же сотую опережал время. Он помнит, как, приноровляясь к

этим капризам, он то слегка задерживал, то ускорял движение своих рук.

Ему хочется погладить машину. Он изучил ее дрожь, ее скрипучие жалобы, ее голод и усталость, ее быстро мелькающую радость, когда все части смазаны, когда ее ведет опытная рука. Иногда ему казалось, что все эти рычаги, винты — только продолжение его собственных рук. Кровь текла с той же скоростью, с какой бежит ремень, сердце и бурав ударяли в унисон.

У машины стоит незнакомый человек. Он не попадает в такт, бурав бьет где-то около, не в нужную единственную точку. Разница меньше миллиметра, если она вообще существует, но Жану кажется, что вяло обслуживаемый бурав опускается неохотно и небрежно, а ремень бежит впустую.

Подходит десятник.

— Послушай, Жан, ты уходи, тут посторонним болтаться нельзя.

Ничего не поделаешь, он все-таки посторонний. Не успел даже поговорить со старыми товарищами. Впрочем, о чем? Он пожалуется, они посочувствуют, выругаются — и все. У них теперь разная жизнь.

На улице каменщики бьют щебень. Жан останавливается. Белая пыль, стук молотков. Чинят улицу или прокладывают новую линию метро. Раз-два, раз-два, выгибаются спины, поднимаются руки, Жан сам не знает, на что он, собственно, смотрит. Но что бы люди не делали, ему хочется быть около них.

Он спохватывается. Так можно и опоздать в столовую. Как обидно платить за билет в метро. Газеты теперь уже не купишь. Хоть бы подобрать брошенный кем-нибудь листок! Вчера был футбольный матч Франция — Голландия. Прочесть бы, как все было. А впрочем, не все ли равно?

За супом стоит очередь. Они приходят заранее, потому что им нечего делать и потому что им хочется есть. На Жана никто не смотрит. Они стесняются и друг друга. Кое-кто прячет котелок и делает вид, будто проходил мимо и остановился, чтобы поговорить. Кричит ребенок. Последним в очередь становится суровый старик.

— Дядя Роше, пока у тебя была служба, ты говорил, что суп получают одни бездельники.

Старик молчит и не поднимает глаз.

Дверь открывается. Они вваливаются в старый, заброшенный барак. Там стоит тяжелый запах вонючей кухни, пота и грязи. Им раздают жестяные неотмытые миски и сальные ложки. Кухарка плещет горячую жидкость небрежно, капли попадают на руки, на одежду. Большинство уносят суп домой: так достойнее. Но суп стынет, а Жану нечем растопить печку.

Остальные идут в соседнее помещение. Деревянные стены, ободранный потолок, видно железо крыши и в дырах — небо. Они садятся на шаткие скамейки, а то и просто на пол, защищаясь локтями от толчков соседей, зажав миску между колен. Старик, тот, что сам стал бездельником, вынимает из кармана кусок хлеба и аккуратно вытирает им миску досуха. Они сидят долго, — это все-таки под крышей, — пока не придет кухарка, не отберет миски и не выгонит их вон.

Жан медленно пересекает площадь и выходит на главную улицу. Он прислоняется к стене и смотрит, как люди ждут автобусов и трамваев, как садятся, как звонит кондуктор. Он загадывает: женщина сядет в трамвай, рассыльный—в автобус. Потом он фантазирует: рассыльный сел в автобус ПМ, он едет, наверно, в банк. Женщина, может быть, спешит на вокзал. Куда она поедет? В Руан? Бордо? Он провожает глазами автомобили. Куда едут все эти люди?

Игра надоедает, и он медленно идет по улице. Когда он устает, он машинально начинает напевать. Это песенка из фильма, виденного много лет тому назад:

Будем веселиться!
Наплевать на все!
Жизнь, сказать по правде,
Так коротка!

Незаметно для себя он оказывается перед кафэ. Так, если не править лошадью, она сама идет в конюшню. Денег нет. Оставшуюся мелочь надо беречь. До следующей выдачи пособия еще несколько дней. И он уже забыл, что ел суп. Он отходит в сторону и долго читает афиши. Он читает их подряд: рекламу, кино и объявления муниципалитета, обрывок предвыборного воззвания и извещения о продаже с торгов. Фильм давно уже снят, дом давно уже продан, и кандидат провалился на выборах, а Жан внимательно читает: «с участием Грета Гарбо», «доходный со службами», «обещаю дорогим согражданам... а мой противник — всем известный распутник и клятвопреступник...»

Жан устал. До дому далеко, дома холодно. Ему хочется поговорить с людьми, он так долго молчал.

Его приятели играют на биллиарде. Он сделает вид, что зашел на минутку, сказать два слова, он ничего не закажет. Он только постоит, пока кончится партия. Победит, конечно, Жорж! Нигде не работает и не получает пособия, но одет лучше всех, и всегда у него есть деньги, и не выходит из кафэ. Его любят девушки, они вяжут ему длинные цветные шарфы, которые он ловко перебрасывает через плечо. Как в фильме «Кармен». Сейчас, говорят, он живет с замужней. Она богатая. Товарищи шепчутся, будто при случае он не прочь стащить, что плохо лежит. Не у своих, конечно. Это как в романе «Разбойник Картуш грабит богатых».

Придется все-таки спросить что-нибудь. Хозяин косится: ведь уже не в первый раз. Жан берет стакан вина и ухарски подмигивает. Хоть согреться и повеселеть. Через минуту в голове легкий туман, сквозь этот туман все кажется смешным и милым. Молодец, Жорж! Как он ловко срезал этот шар! Вот обзавестись бы девчонкой...

Сердце бьется ускоренно. Он старается не думать о женщинах. Иногда это ему удается: когда голоден или очень устал. Но порою эта мысль так неотвязна, что ему становится страшно. И потом ему кажется, что будь у него девушка, были бы и работа и жизнь. Как у всех людей. Но он боится заговаривать с девушками. На что он им? Ни угостить, ни поговорить о чем-нибудь интересном...

Он выходит из кафэ. Больше итти некуда, вино не помогло, на душе смутно и тяжко. Он отправляется домой, валится на кровать и лежит в темноте. Со двора слышна ругань. Хозяину никто не платит, и он каждый вечер разносит жильцов.

— Эй, ты! Ты дома? Да не прячься, я знаю, что дома. Денег нет? Работы нет? А я тут при чем?

Пахнет дымом, соседи готовят обед. Он сглатывает слюну. От темноты можно рехнуться. Дождь. Куда деваться?

Жорж, конечно, вор. И его приятели — это шайка. Может быть, попросить их, чтобы они приняли Жана к себе?

Или завалиться спать, закрыться с головой, не думать, не двигаться, не обращать внимания на дождь, спать, лежать, всю ночь и потом весь день, и так пока... Пока что?

7. ТАБУРЕТ

Босые дети стояли около печки. Варился суп из картофельных очисток. Дети глотали слюну. Мать шила. Отец, в кепке сидел в стороне и смотрел в угол. Он не поздоровался и даже не повернулся к нам. Женщина долго жаловалась и причитала. Она жалела себя и хотела разжалобить нас. Глядя на нее, на ее слезы, слушая ее плачущий голос, самый маленький из детей громко заплакал. Тогда мужчина встал.

— Тихо! — крикнул он.

Дети застыли на месте, женщина быстро вытерла слезы.

— А вы убирайтесь вон!

Шолан закричала на него.

— Это что еще? Я что, по своей воле пришла к вам? Я не благотворительница! К вам ходишь для того, чтобы вы хоть что-нибудь получали! По закону! Как вы смеете гнать меня, если я пришла помочь вам!

Он смотрел на нее мрачно, исподлобья.

— Поможет нам смерть. Или...

— Или что?

Он оглянулся. И вдруг он схватил табурет, на котором сидел перед тем,— последний табурет в полупустом бараке, — размахнулся и ударил о пол с такой силой, что табурет разлетелся на куски.

— Вот что!

8. ПРИЕМЫШ

В узком тупике стояли низкие каменные однокомнатные домишки. Дверь прямо на улицу, две ступеньки вниз, три глухие стены. Сломанная кровать, тусклая лампа, дымная печка. Нас встретил хромой мужчина лет пятидесяти. У него были пронизывающие блестящие глаза, седые усы, солдатская выправка. Его жена, тихая, рано поседевшая женщина, робко улыбалась. Чистенький веселый мальчик не выпускал ее руки. Говорил только мужчина, и голос его гремел, как труба.

— Я ничего не прошу. Я хочу только работы! Все равно какой. Я хочу кормить мою семью. Я имею на это право! Мне не надо подачек! Это ничего, что я хромаю, я силен и могу работать, как молодой. Я хочу, чтобы мальчик жил по-человечески, он еще слишком мал для взрослого горя! Я не бездельник, я старый солдат! Я могу пойти к самому президенту и потребовать у него работы! Я не знаю законов, но я чувствую мои права!..

Он все повышал голос. У двери появились люди, они слушали. Жена виновато улыбалась. Мальчик смотрел удивленно, но без испуга.

Потом мужчина пошел проводить нас. Стараясь говорить шопотом, он сказал:

— Извините меня, я знаю, что вы тут не при чем. Я не могу удержаться. Это все из-за мальчика. И ведь если бы это еще был мой сын! Ну, тогда терпи вместе с родителями, никто не виноват. Но это приемыш, сирота. Мы его взяли, когда нам жилось хорошо. Он ничего не скажет, он нас любит, он все равно, что сын, но мне все кажется, что я перед ним виновата, что я его обманул...

9. ЗАБАСТОВКА ТУБЕРКУЛЕЗНЫХ

Лестница, коридоры, палаты. Запах иода и мышей. Сестры милосердия в полумонашеских нарядах, служители в грязных халатах. Они пересмеиваются, не торопясь, не обращая внимания на больных.

В этой казарме есть свой командир с неограниченной властью. Это старший врач, седой красавец с хищным профилем удачливого и не слишком щепетильного игрока. В него влюблены все сестры, но, когда он моет руки, больным кажется, что это не гигиена, а брезгливость.

— Господин доктор, у меня жалоба...

— Жалоба?

У сорокалетнего текстильщика затяжной туберкулез. Он свято верит врачам. Он не знает, что его случай безнадежен. Он убежден, что здоровье вернется, если выполнять все предписания врачей. Но персонал небрежен. Наивный текстильщик думает, что старший врач этого не знает.

— Режим не соблюдается, — лихорадочно и умоляюще шепчет он.

Он долго готовился к жалобе. Он со всеми советовался. Он хочет жить. Он должен жить. Старший врач поймет. Старший врач может спасти его.

— Сестра говорит, что я зря занимаю здесь место. У меня семья.

Старший врач слушает рассеянно.

Он думает о другом. Он не смотрит на больного и не видит, что вся палата затаила дыхание.

— Выписать.

Больной вскакивает. Лицо его сереет, как больничные простыни. Старший врач ничего не замечает. Он уходит, он отбывает в следующую палату. Сестры и санитары отрезают его от больных. Старшая сестра равнодушно говорит:

— Завтра домой.

— Но я болен! Я не могу работать! Я... я умру!

Сестра пожимает плечами. Больной опускается на постель и зачем-то оправляет ее дрожащими руками.

После обеда — час отдыха. На террасе стоят кровати, покрытые толстыми одеялами. Только один человек ложится в кровать. Это текстильщик. Он думает, что этот последний час отдыха может прибавить ему сил.

Остальные, отталкивая санитаров, выбегают во двор. Они выстраиваются перед крыльцом и начинают кричать. Они сами не слышат, что кричат.

Выбегают санитары, сестры, врачи.

— Вы с ума сошли! Назад! Вы простудитесь! Вы губите себя! Что случилось?

Им никто не отвечает. На их лицах — страх и недоумение: кого позвать — полицию, пожарных?

Нестройный крик переходит в хор. Скандируя каждое слог больные кричат:

— Стар-ше-го вра-ча! Стар-ше-го вра-ча!

Молодой врач вопит:

— Вас всех выпишут! Это бунт!

Больные упрямо требуют старшего врача.

Санитары бегают по двору. Сестры мечутся по всему зданию. Больные других палат облепляют окна. У ворот останавливаются прохожие.

Наконец, на крыльцо выходит старший врач.

— Я разговариваю с больными только в часы обхода. Завтра.

Никто не трогается с места.

— Господин доктор!..

— Я не желаю разговаривать с вами! В палату!

Один из больных начинает кашлять. Он хотел сдержаться, но кашель, прорвавшись, душит его тем сильнее. Лицо наливается кровью. Старший врач открывает рот, но сосед текстильщика по койке, старик-металлист, жестом останавливает его. И только когда приступ проходит, металлист говорит:

— Больные считают, что вы поступили несправедливо. Пока вы не отмените вашего распоряжения, они не вернутся в палату.

— Кто здесь отдает приказания? Кто врач? Вы или я?

— Но мы — больные. Мы хотим выздороветь, а не околеть по вашей прихоти.

— Это бунт!

— Это забастовка.

Старший врач сдерживает бешенство. Его окружение растерянно молчит. Конечно, можно вызвать полицию. Но тогда скандала не замять.

Мы с Шолан стоим у решетки. Больные успели предупредить мэрию. Шолан не должна вмешиваться, пока есть надежда, что больные одни одолеют врача; как раз, когда она берется за калитку, старший врач опускает голову и говорит:

— Я отменяю приказ!

Б. Кузнецов

ПУТЕШЕСТВИЕ В 1960 ГОДУ

Шел 1960 год. Я давно собирался совершить большое путешествие по СССР и поэтому с радостью принял предложение редакции одной из столичных газет проехать по трассе единой высоковольтной сети Союза. Газета хотела в ряде корреспонденций познакомить своих читателей с проблемами энергетики и поручала это дело мне. Меня как нельзя больше устраивало, что мое путешествие получает такой утилитарный уклон и что я буду принужден силой обстоятельств концентрировать внимание на каких-то определенных вопросах. И притом на таких вопросах, которыми я занимаюсь в продолжение всей своей сознательной жизни.

1. КВАТРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ

Готовясь к поездке я решил подробно познакомиться с электроснабжением Москвы. Сейчас, в седьмом пятилетии, энергетические нужды столицы продолжают быстро расти. Электричества требуют краны портов, лифты, движущиеся тротуары, эскалаторы, электрический воздушный и колесный транспорт, освещение, воздухоприготовление, подогрев воздуха и воды. Как покрывается вся эта громадная потребность в энергии? Несмотря на сильное снижение удельных норм расхода энергии, потребность в ней быстро растет за счет новых применений электричества. Возьмем хотя бы воздухоприготовление. У нас нет почти ни одного жилища без электрического воздухоприготовителя, регулирующего температуру, влажность и состав поступающего воздуха. Многие из читателей помнят, какой редкостью являлся воздухоприготовитель в третьей пятилетке. «Переведите рычаг воздухоприготовителя с «сосновой чащи» на «морской бриз» — в 30-х годах мы, журналисты, шумно восторгались этой элементарной возможностью. А сейчас в Москве не меньше двух миллионов воздухоприготовителей.

Теплофикация Москвы была завершена десять лет назад. С тех пор выработка тепла на ТЭЦ почти не растет. Увеличение теплового потребления идет за счет электрических нагревательных приборов. Само собой разумеется, что Москва требует значительного притока электричества со стороны. Основной источник — реки Западной Грузии и восточной части Союза. Это не останавливает технического развития и усовершенствования московских тепловых электростанций.

Прежде всего нужно отметить развитие стационных паровых турбин. Начиная с третьей пятилетки (1938—1942 г.), широко развернулось строительство небольших станций и турбин. При этом появилось много качественно новых, оригинальных принципов турбостроения. С другой стороны, новые принципы энергетической техники подготовлялись и в котлостроении, в особенности при конструировании небольших, но технически совершенных котлов. В 1941 году был сконструирован советский экспресс-котел с наддувом, с искусственной циркуляцией и использованием давления покидающих котел газов. Когда сконструировали котел с искусственной циркуляцией, решено было для насосов применить газовую турбину, работающую на газах, отходящих из топки. В топке горение происходит под давлением. Затем газы расширяются в газовой турбине, вращающей компрессор и вспомогательные меха-

низмы, и уходят наружу через экономайзер.

Второй советский экспресс-котел с газовой турбиной был сделан из еще более жароупорных сплавов. Здесь температура газов могла быть гораздо выше. В результате мощность газовой турбины значительно превысила собственные нужды котла, и, таким образом, была получена смешанная установка, где, собственно, самый котел стал охлаждающей рубашкой газовой турбины. Но в это время во всех газовых турбинах, давно работавших на судах и самолетах, теплота газа регенерировалась в паровых установках. Поэтому второй советский экспресс-котел принципиально не отличался от обычной турбины внутреннего сгорания. Таким образом, последняя органически выросла из паровой техники.

В 30—40-х годах конструкторы газовых турбин должны были ответить на ряд трудных вопросов. Например, очень серьезной была проблема предварительного сжатия смеси. Другим камнем преткновения для конструкторов была проблема материалов. Высокая температура газов требовала особо жароупорных сталей. Поэтому одно время говорили, что «проблема газовой турбины — металлургическая проблема». Однако в середине 40-х годов появились новые типы газовых турбин, не требовавшие этих условий. Что же касается газовых турбин, работавших на подземном газе, то здесь проблема предварительного сжатия горючего была снята после того, как сам подземный газ стал получаться при высоком давлении. Высокая температура также не страшна современным конструкторам, научившимся использовать ее для паротехнических циклов.

Паротехнические циклы не только не исчезли, но, наоборот, чрезвычайно сильно развились. Паротехника в 40—50-х годах пережила серьезный перелом и расцвет новых технических принципов. Уже в начале 40-х годов повсеместно применялось сверхкритическое давление. Дальше перед теплотехниками появилась новая серьезная проблема. Вода не являлась больше для паротехники идеальным рабочим телом. Наряду с ней сначала теоретически, а потом практически фигурировали новые рабочие тела: в первую очередь ртуть, а затем некоторые химические соединения. Появилась неводная паротехника. Это позволило соединить вместе два цикла таким образом, чтобы охлаждение одного рабочего тела (например, ртути) означало нагревание другого. Такие циклы издавна назывались бинарными. Обязательной частью бинарной установки является конденсатор-испаритель. Он мало чем отличается от обыкновенного конденсатора, но охлаждающее рабочее тело само здесь испаряется и идет во вторую турбину установки.

Примером бинарной установки является построенная в 1946 году в Москве ртутная электростанция. Она имела предшественников: первую турбину Эммета (1 050 киловатт), сооруженную в 1922 году; установку на станции Dutch Point (1 800 киловатт) в 1923 году; установку на станции South Meadow (10 тысяч киловатт) в 1928 году; первую советскую ртутную турбину (5 тысяч киловатт) в 1943 году и Ленинградскую ртутно-водяропаровую станцию (15 тысяч киловатт) в 1944 году. Московская ртутная станция имеет один котел, экранированный ртутными трубками, из которых пары ртути при температуре свыше 600 градусов и давлении около 15 атмосфер поступают в ртутную турбину мощностью в 12 тысяч киловатт и затем в конденсатор-испаритель. Здесь пары ртути, охлаждаясь, испаряют воду, и водяной пар проходит через вторую турбину бинарной установки. Впрочем, коэфициент полезного действия этой станции (0,40) уступает коэфициенту полезного действия осмотренной мною сегодня кватринарной установки, построенной в 1947 году и не имеющей предшественников.

Ее назвали неточно. Здесь испаряются не четыре, а три рабочих тела. Но, кроме трех паровых турбин, в установку входит и газовая. Высокая температура газового потока (около 1 000 градусов С) обеспечивает экономичную работу ртутного котла, обогреваемого горячими газами, выходящими из турбины. Ртутные пары под давлением в 10 атмосфер поступают во вторую турбину установки. Конденсация ртутных паров дает водяной пар, который работает в своей третьей турбине и служит для теплоснабжения. Однако, кроме «надстроек» над водяным паром, здесь есть еще «подвал» под ним. Конденсируясь после турбины, водяной пар обогревает котел с бутаном. Иными словами, четвертая, нижняя, ступень Московской кватринарной станции является арктической температурной установкой. Она, конечно, работает только зимой.

Кватринарная станция и другие небольшие теплоэлектроцентрали Москвы дополнены мощным сталь-алюминиевым проводом, несущим в Москву энергию рек Западной Грузии, волжских вод и порогов Ангары. Этот провод, обвивший весь Союз, связывает Москву реальной физической связью, электронным потоком с гидроэлектростанциями, заводами, полями и городами всего государства. После создания единой высоковольтной сети СССР нельзя описать энергоснабжение одного города без общей картины энергетических потоков, текущих по стране.

2. НА ЮГЕ

Вчера весь день был потрачен на выбор маршрута. Решили ограничить его той территорией, которая сорок лет назад была охвачена планом ГОЭЛРО. Затем пришлось найти направление с наименьшим количеством повторных поездок по той же трассе. Мы сидели в редакции над картой и рассматривали конфигурацию электрических линий, передающих энергию крупных гидростанций Союза в границах плана ГОЭЛРО. Естественным центром системы является Ангара. От Ангары на восток к гидростанциям на Зее, Бурее и Амуре идет передача постоянного тока. Она продолжается дальше — параллельно хребту Сихотэ-Алинь и побережью — до Владивостока. На северо-восток от Ангары идет передача переменного тока, к которой примыкают сети бассейна Лены. Дальше северо-восточная передача разветвляется и доходит до куста арктических станций в устье Индигирки и до Охотска.

В западной части единой высоковольтной сети основное направление электронных потоков с востока на запад. Десятки миллиардов киловатт-часов переносятся в европейскую часть Союза из Сибири и Средней Азии по двум сверхмагистралям постоянного тока. Они соединяются у Куйбышева, и электронный поток идет к Москве. Сюда же доходит передача из Грузии через Ростов. Кроме передачи постоянного тока Ростов — Москва — Куйбышев, в пределах европейской части существует разветвленная сеть линий в 380 тысяч вольт переменного тока и распределительные сети в 220 тысяч вольт. Передачи переменного тока соединяют мурманские и карельские станции с Ленинградом. Ленинград — с Москвой, районы Поволжья, Урала и юга. Основные передачи — широтная: Одесса —Днепр — Донбасс — Сталинград; волжская: Сталинград — Куйбышев — Горький; уральская: Печора — Соликамск — Свердловск — Челябинск — Магнитогорск; карельская: Мурманск — Ленинград.

Для того чтобы увидеть ряд крупных гидростанций и электропередач, я решил из Ленинграда отправиться сначала в Карелию, потом на Днепрогэс, затем в Крым и через море в Закавказье. Из Баку я должен был перебраться в Красноводск, оттуда в Ташкент. Из Средней Азии я предполагал полететь в Куйбышев и затем объехать кольцо Куйбышев — Камышин — Донбасс — Москва — Куйбышев. Дальше намечался путь на восток с остановками и поездками в сторону на Урале и в Кузбассе. Путь шел через ангарское кольцо на Дальний Восток.

Из Ленинграда я вылетел на большом быстроходном воздушном корабле Л-70 и вскоре мог наблюдать расположение основных гидростанций севера. Сначала показались станции на Свири, затем Нивская, Ковдинская, Туломская, Ондская и другие станции. Они соединены с Ленинградом. Карело-мурманская линия, так же как и Октябрьская, состоит из передачи переменного тока напряжением в 380 тысяч вольт, электрифицированной железной дороги и «коридора» электрифицированного земледелия вдоль линии. Тяговые и сельскохозяйственные подстанции получают энергию непосредственно из компенсаторов, поддерживающих напряжение в линии. Однако основная часть энергии не расходуется по пути, а передается в Ленинград.

Своеобразная природа Мурманского края и Карелии делает их прекрасными источниками энергии для Ленинграда. Обилие озер, соединенных реками, и благоприятные геологические условия давно заставили обратить внимание на водные силы края. После Беломорско-Балтийского канала здесь выросло много гидростанций. Озера являются регулирующими водохранилищами этих станций. Поэтому колебания стока здесь устранены, и станции работают полной мощностью в течение всего года. Значительная часть энергии передается в Ленинград.

В тот же день мы полетели на юг. В продолжение трех часов удалось осмотреть основные станции Большого Днепра. Из них до сих пор самой большой является построенная в первом пятилетии Днепровская гидроэлектростанция имени Ленина. В течение шести лет строительства Большого Днепра были сооружены, помимо Днепрогэса, еще семь крупных гидростанций, и мощность всего каскада дошла до двух миллионов киловатт. Кременчугская станция (300 тысяч киловатт) собирает в своем водохранилище весь весенний паводок и регулирует сток Днепра, выравнивая и увеличивая выработку энергии на нижних станциях. Это подняло выработку энергии Днепрогэса и довело суммарную отдачу всех днепровских станций до 10 миллиардов киловатт-часов.

Сооружение плотин Большого Днепра соединило глубоководным путем Черное море с Ленинградом и Донбасс с Криворожьем, Западной областью и Ленинградом через шлюзы Днепра и его притоки. Кроме того, Большой Днепр позволил осушить 5 миллионов гектаров болот в БССР, Западной области и на Украине, оросил 1,85 миллиона гектаров в Приднепровье и 800 тысяч гектаров в Крыму и превратил Южную Украину в страну цветущих садов, баштанов и полей, прорезанных голубой лентой Днепро-Азовского оросительного канала.

Сети Приднепровья соединены с электрическим кольцом Крыма. Из крымских электростанций я осмотрел лишь ветроустановку около Ялты. Она была важным этапом в истории советского ветроэлектростроительства.

Уже в начале 40-х годов тысячи колхозов и совхозов пользовались ветродвигателями для водоснабжения, освещения и некоторых силовых и производственных нужд. Эти ветродвигатели были спроектированы в 30-х годах и впоследствии усовершенствованы. Они строились в виде пятидесятиметровых башен, которые первоначально весили 160 тонн. Потом, с переходом к новым сплавам, вес башни снизился до 60 тонн. Колесо соединено через редуктор с генератором и, вращаясь со скоростью 24 оборота в минуту, дает в генераторе 600 оборотов в минуту. Мощность подобных станций — 1 000 киловатт.

В 40-х годах было развернуто строительство первой крупной ветроэлектроцентрали. Она воздвигнута на Ай-Петри и состоит из двух установок с трехлопастными колесами. Диаметр каждого ветроколеса — 80 метров. Гидравлический редуктор повышает число оборотов колеса с 20 до 600 в минуту и передает энергию генератору трехфазного тока мощностью в 5 000 киловатт и напряжением в 6 000 вольт. Верхняя установка находится на самой вершине башни (158 метров), а нижняя — на высоте 65 метров. В помещении нижней установки, в одном из этажей ее машинного зала, расположены щиты и общее распределительное устройство. Отсюда ток под напряжением в 600 вольт передается вниз к кольцевым токосъемам, затем в повысительную подстанцию и, наконец, под напряжением в 110 тысяч вольт вливается в высоковольтное кольцо через Ялтинскую подстанцию.

Башня Ай-Петринской ветроэлектростанции сделана из железо-бетона и опирается на гидравлический подпятник, то-есть стальной цилиндр, наполненный мазью из вискозина с канифолью. Этот цилиндр заперт поршнем, представляющим собой нижнюю часть башни. Мазь находится под давлением в 350 атмосфер. Башня свободно поворачивается на этом шарнире, вращаясь при этом в кольце, к которому прикреплены растяжки. Башня поворачивается автоматически, в зависимости от направления ветра. Лопасти тоже поворачиваются сервомоторами. При этом они снабжены пневматическими буферами и при сильном порыве ветра выворачиваются.

Установки работают с помощью гидравлической передачи. Колесо вращает вал, соединенный через фрикционную муфту с масляным насосом. Масло под давлением в 37 атмосфер направляется в лопатки турбины Польтона, соединенной с генератором.

После осмотра ветроэлектростанции у меня осталось время для прогулки по Ялте. Я много лет не бы на Крымском побережье и не узнал его. Орошение и регулирование климата изменили природу Крыма. Сейчас, в сентябре, окрестности Ялты напоминают Крымское побережье в мае. Обилие травы и всяческой зелени в разгар сентябрьской жары является результатом ирригационного и климаторегулирующего строительства четвертой и пятой пятилеток.

После обеда я вылетел из Ялты в Гагры на курортном воздушном корабле. Этот корабль — тихоходный гигантский гидроплан — непрерывно совершает рейсы между Крымом и Кавказом. В нем помещается кафэ, солярий и спортивный зал. Кроме того, гидроплан обычно буксирует множество пловцов, тренирующихся в беге на водных лыжах за самолетом.

3. ЗАКАВКАЗЬЕ И СРЕДНЯЯ АЗИЯ

В Гаграх я встретил старого друга, с которым мы вместе полетели в горы осматривать гидроустановки Главного Кавказского хребта, который здесь очень близко подходит к морю, сохраняя свою высоту. Верховья Ингура и Кодора, берущие начало в многочисленных высокогорных ледниках, расположены недалеко от устья. Реки эти отличаются громадным падением. Летом, когда ледники тают, их мощность очень велика, но зимой они почти совсем пересыхают. Поэтому летом побережье Грузии отдает энергию в сеть, а зимой получает ее. После осмотра гидростанций мой спутник предложил полететь на Главный хребет, поучиться прыжкам на лыжах с самолета.

Вылетели через полчаса — и к обеду были на месте. К концу дня я овладел новым видом спорта — и на следующий день до вечера продолжал прыжки. Они выполняются следующим образом. Прыгающий одевает на ноги небольшие металлические лыжи и покидает самолет в тот момент, когда последний пролетает над ровным, но крутым склоном покрытой снегом котловины или ущелья. Нужно прыгнуть таким образом, чтобы линия прыжка приблизилась под очень острым углом к поверхности склона и чтобы лыжи мягко, без удара и толчка, скользнули по снежной поверхности вниз. Затем склон становится более пологим, потом лыжник

скользит по горизонтальной поверхности дна котловины и, поднимаясь на противоположный склон, теряет, наконец, первоначальную скорость.

Подобный прыжок можно сделать, точно рассчитав место, где находится самолет, направление, скорость и угол падения, силу торможения на снегу, хорошо зная скорость самолета, вес своего тела, крутизну склона и сопротивление воздуха. Для каждого прыжка приходится решать сложную геометрическую и механическую задачу. Участник прыжков заранее получает рельеф местности и другие данные и составляет график полета и прыжка, которому должен абсолютно точно следовать.

Я раньше не отличался особой смелостью в физических упражнениях. Первые прыжки с вышки в воду, с лыжного трамплина и с парашютом дались мне нелегко. Но этот новый и опасный вид спорта совершенно не вызывал страха. У меня чуть-чуть замирало сердце, когда я вычерчивал кривую прыжка и каждую точку схемы воспринимал, как свое тело, летящее по этой кривой. Но в момент прыжка я, напротив, чувствовал себя точкой найденной кривой и был уверен в точности и правильности расчета, так что ничто не отвлекало меня от непосредственных ощущений. Слияние организма с теоретически найденной кривой было несравненно интереснее, чем то слияние человека и машины, которое так прельщало летчиков, планеристов, водителей буеров, автомобильных гонщиков и др.

На следующий день мы побывали над самой крупной установкой Закавказья, откуда начинается передача в миллион вольт к Москве. Самолет пролетел над передачей до Ростова и затем вернулся обратно. Внизу расстилались поля Северного Кавказа с многочисленными подстанциями. Но южнее хребта, где как раз и были расположены гидроустановки мощностью в два миллиона киловатт, с самолета ничего не было видно. Дело в том, что громадная мощность получалась здесь путем соединения верховьев рек подземными каналами. Машинный зал станции и распределительное устройство также находились глубоко под землей. На север от этих установок шла передача постоянного тока в миллион вольт и на восток — к Тбилиси — передача переменного тока в 380 тысяч вольт. Вдоль нее мы и направились. Через час открылась панорама Тбилиси. С самолета хорошо видно направление электропередачи и электрических железных дорог, расходящихся во все стороны от Тбилиси. Одна передача идет в Западную Грузию, другая — магистральная — в Баку, третья — к Еревану. Вдоль этой третьей передачи, через Делижанский перевал, я долетел до знаменитого Севанского каскада.

Тридцать лет назад я подъезжал к Еленовке — селу на берегу озера Севан. Берег озера находился чуть ниже высшей точки подъема, и машина, долго поднимавшаяся в горы, достигнув вершины, оказалась в нескольких метрах над необозримой гладью лазурного зеркала. Это создавало впечатление моря, поднятого на два километра вверх. Озеро Севан в 30-х годах занимало площадь в 1 500 квадратных километров, собирало воду 28 горных рек, которая вытекала вниз через единственный сток — реку Зангу. Отметка поверхности озера превышала 1 900 метров, и каждый кубический метр воды Севана обладал потенциальной энергией в 5 киловатт-часов.

Сейчас все изменилось. Сброс вод Севана через Зангу уменьшал зеркало озера, пока сократившееся испарение не уравновесило его на новом уровне. При этом вода проходит через каскад восьми гидростанций (Озерная, Караван-Сарайская, Кохсы-Гюмушская, Арзнийская, Канакирская и три ереванских) и орошает 80 тысяч гектаров Киров-Сардарабадской безводной степи.

Общая мощность Севано-Зангинского каскада — 550 тысяч киловатт — сейчас кажется небольшой, так же как и выработка — 2 миллиарда киловатт-часов энергии. Но здесь были решены специфические гидроэнергетические проблемы, и, кроме того, Севан стал образцом художественного вкуса и архитектурной смелости для последующего гидростроительства. Сооружения каскада входят в грандиозный архитектурный ансамбль. На фоне белоснежных склонов Арарата видны розовый туф, белый мрамор, темнозеленые рощи и голубые каналы Еревана. Их естественным продолжением служат просторные террасы каскада, автострада, акведуки, мосты, шлюзы и плотины. Основное эстетическое требование — соответствие между архитектурой и ландшафтом — совпало с основным гидротехническим требованием — максимальным использованием естественного рельефа. Плотины и здания каскада, мачты электропередач, каналы и водохранилища гармонично связаны с хребтами, долинами и ущельями Армении. Мы видим здесь также поразительную связь между специфическими строительными задачами и глубоко национальным характером архитектуры. У озера архитектурная аллея Занги переходит в курортное кольцо, окружающее Севан и выстроенное на его новом берегу, только в 1947 году показавшемся из-под схлынувших вод озера.

Горы, окружающие Севан, отделяют его от индустриальных центров, которые мне интересно было осмотреть хотя бы с самолета. Я увидел большой завод ферросплавов, медные копи, углехимический завод и большое число консервных заводов. Все они получают энергию от станций Севано-Зангинского каскада. На склонах гор расположены виноградники.

Из Еревана в Баку я поехал электромагнитной дорогой. Металлический сигарообразный вагон несся от одного электромагнита к другому с такой скоростью, что трудно было что-либо увидеть на земле. Скорость электромагнитного вагона меньше скорости стратоплана, но он летит невысоко над землей и поэтому находящиеся под вагоном здания, рощи, водоемы и т. п. сливаются в быстро несущийся поток. Я вышел из вагона возле Мингечаурской гидростанции. Это крупная станция, одна из самых старых в Азербайджане. Ее начали строить в третьем пятилетии. Здесь — центр высоковольтных сетей Грузии, Армении и Азербайджана. Высокая шестидесятиметровая плотина на Куре обеспечивает выработку свыше 1 200 миллионов киловатт-часов. Мощность станции — 300 тысяч киловатт. Мингечаурская плотина, кроме того, позволяет орошать миллион гектаров плодородных земель Ширванской, Мильской и Карабахской степей и обеспечивает судоходство по всей Куре.

Баку встретил нас благоуханием духов. Конечная станция электромагнитной дороги находится невдалеке от Бакинского парфюмерного комбината. Сюда доставляются отходы после отгонки из нефти легкого топлива. Страна требует сейчас громадного количества бензина. Правда, кое-где моторы уже переведены на сжигание водорода, получаемого электролизом, или вовсе заменены электродвигателями с легкими аккумуляторами, однако, в районах, которые сейчас быстро осваиваются, но не охвачены высоковольтными сетями (например, в Сибири, севернее 60-й параллели, между Обью и Леной), выгоднее сжигать бензин и другие легкие фракции нефти. В Баку нефтеперегонные заводы получают из нефти такое количество легких погонов, какое раньше казалось немыслимым. В первой-второй пятилетках так называемый крекинг-процесс удвоил количество дорогих продуктов, получаемых из нефти. Затем усовершенствование крекинга позволило еще больше увеличить выход бензина из мазута. Сейчас химические заводы получают не больше 25 процентов нефти — все, что остается после отгонки легкого топлива. Среди этих химических заводов парфюмерный комбинат занимает важное место. Первоначально здесь получали из нефти синтетические эссенции, заменявшие цветы при изготовлении духов и одеколонов. Сейчас цветочные духи и одеколоны производятся из естественных цветов. Бакинский парфюмерный комбинат специализировался на изготовлении особых эссенций, обладающих прекрасным запахом, не похожим на обычный аромат цветов. Спрос на эти духи и одеколоны быстро растет.

Мне казалось совершенно невозможным быть в Баку и не видеть нефти. Однако я ее действительно не увидел. Конечно, я и не воображал, что встречу канавы и ямы с нефтью, которые я видел в детстве, или баки и цистерны с пятнами нефти, которые существовали лет двадцать тому назад. Но я надеялся увидеть нефть, хотя бы через глазок или стеклянное окошечко нефтехранилища. Однако, когда на нефтеперегонном заводе мне показали, как меняется количество, температура, давление и состав нефти, я не увидел ничего, кроме щита с множеством измерительных приборов, автоматически регистрирующих все изменения, которые происходят с нефтью в герметически закрытых сосудах.

Переезд из Баку в Красноводск был совершен через тоннель, в котором помещались рельсовый путь, высоковольтный кабель, несущий энергию из Азербайджана в Туркмению, и нефтепровод. В небольших ответвлениях тоннеля находились буровые скважины, где нефть выкачивается из глубоких пластов, залегающих под Каспийским морем.

Передача Красноводск — Ташкент имеет очень мало распределительных сетей. В Туркмении большая часть нагрузок покрывается солнечными фотоэлектрическими установками. Иначе построено электроснабжение Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Здесь оно базируется на энергии рек, низвергающихся по крутым склонам высоких отрогов Тянь-Шаня и Гиндукуша. Первые крупные гидростанции в Средней Азии были сооружены на Чирчике. Мощность первых трех ступеней равнялась 272 тысячам киловатт. Первоначальная выработка — 1,3 миллиарда киловатт-часов — в 1944 году увеличилась, так как новая Верхне-Чоткальская ГЭС зарегулировала сток Чирчика. Сейчас на Чирчике 11 установок общей мощностью в 1,6 миллиона киловатт. Вода горной реки отдает свой потенциал турбинам станций и одновременно орошает хлопковые поля Чирчик-Ангренского бассейна. Впрочем, и энергия станций, разлагая воды и соединяя водород с азотом в аммиачных цехах Чирчикского тукового комбината, также в последнем счете обслуживает хлопок. В конце 40-х годов искусственный шелк и лен несколько вытеснили хлопчатобумажную ткань. Рост хлопковых площадей и потреб-

ность в удобрениях уменьшились, и вследствие этого на Чирчике за счет удобрительной электрохимии стала развиваться электрометаллургия (Алмалык). После того как хлопководы вывели современные тонковолокнистые сорта и научились комбинировать хлопок с другими видами волокна, производство синтетического аммиака не сокращается, хотя и отстает от среднеазиатской цветной электрометаллургии.

Еще более мощные установки, чем на Чирчике, сооружены в пятом и шестом пятилетиях на Нарыне и Вахше. В шестом пятилетии мы приступили к осуществлению гидроэнергетической схемы Памира, где сложная система переброски рек в другие бассейны позволяет использовать пятикилометровые напоры и получить неслыханные мощности.

Мне удалось увидать картину строительства одной из станций на Памире. Стройка началась весной. Площадка находится в котловине, окруженной неприступными отвесными скалами. Здесь должно быть устроено верхнее водохранилище каскада. Станция будет автоматической и телеуправляемой, и после пуска здесь не останется ни одного человека. Поэтому дорога к станции не сооружается. Все строительные материалы были подвезены сюда на дирижаблях, так как автожиры недостаточно грузоподъемны, а аэропланы не могут совершить посадку в этой котловине.

Сейчас строительные работы и монтаж машинного зала уже закончились, и через месяц станция должна быть пущена. Срок строительства — 7 месяцев — не так уж велик, если принять во внимание, что сложная механизация отсутствовала и работали здесь старыми стройкомбайнами, хотя и телеуправляемыми, но не полностью автоматизированными. Сейчас происходит монтаж открытого распределительного устройства. Я наблюдал за работой из крановой кабины. Роль кранов выполняют дирижабли, доставившие на площадку металлические конструкции. На дирижаблях нет персонала. Ими управляет из кабины начальник крановых работ. В кабине на небольшой экран нанесена схема расположения дирижаблей, необходимая для установки конструкций. Начальник работ вынужден сам подгонять дирижабли к нужному расположению. Для этого на экран проецируются передвижения дирижаблей, и начальник передвигает их, нажимая на клавиши телеуправляющего устройства до тех пор, пока изображения не совпадут со схемой, нанесенной на экран. После этого вступает в очередь телеуправление крановыми устройствами на дирижаблях, и конструкции попадают на предназначенные им места. Конечно, это не очень высокая ступень механизации по сравнению с теми стройками, где фотоэлементы, связанные с экраном, сами включают телеуправляющий автомат и передвигают краны до тех пор, пока изображения конструкций не совместятся на экране с заданным расположением.

В Ташкенте меня ожидала жара, которую не могли побороть климаторегулирующие установки. Во всех домах включили охладители. Было очень приятно притти в прохладный внутренний дворик гостиницы, сесть у фонтана и поболтать с кем-нибудь. Однако надо было продолжать путь, и я покинул Ташкент.

Из Средней Азии идут три электропередачи. Вдоль одной из них—красноводской—я ехал сюда. Другая соединяет среднеазиатское кольцо с Иртышем, проходя через Караганду и Коунрад. Южный Казахстан, таким образом, может получать энергию из среднеазиатских рек и алтайских.

Мой маршрут шел вдоль третьей передачи, которая была частью сети постоянного тока.

Линия высоковольтной передачи Ташкент—Куйбышев не сопровождается электрифицированной железной дорогой. Здесь идет дорога с паровой тягой. Мне уже приходилось ездить по этой дороге. И турбовоз и вагоны изготовлены из легких сплавов. Турбина приводит в движение авиационный пропеллер. Колеса снабжены пневматическими баллонами. Скорость этого поезда — 350 километров в час. Сегодня вечером, отправив это письмо, я пойду в вагон поезда и проснусь завтра утром на берегах Волги.

4. ЕВРОПЕЙСКОЕ КОЛЬЦО

Утром поезд достиг Волги. На противоположном высоком берегу реки был виден Куйбышев. Дорога пошла по гребню десятикилометровой плотины. Справа подпертая ею Волга разлилась широким морем без берегов. Слева, глубоко внизу, была видна сравнительно узкая лента реки. На одном краю плотины находились шлюзы, на другом — здание станции. Я много раз осматривал ее и сейчас, не останавливаясь в Куйбышеве, сразу же сел на судно, отправлявшееся в Камышин. Судно напоминало корабли Тихоокеанской пассажирской линии. Оно имело пятиметровую осадку, вмещало около тысячи пассажирских кают и приводилось в движение электродвигателями. Это судно шло из Горького в Ростов-на-Дону, миновало уже шлюзы Горьковской плотины и должно было пройти через Камышинскую плотину и Волго-Донской канал.

Волжское строительство опиралось на опыт Днепра и Беломорского канала. Днепрострой был замечателен высокой концен-

трацией работы. При пуске Днепрогэса присутствующим, и мне в том числе, бросалось в глаза именно это обстоятельство. Концентрация напора на одной плотине, концентрация электрической мощности в генераторах по 90 тысяч лошадиных сил, концентрация различных потребителей энергии на одной площадке — все это было в начале 30-х годов новым и необыкновенно увлекательным. Позже, в 1934 году, проезжая по 32 каналам через 19 шлюзов Беломорско-Балтийского канала, я был поражен другим большим фронтом строительства, растянутого на сотни километров и включавшего десятки одновременно воздвигаемых сооружений. Возникала мысль о том, чтобы помножить Днепрострой на Беломорстрой, то-есть создать такую же длинную цепь сооружений, как на канале, но чтобы она состояла из плотин и станций масштаба Днепростроя. Строительство на Волге и было Днепром, помноженным на Беломорстрой.

Реконструкция Волги началась в середине 30-х годов и охватила громадную территорию в 3 миллиона квадратных километров с населением, превышавшим уже тогда 70 миллионов человек, с 60 миллионами гектаров посевной площади и 32 тысячами километров железных дорог. Закончилась реконструкция полностью только в пятой пятилетке, когда волжские гидростанции начали давать 50—60 миллиардов киловатт-часов.

В настоящее время энергия Волги используется на следующих станциях: у выхода канала Волга — Москва находится Иваньковская станция и в этом же районе Угличская и Рыбинская ГЭС, выстроенные в третьем пятилетии. Вода собирается здесь в большое Волго-Шекснинское водохранилище, и сток ее дает 1,4 миллиарда киловатт-часов в год. На Каме после Верхне-Камской ГЭС (третье пятилетие) выстроены еще три гидроузла. В верховьях — общее Камско-Вычегодско-Печорское водохранилище позволило сбросить часть стока Вычегды и Печоры в Каму и увеличить этим выработку энергии камских гидростанций до 11 миллиардов киловатт-часов. На Средней и Нижней Волге в 50-х годах были выстроены гидроустановки у Куйбышевской луки, у Камышина и другие. Первая из них состоит из двух станций мощностью в 3,4 миллиона киловатт, то-есть в шесть Днепростроев. Плотины этих станций создали глубоководный путь по всей реке. Этот путь на севере соединился с Ленинградом после подпора Свири и Невы плотинами гидростанций и увеличения глубин в районе «Великих озер». На юге волжская магистраль соединилась с Черным морем. Плотина на Дону ниже Калача направила воды Дона самотеком через водораздел. Канал оканчивается шлюзовым спуском в Волгу высотой в 79 метров. С этой высоты ежегодно низвергаются 12 миллиардов кубометров воды. Энергия используется двумя станциями с выработкой 2,1 миллиарда киловатт-часов. Что касается Дона, то он ниже Калача, вплоть до Ростова, полностью зашлюзован.

Таким образом, мы получили в центре европейской части Союза глубоководный волжский путь в 2 748 километров, а также Окский — в 1 200 километров и Камский — в 1 248 километров. При этом волжские плотины позволили реконструировать поволжское земледелие. Нижневолжские станции оросили Заволжье и сразу же создали в этом районе устойчивый урожай в 300 миллионов пудов пшеницы с поливных площадей. Эта цифра удвоилась еще в 40-х годах. На четырех миллионах гектаров орошенной земли растет не только пшеница, но также люцерна и сеяные травы.

С тех пор прошло больше десяти лет, и сейчас еще отчетливее видны неисчислимые результаты сооружений волжских станций и Волго-Дона. Наряду с массивами орошенных полей результатом строительства было изменение транспортных условий. Волга превратилась в самую оживленную в мире водную артерию, в почти непрерывный конвейер грузов. Этот поток действительно непрерывен. На электрифицированных пристанях суда разгружаются и нагружаются, в большинстве случаев не останавливаясь. Только в шлюзовых камерах винты судов перестают вращаться.

В Сталинграде я сошел с судна и поехал рейсовым автомобилем на восток вдоль электропередачи Днепр — Донбасс — Сталинград. В Сталино я осмотрел новые установки для бездоменного получения железа, а затем поехал на ближайший участок подземной газификации угля. Вблизи Сталино немало скважин, во всяком случае гораздо больше, чем шахт. Переход к подземной газификации в Донбассе произошел около двадцати лет тому назад. Во втором пятилетии были построены первые экспериментальные установки. В третьем пятилетии (1938—1942 гг.) получение горючего газа из подземных скважин стало самостоятельной отраслью промышленности. В пятом-шестом пятилетиях подземная газификация стала преобладающим методом использования ископаемого топлива.

Сама идея подземной газификации была сформулирована Лениным почти полвека назад. В то время В. Рамсей предполагал газифицировать под землей пласты угля. Познакомившись с предложением Рамсея, Ленин несколькими гениальными штриха-

ми очертил грандиозную техническую идею, которая гораздо шире, чем предложение Рамсея. В статье «Одна из великих побед техники» («Правда», 4 мая 1913 г.) Ленин говорил о полном перевороте в добыче топлива, о снижении стоимости энергии в 5—10 раз и об электрификации производства и быта на этой основе

Сейчас подземный газ стал основным видом топлива для теплоэлектроцентралей. Правда, наравне с ним еще применяется добыча угля гидромониторами, но в основном ликвидация подземных работ осуществлена при помощи газификации ископаемого топлива.

Эксплоатируемые участки не представляют интереса при осмотре. Собственно, их даже нельзя найти. Бродя по лесопарковому кольцу вокруг Сталино, я часто встречал выходившие из-под земли трубы. Но никто не смог бы сказать, идут ли они непосредственно из горящего пласта или это коллектор газовой сети, проложенный под землей, но кое-где выходящий на поверхность.

Зато очень интересен процесс проходки новых участков. Когда я натолкнулся в тридцати километрах от Сталино на такой участок, мне вспомнился монтаж на Памире. Здесь также пользуются телеуправлением, а для получения нормативной схемы на экране — различным отражением электромагнитных волн от различных пород. Посылаемые волны, возвращаясь, дают на экране изображение точно оконтуренного участка подземного пласта. Затем телеуправляемые проходочные комбайны вгрызаются в землю, прорывают запальную галлерею и скважины.

Несколько позже я получил все же возможность узнать, где находятся участки подземной газификации, увидев их на карте в домике, где помещался щит управления газовыми сетями Донбасса. Подземные газы входят в сложную систему газоснабжения электростанций, заводов и городов Донбасса. В нее же входят газовые сети металлургических заводов. На немногочисленных старых металлургических гигантах юга, где до сих пор еще существуют доменные печи, уже давно объединено газовое хозяйство цехов. В коксовых печах сжигается колошниковый газ, а газ коксовых печей идет в мартеновские и прокатные цехи и в города.

В третьем-четвертом пятилетиях газовые сети заводов Донбасса и Приднепровья были соединены в районные кольца, по которым в год проходило 50—70 миллиардов кубических метров газа. Металлургам пришлось регулировать температуру и давление газов, автоматически переводить топки с одного газа на другой, производить на большом расстоянии анализы газов, контролировать и устранять загрязнение разветвленной сети трубопроводов. Это было характерным примером новых требований к электроавтоматике. Инициатором широкой автоматизации управления газовыми сетями оказался Сталинский завод. В начале 40-х годов был построен центральный пульт управления газовыми сетями завода. Для того времени это был передовой участок техники, хотя сейчас, когда этот пульт помещен в Политехнический музей в Сталино, где я его осматривал, он производит впечатление глубоко архаичного устройства. Представьте себе большой щит, на котором показана в красках вся схема газовых сетей и помещены указатели калорийности газа в каждой точке, его температуры, давления и т. д. Перед щитом должен был сидеть специальный работник, который собственными глазами следил за приборами, переключал, в случае надобности, печи с одного газа на другой, регулировал поступление газа и т. д. Даже в то время не все считали передовой такую технику. В Сталино до сих пор помнят шум, поднявшийся вокруг помещенного в местной газете фельетона «Телеуправляемый баобаб или Тартарен на Альпах автоматики». Этот фельетон выразил чувства значительной части инженеров Сталинского завода. Полемические выступления и технические споры перешли в длительную исследовательскую работу, и в 1948 году удалось, наконец, установить полностью автоматизированное управление газовыми сетями, где указатели калорийности, температуры, давления и т. п. были связаны через фотоэлементы и тиратроны с автоматами переключения и регулирования. К этому щиту я и подъехал, осматривая окрестности Сталино. Больше всего меня поразил тот факт — и это действительно характерно для современного Донбасса, — что рядом помещался центральный пульт большого зернового предприятия. Трубы газовых сетей проложены под цветущими садами, огородами и полями Донбасса. После реконструкции водоснабжения Донбасс стал одним из основных сельскохозяйственных районов юга. В особенности Сталино прославилось небывалыми урожаями пшеницы, собираемыми с окружающих его полей.

Людей моего поколения, помнящих былую противоположность между городом и деревней, поражает, естественно, объединение почти под одной крышей щита управления донецкими газовыми сетями и пульта управления земледельческих предприятий Сталино.

Помещение пульта представляло собой просторную светлую комнату. Стеклянная стена позволяла видеть густой парк, доходивший до днепровского песчаного пля-

жа. Противоположная стена была занята большой схематической картой участка. Перемещение освещенного кружка соответствовало движению каждого из десяти работавших агрегатов. Над картой висел небольшой экран. На нем могло появиться изображение любого агрегата. Каждый агрегат управлялся особым щитком с кнопками, включавшими его многочисленные моторы.

Из Донбасса в Москву я поехал по сверхмагистрали вдоль высоковольтной передачи. Все поезда на магистрали идут по параллельному графику, и эта дорога является самым медленным видом пассажирского сообщения. Зато она перевозит грузов в пять раз больше, чем обычные дороги. Все же я рассчитал, что если бы все поезда везли топливо, например, донецкий уголь, то и в этом случае энергия топлива, которую дорога таким образом передавала бы на север, была бы меньше, чем энергия, передаваемая по сталь-алюминиевому проводу высоковольтной линии Донбасс — Москва. Следовательно, если говорить о переброске энергии, то электропередача — это более мощный вид транспорта, чем железная дорога.

Сейчас я в Москве. Чтобы закончить путешествие вдоль европейского высоковольтного кольца, мне остается только проехать от Москвы до Куйбышева. Это будет началом большого путешествия на восток. Я опишу его в следующей корреспонденции. Поеду я по старой автостраде, но воспользуюсь новым, только что введенным здесь видом дальнего транспорта— автоматическим электробусом без водителя.

5. СИБИРЬ

Я последним вошел в электробус восточной линии. Фотоэлектрический счетчик повернул стрелку указателя на деление, отмеченное движком. Этот счетчик управляет пуском машины после остановок в пути. Он отпускает тормоза, когда в машину войдут все пассажиры. В Москве и на основных станциях машину удерживает другой тормоз, выключаемый по радио из диспетчерской в минуту, указанную расписанием.

Машины отходят каждые пятнадцать минут.

Машина тронулась и пошла очень быстро. Впереди развертывалась широкая страда, покрытая желтоватым матовым составом. По сторонам стоял дремучий лес. Пересекавшие страду дороги проходили под ней в тоннелях.

Вскоре показался Куйбышев, где я был совсем недавно. На левом берегу Волги находился пункт, где к высоковольтному кольцу, соединявшему Москву, Волгу и Украину, примыкала электронная магистраль на восток. В дальнейшем страда пошла вдоль этой магистрали по направлению к Уралу. Меня поразило обилие воды. Один за другим появлялись каналы, водохранилища, акведуки, плотины. Непрерывная шеренга гидротехнических сооружений, набережных, мостов, электрифицированных предприятий и садов тянулась от Волги к Уралу и дальше по Сибири.

В Челябинске я остановился на несколько дней и летал в Магнитогорск, а затем в Свердловск и дальше на север. Эти полеты позволили оценить все значение электропередачи для индустриального развития Урала. Сейчас на Урале добываются сотни различных ископаемых. Большинство их является сырьем для электроемких производств. Впрочем, и старая уральская черная металлургия уже давно стала электроемким производством благодаря электро-доменному процессу, плавке железа и стали непосредственно из руды, распространению высокочастотных печей и т. д. Энергетические ресурсы Урала не обеспечили бы освоения его рудных богатств без переброски энергии из Сибири и в первую очередь из восточной части Урало-Кузнецкого комбината.

Когда автострада спустилась с Урала, гидротехнических сооружений стало еще больше. Они были частью осуществленной в продолжение пятой и шестой пятилеток гидротехнической системы Сибири и Казахстана. Эта система перебрасывает воду из бассейна Ледовитого океана в бассейны Каспийского и Аральского морей и казахстанских озер.

Проехав через Курган, Омск и Новосибирск, я остановился в Кузнецком бассейне, где осмотрел большие предприятия в Кузнецке и Кемерове. Уголь здесь далеко не везде сжигается в пластах, значительная часть его добывается гидромониторами и экскаваторами. Уголь этот поступает на обогатительные фабрики, в коксовые печи и на заводы искусственного жидкого топлива. Отходы этих производств — штыб, шламы, полукокс — сгорают в топках теплоэлектроцентралей. Летом, когда теплоэлектроцентрали нагружены слабо, электроснабжение Кузнецкого бассейна базируется на гидроэнергии.

Крупные гидростанции расположены недалеко от Кузнецкого бассейна, в Северном Казахстане. Наиболее мощные установки выстроены на Иртыше. Их восемь, мощностью свыше 2,5 миллиона киловатт и с выработкой около 15 миллиардов киловатт-часов. Самая старая из них — Усть-Каменогорская ГЭС мощностью в 300 тысяч киловатт, с выработкой 1,5 миллиарда киловатт-часов — начала строиться еще в третьем пятилетии. Плотины станций со-

здали глубоководный путь по Иртышу. Они же обеспечили самотечное орошение 452 тысяч гектаров пшеничных и свекловичных массивов Бель-Агач-Коростельской степи, прииртышской полосы Кулундинской степи — 320 тысяч гектаров и Южно-Иртышской степи — 965 тысяч гектаров.

Наконец, машина подошла к Иркутску. Я вышел и направился к находившемуся невдалеке аэродрому. Хотелось сразу осмотреть знаменитые ангарские гидростанции. Небольшой самолет регулярно совершал круговой рейс над основными сооружениями. Я подождал, и через двадцать минут мог наблюдать расстилавшуюся внизу панораму ангарского района. Самолет шел очень низко над Ангарой. Было хорошо видно скалистое дно реки. Появилась Братская гидростанция мощностью в 2,5 миллиона киловатт. Дальше шли почти такие же большие станции в нижнем течении Ангары и на Енисее. Всего здесь работает 11 гидроустановок, которые дают 75 миллиардов киловатт-часов в год. Большая часть этой энергии идет на электрохимию и электрометаллургию. Чтобы дать представление о значении Ангары для новой технологии, достаточно указать, что продукция этих отраслей в Ангаро-Енисейском комплексе уже в 1953 году превысила продукцию всего остального мира.

Сооружение Ангарской станции и заводов явилось переломным моментом в начавшейся гораздо раньше перестройке экономической географии мира. В 30-х годах преобладание по гидроэнергии, спецсталям, алюминию, пластмассам и синтетической ткани еще не означало бы, что данный район стал индустриальным центром мирового значения, но сейчас именно водород, а не уголь, электросталь и алюминий, а не железо, синтетический шелк, а не хлопок решают дело. Индустриальное развитие Сибири связано с новой технологией, воплотившей в производственную практику великие физико-химические открытия первой половины нашего века.

После станций нужно было побывать на Иркутском алюминиевом комбинате. По аллее, окаймленной столетними кедрами, я дошел до электролитического цеха. Везде бросалась в глаза абсолютная чистота территорий, зданий и воздуха, что свидетельствовало об отсутствии потерь вещества. Нормальная температура указывала на отсутствие тепловых потерь. В электролитическом цехе работало сравнительно много инженеров — человек десять. Но ни один из них не регулировал работу автоматов. Уйди они из цеха — работа продолжалась бы столь же четко. Я спросил одного из них о характере работы инженеров в этом полностью автоматизированном цехе.

— Здесь идет самая напряженная работа, — отвечал он. — У нас тут нет ни одной свободной минуты. В других, менее автоматизированных цехах еще можно кое-когда спокойно наблюдать за ходом процесса. У нас об этом не думаешь.

— А что же вы делаете?

— То, чего не могут делать машины.

— Но у вас тут машины, кажется, все могут делать, — возразил я.

— Как сказать! Электролитические ванны автоматически наполняются, автоматически включается ток; по получении жидкого алюминия последний сам выливается в формы. Когда металл остывает, термоэлементы раскрывают формы и ставят литье на конвейер. Но машины не могут сами перейти к другому процессу, более совершенному. Мы здесь и наблюдаем за производством, с тем чтобы непрерывно переходить к улучшенным технологическим процессам. Сегодня, например, мы решили, каким образом понизить силу тока в ваннах, и это сэкономит около 500 киловатт-часов на тонну металла.

Будучи в Братске, я совершил короткую, но интересную поездку на север вдоль линии переменного тока. Эта линия после Лены раздваивается на два направления. Я избрал то, которое идет к Индигирке. На берегу океана находятся бутанные станции, сыгравшие громадную роль в освоении севера. Они используют полярный холод для получения тепла, света и силовой энергии. Предложение Бархо, то-есть использование разности температур арктического воздуха (примерно, — 40 градусов) и воды подо льдом (от 0 до 4 градусов) не получило на Западе сколько-нибудь широкого применения. У нас арктические станции насчитываются сейчас сотнями. Они снабжают энергией почти все предприятия, небольшие города и зимовки советского севера.

Устройство арктической бутанной станции несложно. Подо льдом находится резервуар, где бутан смешивается с ледяной, но сравнительно «теплой» водой (бутан не растворяется в воде). Здесь бутан кипит, и пары его идут в турбину, а затем в конденсатор. В последнем бутан охлаждается не непосредственно воздухом, а особым холодильным рассолом, замороженным на воздухе.

В свое время предложили присоединять бутанные установки к обычным тепловым станциям. Это было реализовано в Кузбассе и в районах добычи золота. Здесь бутан в зимнее время испарялся теплом конденсирующегося водяного пара. Подобным же образом была осуществлена нижняя ступень Московской кватринарной станции.

Вернувшись в Братск, я встретил там Ирину Геворкян, знаменитую изобретательницу нового метода получения металличе-

ского линния. Затем поехал дальше, на Дальний Восток. Здесь самым интересным было новое устье Амура. В продолжение тысячелетий, вплоть до конца 40-х годов нашего века, течение Амура, подойдя почти вплотную к океану, поворачивало на север, и Амур впадал в океан севернее, там, где океан замерзает. Амурская плотина направила течение великой реки в незамерзающую часть океана, создала энергетический центр миллионной мощности и углубила водный путь по Амуру.

6. ФОТОЭЛЕМЕНТЫ И АВТОМАТИЗАЦИЯ

После объезда гидростанций я не мог представить себе другого столь же интересного маршрута. Но судьба готовила мне новое, не менее увлекательное путешествие. Начать с того, что сейчас оканчиваются последние сутки 1960 года, а 1 января 1961 года я вылетел из Владивостока сюда, в Москву.

Во Владивостоке я остался после путешествия вдоль единой высоковольтной сети и прожил там до декабря. В декабре я получил сообщение о том, что мне придется быть единственным корреспондентом, единственным пассажиром и вообще единственным человеком на автоматическом стратоплане «СССР-280» при первом его полете, приуроченном к новогодней ночи.

Автоматический перелет в стратосфере является вершиной современной техники. Здесь объединились два самых крупных технических достижения середины века — завершение автоматизации и переход к новой металлической базе.

Предпосылкой автоматизации автотранспорта и авиации был переход от двигателя внутреннего сгорания к электромотору. В начале 40-х годов на автомобилях обычно устанавливались поршневые водородные моторы, а позже водородные турбины. Переход к водороду был продиктован охраной чистоты городского воздуха. Но и с энергетической стороны водород был самым рациональным топливом. В эти годы топливо рассматривали как аккумулятор энергии и сравнивали различные виды топлива со стороны коэфициента полезного действия аккумулирования, портативности аккумуляторов и т. д. В этом отношении водород, который может, сгорая, отдать с высоким коэфициентом полезного действия энергию, затраченную при электролизе воды, далеко превосходил другие виды топлива. На автомобилях водородные двигатели господствовали почти безраздельно, но в авиации они были распространены гораздо меньше.

Когда строили большую транссибирскую автостраду, предполагали, что по ней будут ходить машины с водородными двигателями. Были запроектированы колонки для газа, газохранилища, ремонтные мастерские и другие механизмы. Они оказались ненужными после открытия внутриатомной аккумуляции (1948 г). На основе этого открытия были получены легкие аккумуляторы. Каждый из них весил около двух килограммов и аккумулировал несколько сот тысяч киловатт-часов, иными словами, мог служить без перезарядки источником энергии для стосильной машины, непрерывно работающей в течение нескольких месяцев.

После этого водородные двигатели, да и вообще двигатели внутреннего сгорания на автотранспорте и в авиации, стали вытесняться электродвигателями. Переход к электродвигателю был первой предпосылкой автоматизации. Второй предпосылкой было осуществленное еще в 30-х годах электрифицированное управление самолетами и автомобилями. Нужна была третья предпосылка — абсолютно надежные и быстро действующие фотореле, — и задача полной автоматизации могла быть решена.

Я хорошо знал создателя безинертных фотореле — Сергея Амосова, когда он учился в Московском энергетическом институте на электрофизическом факультете. Уже в вузе он был охвачен одной идеей— идеей автоматизации производства. Он физически страдал, когда видел изнурительный механический, нетворческий труд. В Энергетическом институте Амосов занялся вакуумными приборами. По окончании института он был командирован в Америку. Здесь Амосову пришлось встретиться с первыми применениями фотоэлементов.

Фотоэлементы того времени состояли из светочувствительной пластинки, с поверхности которой под влиянием света срываются электроны, в силу чего возникает слабый электрический ток, усиливающийся во много раз и включающий электрическую цепь [1].

Сергей Амосов был на Чикагской выставке и видел, как под влиянием луча показавшейся звезды фотоэлементы включали освещение и силовые установки выстав-

---

[1] Обычные фотореле представляли собой электронную трубку со светочувствительным катодом. Последний испускает электронную эмиссию, пропорциональную световому потоку. Установка с пилотронами повышает ток реле до такой степени, чтобы он мог включить контактор. Усилитель и контактор часто помещались в стороне от фотореле. Такая установка действовала в течение 0,1 секунды. Наряду с фотореле применялись тиратроны в виде трех электродных ламп, наполненных парами ртути. В сущности это были ртутные выпрямители с регулирующей сеткой. Даже самый слабый ток в сетке (меньше 0,000 000 000 000 000 001 вольта) приводил тиратроны в действие. Очень часто фотореле соединяли с тиратроном, то-есть ток, вызванный светом в фотореле, пропускали через сетку тиратрона и изменением этого тока регулировали ток, протекающий через тиратрон.

ки. Он видел, как на американских фабриках фотоэлементы автоматически бракуют слишком прозрачную бумагу, регулируют работу котельных по цвету дыма, сортируют сигары, кофе и апельсины, включают свет в витринах при появлении прохожих и т. д.

По возвращении в СССР, Амосов поставил перед собой задачу сделать электровакуумные приборы, тиратроны и фотоэлементы орудием для полной автоматизации всех основных технических операций. 40-е годы были годами «электровакуумной революции» в технике. Здесь широко развернулись природные способности Амосова. В конце концов ему удалось изобрести носящее его имя безинертное реле, которое реагировало на любые возбуждения (световые любых частот, тепловые, звуковые) неизмеримо быстрее и точнее, чем человек.

Реле Амосова решили проблему автоматического воздушного транспорта. Уже в 30—40-х годах была разработана система автоматического постоянства курса самолета и его продольной устойчивости. Звуковые и световые сигналы действовали на реле управления, как только самолет отклонялся от правильного курса. На самолетах были установлены жироскопы, и каждое отклонение самолета от нормальной оси включало моторы продольной стабилизации. Но все это лишь помогало пилоту и в крайнем случае позволяло летать без пилота с большой опаской. Перелом был вызван безинертными реле. Они обеспечивали абсолютную точность и безопасность полета.

В свое время большой интерес был вызван кругосветным беспосадочным перелетом автоматических самолетов. Облетев без пилотов земной шар, самолеты 14 августа 1955 года влетели в свои ангары. Во время их полета взгляды всех граждан Союза были прикованы к телевизорам. Наконец, теперь было решено пустить автоматический воздушный корабль без водителя в стратосферу. В первый рейс не брали пассажиров. Я был единственным обитателем корабля.

Опишу в двух словах внешний вид и устройство «СССР-280». Он имеет вид сплюснутой сигары около трехсот метров длины и ста метров ширины. Высота его в самом высоком месте — 30 метров. По своей величине «СССР-280» значительно превышает существующие стратопланы. Рассчитанный на кругосветные и вообще длительные путешествия, он напоминает летающий корабль только в том случае, если под кораблем подразумевать океанское судно с большой электростанцией, площадками, салонами, кафэ, множеством кают, бассейном, концертным холлом и библиотекой. В передней части «СССР-280» расположен машинный зал. Здесь стоит пять электродвигателей по 10 тысяч киловатт каждый. Корабль движется со скоростью от 1 000 до 1 500 километров в час на высоте 20—40 километров. Сервомоторы, то-есть электродвигатели, приводящие в движение рычаги управления и прочее оборудование центральной кабины, соединены с одной стороны с фотоэлектрической рубкой, а с другой — с радиоприборами. Я сидел почти все время в библиотеке, читал, вспоминал прошлое, думал о будущем. Обстановка благоприятствует техническим и историческим обобщениям, навеянным автоматической техникой «СССР-280».

7. ЛИННИЙ

Автоматизм это только одно из технических достижений, реализованных в этом стратоплане. Он не мог бы двигаться со скоростью, превышающей на параллели Москвы скорость вращения земли, если бы не был сделан из нового металла, именно из линниевого сплава, если бы этот металл не был получен новыми путями, если бы современная техника не создала новую металлическую базу для машиностроения.

Мне кажется, что переход к новым металлам и, в частности, получение линния разложением атомных ядер связаны с самыми основными вопросами современной коммунистической культуры.

В самом деле. Сейчас уже уничтожена противоположность между умственным и физическим трудом. Давно уже нет рабочих, не получивших высшего технического образования. С другой стороны, на передовых предприятиях вмешательство в работу автоматов рассматривается как пережиток прошлого. Современные фотоуправляемые машины могут сами начинать работать, останавливаться, изменять скорость, направление, напряжение, давление, температуру, освещение и т. д. — без человека, повинуясь ритму технологического процесса. На Ангарском комбинате я видел, что эти машины могут делать все, кроме единственного: они не могут изменять объем производства и переходить к другому технологическому процессу. Именно эта подлинно творческая и революционная функция стала основной производственной функцией людей, после того как фотоэлементы завершили автоматизацию.

В значительной степени стерлась грань между эксплоатацией и реконструкцией. Исчез разрыв между промышленной лабораторией, вырабатывающей новый технологический метод, и производственным цехом. Мысль работника, освобожденная от заботы об автоматической работе машин, направилась по пути творческих поисков все более совершенных конструкций и процес-

сов. Отсюда непрерывное и непрерывно ускоряющееся нарастание производительности труда и власти человека над природой.

Этот безостановочный взлет стал нормальным состоянием советских граждан. Как смешны сейчас мещанские тревоги и прогнозы о «пресыщении» свободного и счастливого человечества! Сталинская эпоха ежедневно приносит нам новые и новые победы. Их сила, масштаб и значение непрерывно растут. Непрерывный рост наших потребностей, наших знаний, силы нашего творчества, нашей власти над природой делают неувядаемым и свежим ощущение счастья и глубокой благодарности великому творцу коммунизма.

Непрерывная технологическая реконструкция ведется людьми нового типа. После уничтожения противоположности между умственным и физическим трудом, после подъема культурно-технического уровня рабочих до уровня инженерно-технических работников на наших глазах решается другая задача. Мы можем говорить о подъеме всех работников на уровень Эдисона и других гениальных новаторов техники. В наше время уничтожается деление людей на инженеров-эксплоатационников и инженеров-новаторов. Это началось первым поколением стахановцев. Сейчас происходят непрерывные коренные изменения в самом технологическом процессе, привлекаются все новые и новые виды сырья и возникают новые виды продукции. С этим связан глубокий политехницизм, характеризующий современного инженера. В основе всех отраслей все осязательнее проступают единые физико-технические принципы и законы. Это принципы и законы электричества, и поэтому сейчас прямо или косвенно все инженеры Союза являются электрификаторами.

Действительно, все они решают основную проблему нынешнего этапа электрификации. Она сводится к следующему. Молодая рациональная технология отказывается от характерного для старой техники химического расточения энергии. Ликвидируется противоречие между энергетическим балансом реакции и энергетическим балансом ее инженерного оформления. Ведь раньше обычно процесс, который выделял энергию, технически осуществлялся таким образом, что требовал энергии со стороны. Вместе с этим старые низкие потенциалы — напряжения, температуры и т. п. — были источниками больших энергетических потерь. Нам бы пришлось вырабатывать триллионы киловатт-часов, чтобы дать современную промышленную продукцию при старых нормах потребления энергии.

Примером новых технических задач и их энергетического значения является получение линния путем бомбардировки атомных ядер углерода, достигнутое Ириной Геворкян в 1957 году.

Ирина Геворкян родилась в 1938 году. Когда она начала работать на Ангарском алюминиевом комбинате, даже кнопочный пульт стал анахронизмом. Проблемы, волновавшие поколение Сергея Амосова, были уже решены. Ирина заинтересовалась вопросами экономики сырья и энергии. Она поставила перед собой задачу перейти от электролитического получения линния[1], требовавшего тогда 50 тысяч киловатт-часов на тонну и ценного и редкого сырья, к более экономному способу. В это время сильные магнитные поля уже позволили получить целый ряд металлов электронной бомбардировкой. Освобождение внутриатомной энергии не открыло еще человечеству этого неисчерпаемого энергетического источника. Получение энергии путем бомбардировки ядра, когда распад его вызывается лишь ничтожной частью затраченной энергии, нерационально. Получается приблизительно столько же энергии, сколько ее затрачивается на бомбардировку. Но это позволило, во-первых, решить проблему аккумулирования энергии и, во-вторых, превращать элементы один в другой с совершенно незначительными затратами энергии или даже с «даровым» получением новой энергии. Процесс Ирины Геворкян использует сложный и многократный распад ядер, так как непосредственное превращение требует редкого и дорогого сырья. Освобождающаяся энергия несколько меньше затраченной, и на тонну линния приходится тратить около 600 киловатт-часов.

По сравнению с электролитическим процессом затрата энергии уменьшилась в сто раз. Поэтому линниевые сплавы стали основой новой машинной техники.

Что дал линний машиностроению? Он в три раза легче алюминия, он превосходит другие металлы по упругости, твердости, сопротивлению на разрыв, изгиб и сжатие. Он отличается высокой электропроводностью. Поэтому внедрение линния вызвало переворот в технической оснастке всех отраслей хозяйства. Был построен проволочный мост через Неву, о котором мечтали тридцать лет тому назад. Новые электропередачи со своими легкими, изящными мачтами строятся из линния.

Линниевые конструкции преобразили облик машин, зданий, мостов, дорог и авиации. Какими тяжелыми кажутся теперь не только Эйфелева башня, но даже мачты транссибирской передачи!

Но дело не только в этом, изобретение

[1] Линний был открыт в СССР в 1954 году при разработке месторождений бериллия, который он напоминает своим внешним видом и некоторыми физическими и химическими свойствами.

Ирины Геворкян является началом новой главы в истории техники. Мы ведь еще не завершили химизацию производства. Мы еще не можем построить любую молекулу из составляющих ее атомов и получить таким образом любое сложное вещество из его элементов, взятых откуда угодно. Правда, уже давно мы носим синтетические шелковые ткани из древесины. С давних времен мы получаем синтетический бензин, каучук и т. д. Но этот процесс еще далеко не закончен.

Между тем открывается новая возможность — строить и создавать не только молекулы, но и самые атомы. Изобретение Ирины Геворкян именно в этом и заключается. В будущем мы будем создавать все из всего, будем составлять любые атомы и любые молекулы из первичных известных нам кирпичей мироздания — электронов, нейтронов и т. п.

Новая технология не только вырабатывала продукцию при несравненно меньших затратах энергии. Сама продукция была рычагом для решительного снижения необходимой энергии и мощности. Время тяжелых и грозных конструкций прошло. Особенно ярко это видно на примере транспорта. Изобретение Ирины Геворкян позволило уменьшить вес автомобилей до 200 килограммов. Что же касается до рутений — роди-линниевого сплава, то сделанные из него новейшие машины обладают весом в 50 — 80 килограммов и их десятисильные моторы обеспечивают двухсоткилометровую скорость на обычных дорогах и четырехсоткилометровую — на специальных. В свою очередь и высокие скорости уменьшили вес конструкций. С переходом скорости самолетов за 1 000 километров в час, отпала какая-либо необходимость в крыльях. Сопротивления самой кабины при такой скорости достаточно, чтобы поддерживать самолет в воздухе.

Я рассказал о технических предпосылках автоматического полета в стратосферу и о значении этих предпосылок для современной культуры и техники. Что же сказать о самом перелете? В том-то и все дело, что он не отличался от обычного. Отсутствие водителя никак не сказалось на характере полета. Но что чувствовалось в полете и особенно в конце его — это необычайная скорость движения.

8. СОРОК ЛЕТ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

Под стратопланом быстро проносились районы Сибири. «СССР-280» придерживался трассы восточной высоковольтной магистрали. С высоты 30 километров ночью можно было очень наглядно видеть тяготение производства к электропередаче. При ночном полете над Сибирью земля кажется перевернутым звездным небом. Миллионы огненных точек, приближаясь к трассе электропередач, становятся все гуще и сливаются в светящийся потолок—наш земной млечный путь. Линии освещенных плотин Ангары сменились искусственными солнцами цитрусовых рощ Сибири и, наконец, огнями Урала.

Я вспоминал сорокалетний путь электрификации. Панорама сверкающей страны напомнила по контрасту книжку Герберта Уэллса «Россия во мгле». В библиотеке стратоплана эта книжка стояла на полке рядом с томиком плана ГОЭЛРО. Книжка Уэллса описывает его приезд в Россию в 1920 году. Наша страна переживала тяжелую зиму: фронты, разруха, голод, эпидемии... «К 1920 году Россия представляла собой еще невиданную картину современной цивилизации, находящейся в состоянии полнейшего упадка. Железные дороги ржавели и постепенно выходили из употребления, города разрушались», записал Уэллс в свой блокнот.

В это время партия Ленина — Сталина выдвинула смелую идею электрификации советских республик. Сейчас, в связи с годовщиной ГОЭЛРО, многие вспоминают письмо Ленина в январе 1920 года, где Ильич предлагал: «...в 10 (5) лет построим 20 — 30 (30 — 50) станций, чтобы всю страну усеять центрами на 400 (или 200, если не осилим больше) верст радиусом, на торфе, на воде, на сланце, на угле, на нефти...». В том же году государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО), согласно указаниям Владимира Ильича, разработала план электрификации, утвержденный VIII съездом советов. Этот план Ленин считал второй программой партии. Великий соратник Ильича Сталин называл план ГОЭЛРО «единственной в наши дни марксистской попыткой подведения под советскую надстройку хозяйственно отсталой России действительно реальной и единственно возможной при нынешних условиях технической базы».

В книжке Уэллса есть глава, которая называется «Кремлевский мечтатель» («The dreamer in the Kremlin».) Здесь описана встреча с Лениным. Следующий отрывок посвящен электрификации:

«Ленин хоть и отрицает, как правоверный марксист, всякие утопии, но в конце концов сам вдался в электрическую утопию. Он всеми силами поддерживает план организации в России гигантских электрических станций, которые должны обслуживать целые области светом и силовой энергией для транспорта и промышленности. Он уверял меня, что в двух районах это уже осуществлено. Можно ли вообразить более смелый проект в обширной плоской стране с бесконечными лесами и неграмотными

мужиками, с ничтожным развитием техники и умирающей промышленностью и торговлей? Такого рода электрификация существует уже в Голландии, говорили о ней и в Англии, и весьма возможно, что в этих густо населенных и промышленно развитых странах она увенчается успехом и окажется делом полезным и экономным. Но вообразить себе применение ее в России можно лишь с помощью очень богатой фантазии. Я лично ничего подобного представить себе не могу. Но этот маленький человек в Кремле, повидимому, может...»

Чем дальше отходит от нас время, когда Уэллс писал эти строки, тем комичнее становится положение действительно маленького человека — автора фантастических утопий, которому нехватило воображения для того, чтобы понять творческую мечту гиганта. Сейчас, во времена развернутого коммунизма, мы с гордостью вспоминаем ленинскую формулу: «Коммунизм—это есть советская власть плюс электрификация». Ленинский замысел выполнен. Весь мир увидел, что большевики—это особые люди и мечты у них особые. Они претворяют свои мечты в планы. Они превращают идеалы лучших умов человечества в твердые научно обоснованные проекты и по этим проектам изменяют и обновляют лицо нашей старой планеты. Наши мечты—исходный пункт переделки мира, они развиваются в планы и проекты и затем осуществляются. В этом смысле вполне правильно написано в майском номере «Электричества», который я также перелистал и который был посвящен годовщине пуска волжских гидростанций: «В СССР мечта — это начальная стадия проектирования» («Электричество», 1960, III, стр. 14).

КАК ЭТО ПРОИЗОШЛО?..

Жизнеописания польских крестьян

ПРЕДИСЛОВИЕ

В 1935 году в Варшаве вышла любопытная книга. Варшавский институт общественного хозяйства объявил среди польских крестьян конкурс на жизнеописание крестьянина. В ответ на это приглашение было прислано пятьсот написанных руками крестьян записок, из которых институтом были отобраны и напечатаны пятьдесят. Получилась такая всесторонняя и такая страшная картина, что инициаторы этого дела, польские буржуазные общественные деятели, повидимому, сами испугались того, что они должны были представить читателю, хотя издание и не было предназначено для широких кругов. Нет! Это книга, затеянная со «строго научными целями», нумерованная и без указания цены. Тем не менее напечатать в ней все, что писали о себе и о своих настроениях крестьяне, для буржуазных ученых не представлялось возможным. Рукописи редактировались под совершенно определенным углом зрения.

«...В нескольких случаях,—пишет один из составителей и автор предисловия, Л. Крживицкий,— мы принуждены были по необходимости устранить места, в которых мемуаристы делали экскурсы в область совсем не хозяйственных проблем. Мы делали это, прежде всего, по причине слишком резких выражений, к сожалению, представляющих самую суть выводов. Мы говорим: по необходимости, так как своей лапидарностью они давали ясное понятие о том, какие настроения кипят и клубятся в сознании мужика».

После составителей над сборником, повидимому, поработала еще цензура, оставив после себя по полстранице многоточий, заменивших текст. Но и несмотря на всю эту «смягчающую» работу, получилась картина не только условий жизни крестьянина, перед которой даже ужасающие условия крестьянской жизни в царской России должны показаться относительным благополучием, но и крестьянских настроений,— картина, полностью объясняющая молниеносный распад польского государства от первого прикосновения извне. В существовании этого государства не были заинтересованы не только 40% населяющих территорию бывшей Польши национальных меньшинств. Его гибели с нетерпением ждали и польские трудящиеся всех слоев: крестьяне, батраки, рабочие. Один из крестьян пишет о своем ограбленном, находящемся на грани голодной смерти соседе:

«Теперь он приходит ко мне каждые два дня и спрашивает, не предвидится ли какая война или революция. И не только он — все в деревне молят бога, чтоб была война или что-нибудь другое, только бы жизнь переменилась».

Другой, вполне «благонадежный» и даже когда-то сравнительно очень зажиточный крестьянин, в свое время дравшийся за «свободную» Польшу, пишет:

«...дело плохо, хуже чем полагают самые лучшие политики, потому что хуже всего то, что общество, главным образом деревенское население, становится пассивным, впадает словно в летаргический сон, перестает реагировать на все. Ему все равно, получит ли оно еще одним ударом больше или меньше... Народ наш сейчас болен, он словно отравлен и похож на человека, который завяз в трясине и, пока у него были силы, пока он надеялся, что спасется, то рвался, старался любой ценой спастись, напрячь последние силы, рассчитывая, что, может быть, кто-нибудь придет на помощь, и тогда малой помощью его можно было бы оттуда спасти. Но когда он уже потерял силы, потерял всякую надежду и, наконец, потерял сознание, — тогда уже нужно чрезвычайное усилие, чтобы вытащить его, потому что он уже перестал реагировать. В подобном состоянии находится крестьянство...»

Один всеобщий вопль несется со страниц всех этих крестьянских «мемуаров»: «Дальше так жить нельзя — вымираем!»

Пятьдесят жизнеописаний, помещенных в сборнике,—это история пятидесяти разорений крестьянского хозяйства, разорений типичных и всеобщих, история организованного ограбления всего крестьянства. Нет ни одного жизнеописания среди этих пятидесяти, где бы главным действующим лицом не был судебный исполнитель, распродающий остатки жалкого крестьянского имущества и выбрасывающий крестьянина с детьми на улицу, на голодную смерть. Это — неизбежный конец всякого крестьянина, жившего на территории бывшей Польши, конец неизбежный, несмотря на каторжный труд, на голодную жизнь, на напряжение всех сил, чтобы как-нибудь удержаться на земле.

Как это произошло?

Малоземельным и безземельным крестьянам предложили землю на выплату в то время, когда земля была дорога и цены на сельскохозяйственные продукты стояли высокие. Им предложили ссуды в государственных и крестьянских банках. Изголодавшееся по земле крестьянство жадно ухватилось и за землю, и за ссуды. Оно покупало, несмотря на дороговизну земли, несмотря на ростовщические проценты, которые приходилось платить. (Государственные ссуды давались из 12—18% годовых, но их нехватало, приходилось брать частные ссуды, а за них брали 4—6% в месяц, т. е. иногда 72% в год.) Крестьяне не жаловались и на это. Лишь бы дорваться до земли! Каторжным трудом, отказывая во всем себе и детям, они надеялись расплатиться, удержать эту, политую кровавым потом, землю.

Но тогда, в угоду крупным трестам и земельным магнатам, был до предела завинчен налоговый пресс. Вследствие бездарно проводившейся протекционистской политики стали катастрофически падать цены на сельскохозяйственные продукты, на скот, на землю. Участок и живой инвентарь, купленные, скажем, за 10 тысяч злотых и, вследствие ростовщических процентов, обошедшиеся крестьянину в 20 тысяч злотых, падали в цене вдвое, втрое и стоили 3—5 тысяч злотых. Соответственно падали цены и на сельскохозяйственные продукты. Таким образом, всей продукции крестьянина нехватало

даже на то, чтобы уплатить налоги и проценты. Работать на участке приходилось в убыток, голодая и постепенно разоряясь. Расстаться же с приобретенным участком было уже невозможно, потому что продажа его по упавшей цене не давала возможности расплатиться с долгами.

Крестьянин превращался в бесплатного батрака на государство, на помещика, на капиталистический трест, превращался хуже чем в крепостного. Голодная смерть его и его детей никого не интересовала и не пугала.

«Много, много таких семей, что пекут хлеб только в жнитво. сразу из новины, а потом уже только по большим праздникам, то-есть четыре или пять раз в год. А ребенку в школу вместо хлеба мать дает пару печеных картошек. О сахаре говорить не стоит: некоторые еще себе позволяют на большой праздник купить хоть четверть кило, а больше таких, которые совсем забыли, какой в сахаре вкус».

Крестьяне в панской Польше забыли вкус не только сахара. Они принуждены были есть без соли, потому что ее не на что было купить, сидеть в темноте, в нетопленных, холодных избах, ходить босиком и в таком истощенном состоянии работать по восемнадцать часов в сутки, чтобы уплатить налоги и проценты.

Об этом положении пишут все крестьянские мемуаристы. Какие огромные душевные страдания выражены в их рассказах, какое безмерное отчаяние, которое каждый из них выражает по-своему, но которое у всех одно! Особенно характерно в высказываниях крестьян то, что, будучи очень далеки от понимания множества политических вопросов, они очень хорошо поняли механику своего разорения, как результат огромной социальной несправедливости, наглой, хищнической эксплоатации.

Приступая к печатанию некоторых отдельных жизнеописаний и отрывков из них в переводе на русский язык, нельзя не сделать нескольких замечаний.

Прежде всего о некоторых противоречиях выражающейся в мемуарах психологии польского крестьянина. Советского читателя, вероятно, поразит в них в первую очередь соединение очень высокой культуры слова. способности к ясному выражению мысли, поэтической силы этого выражения и безграничной темноты, полного отсутствия понятия обо всем, что выходит за пределы узко ограниченной крестьянской жизни.

Но это лишь еще одно свидетельство преступлений. совершенных польской государственностью над своим народом. Польское крестьянство, неимоверно трудолюбивое, живое, любознательное, искусственно держали в темноте, отгораживая его от всякого живого слова, не давая проникать в его среду никаким сведениям о жизни других людей и других стран. с детства набивали его головы всевозможными выдумками и социальными предрассудками. Нищета довершала остальное. Таким образом, в жизнеописаниях крестьян отражается не только ужасающая материальная жизнь, голод и вымирание, побои и произвол, но и страшная картина живых, талантливых умов, бьющихся в полном мраке, в оковах невежества.

Мы старались в переводе сохранить индивидуальный стиль речи каждого крестьянина, хотя советскому читателю он может показаться странным, иногда даже неправдоподобным, благодаря смеси литературности. иногда подлинной высокой поэтичности, с неграмотными оборотами и наивными выражениями.

В некоторых случаях советский читатель, особенно молодой, будет удивлен смесью революционности и реакции во взглядах, выражаемых авторами жиз-

неописаний. Но не надо забывать о том, что лишенный руководства темный крестьянин в поисках выхода не может самостоятельно притти к последовательно революционным взглядам. Если же он, благодаря тем или иным благоприятным обстоятельствам, доходил до таких взглядов, то его жизнеописание не включалось в сборник буржуазными составителями. Большинство помещенных в нем мемуаров интересно именно тем, что они представляют настроения, мысли, стремления далеко не самого передового слоя крестьянства, а именно общее настроение, в том числе и религиозного крестьянства, несмотря на свою ненависть к жадности католического духовенства, испытывающего сильнейшее влияние этого духовенства.

Поэтому мы не выбирали для перевода наиболее политически сознательных крестьянских авторов, а лишь наиболее характерные жизни, причем в разных областях бывшего польского государства. Конечно, особенно интересно будет советскому читателю познакомиться с историей горьких злоключений обитателей ныне освобожденных Красной армией областей Западной Белоруссии и Западной Украины.

Имена и фамилии авторов составителями сборника не приведены.

Е. Усиевич

Крестьянин Бучачского уезда (Тарнопольское воеводство). Хозяйство на 6 моргах (около 3½ га).

Мы были свидетелями и участниками военного ремесла, откуда и пошло начало нашей судьбы. Тут уж мы увидели, к каким последствиям приводит несправедливость человеческих суждений. В несчастии мы забывали о страданиях, потому что всегда нам светила золотая звезда свободы. По обстоятельствам дикого закона множество народов на все лады устраивало игрища-избиения человеческой жизни на нашей земле. Не только той, что была на поверхности, но и землю, поля, огороды, всю мастерскую нашего труда перекопали, изуродовали до неузнаваемости ямами, рвами, устлали трупами, железом, проволокой. А окончив игру, покинули это место, это побоище, словно от отвращения. Это и есть наша родина...

Земледелец, отложив военное оружие, грустно осмотрелся на своих полосках и увидел, что вместо усадеб ему остались пепелища. Он очнулся и почувствовал душой, что он не только гражданин, но и владелец этой бедной, истерзанной родины. Придавая себе бодрости, всем напряжением своих сил и мучительным трудом, без всяких способов и орудий, он строит дома, обрабатывает поля, торопится, потому что всюду нехватает хлеба. А за работой, словно несчастье хотело еще получить проценты, тысячи заржавленных проволок впились в босые ноги земледельца, а оставшиеся гранаты, скрытые в земле, задетые железом от плуга, взрываясь, убивали беззащитного человека.

Волна военных страданий, самых разных, — я ведь не о всех здесь упоминаю, — стала спадать. Новая тревога снова, как кошмар, надвигается на нашу долю — таможенная война, кризис. «Да здравствует кризис!» кричат некоторые, а народ шепчет: «Это подлинная эксплоатация».

Если это кризис, то разве только затем он, чтобы столкнуть крестьянство на последнюю черту, откуда оно само рухнет в пропасть? Если это таможенная война, то почему не для всех? Если эксплоатация, почему такая бессовестная, такая безмерная?

Отчаяние охватывает человека!

Преступление, вопиющее к небу о мести! Отче! Петр Скарга![1] Встань, умоляем тебя, и взгляни, как ты нужен, или вдохнови своим духом кого-нибудь из народа на свое место, чтобы опомнились элементы, которые нас угнетают. Хлеб в избытке, а мы, крестьяне, — голодны. Обуви, одежды, топлива в Польше много, а нам холодно, нас грызет нищета. Нам опостылел и труд, который раньше мы любили

---

[1] Петр Скарга — духовный писатель и проповедник XVI века, громивший и разоблачавший польских магнатов за их жадность и произвол. Сторонник абсолютизма. (Прим. переводчика.)

больше жизни, с которым, по воле всевышнего, были связаны, хотя он нам и не благоприятствовал.

Природа, что раньше приветствовала нас с восходом солнца, больше не улыбается. Вообще нет жизни — погасла надежда. Как тяжко жить — нельзя описать. В других делах есть учебники и образцы, а в описании нашей жизни этого нет; поэтому, может быть, мое описание будет не совсем формальным. Некоторые говорят, что «мужик в хорошие времена разъелся, так теперь ворчит». Птичий ум у таких, понятия они не имеют, что такое земледелец и его труд! Хозяйство — это мастерская земледельца, которая в настоящее время стала бременем, так как расходы больше прихода. И что же происходит? Я говорю о малоземельном. Несмотря на напряжение всех сил, на труд, на заботы, его хозяйство падает!

Как никак, рано или поздно, приходится ему ставить хозяйственные постройки. Из-за отсутствия наличных, он ставит плохие и непрочные. Пока одну кончит, другие валятся. А расходы на них хоть и невелики, а все же есть, — вот и убыток. Чего нехватает — приходится брать в долг. Живой и мертвый инвентарь должны быть, без этого хозяйство не может существовать. Иметь настоящий инвентарь — две коровы, одну лошадку, две-три свинки и несколько кур — было бы большое счастье, если бы он был собственный, а не приобретенный на частью одолженные деньги. Но как быть? Нужна соломорезка — она стоит столько, сколько корова. Коровы жаль. Может, продать немного хлеба, а остальное в кредит? Потом, может, теленок родится, может, которую свинку продадим, заплатим. Но вот нет телеги. Телегу за корову не купить, а коня продать — на что тогда телега? Значит, продать свинью — остальное занять. Плуг необходим — за самый плохой надо дать 45 злотых, то-есть четыре центнера ржи. Значит, продать остальное и последнее питание? Плохо, — нужно опять занимать. Таких вещей много, и перечислять неохота, потому что аж голова кругом идет. Все, что необходимо, на все нехватает. А что уж самое необходимое, а получить его нельзя, — так крестьянину приходится только горевать и плакать, потому что из-за этих нехваток обида ему большая и еще больший убыток. Хозяйство непрестанно, всегда и вечно нуждается в друге, то-есть в хорошем хозяине, который его налаживает, поправляет, а это соединено с расходованием денег, которые мы получаем так непропорционально со стоимостью выработки продуктов. Деньги достаются нам так трудно потому, что у других их слишком много. Сравнение земледелия с промышленностью и торговлей совершенно окаянное. Что же делать, чтобы жить? Полы в конюшнях и хлевах часто портятся, а ведь нельзя, чтобы инвентарь пропадал в грязи. А тут не то что досок — они дороги — гвоздей не на что купить. Иметь скотину — плохо, не иметь — еще хуже. Изба обычно сделана из грязи и — само собой — тоже без пола; затхлость и сырость. Конюшни в том же роде, а сараи — одно горе: чаще всего вовсе без стен, потому что не на что купить.

Зимой — боже, смилуйся! В рваной одежонке, в плохих сапожишках выйдешь взять соломы или половы и всегда первым делом попадешь руками в снег, потому — буря не жалеет, напихает его во все дыры. Горька и молотьба цепом в таком сарае. Собака сидит на холоде без будки, жаль ее, а что поделаешь? Плохонький нужник был у нас из досок, а теперь он из соломы. Из этих досок мы сделали стол в избу, а потом из этого стола — дверцу для хлева. Так ее свинья погрызла. И опять обязательно нужен и стол, и дверца. Придется занять опять деньги, — купить, потому — вылазит свинья. На все хозяйство у нас одно ведро. В нем берем и воду для себя, и коня поим из него, и корову, и свиньям корм в нем носим, и воду из колодца черпаем. Телега и плуг гниют на дожде, негде их приткнуть, а поставить для них сарай не на что. Корм для свиней сварить не в чем, приходится чаще всего в тех же горшках и котелках, в которых для себя варим. Наплачется, наругается хозяюшка, а что поделаешь?

Страховки и налоги, которых существует больше 90 категорий, почти целиком платит земледелец, мало от каких он освобожден. Например, когда покупаешь товар у купца, он присчитывает к цене торговый налог, так что, вообще, покупаем ли мы или продаем, — все равно мы должны оплачивать и торговый и промышленный налог. Из этого множества платежей и возникают дыры в бюджете. А чего нехватает, то приходится занимать. И назанимали. Зато и судебный исполнитель то и дело появляется в деревне сам и каждые четырнадцать дней посылает свой патруль. Три злотых стоит визит исполнителя, полтора злотых — повестка — четыре с половиной злотых штрафа за то, что ты обеднел и тебе нечем платить. Человек боится этих расходов, вот и думает: может, занять? Бежит в город, а в дороге раздумывает: в город — незачем, домой ворочаться — не для чего, там судебный исполнитель ждет. Куда деваться — расступись, земля!

Великий боже! Как тяжко и мучительно

грызут все эти нехватки и недоимки. Ах, если бы можно было кусочками собственного тела платить по обязательствам, я бы охотно это сделал, чтобы откупиться от преследований. Ведь что получается? Я занял 500 злотых, чтобы купить корову, а теперь, чтобы расплатиться с этим долгом, мне надо было бы продать пять коров, так упали цены. Ради бога, умоляю понять меня. У меня две коровы в хозяйстве, я смертный человек, чудес творить не умею, за что я страдаю? Чем я виноват, за что меня рвет на куски судебный исполнитель? Я, что ли, повинен, что так случилось, что все мое хозяйство ничего теперь не стоит? Два злотых пятьдесят грошей надо платить за повестку от адвоката, паразиты вгрызаются не только в кожу, но и в душу. В таких и подобных переделках находятся все земледельцы. Все надежды очень часто не оправдываются, и потому земледельческая калькуляция весьма головоломна.

Надеешься на урожай, — что будет, что в рот положишь? Думаешь подати заплатить, долги поотдавать. Так выпадает неурожайный год из-за холода, ненастья и разлития вод!

То же и со скотом. Надеешься продать свинку, а тут болезнь заберется в хлев и по одному перетаскает поросят. А вырастишь — продавай на бэкон в Англию по 54 гроша за кило живого веса. Чудесная калькуляция — прямо слов нехватает! Или заболеет скотинка — крестьянин сам ничего сделать не может, а ветеринара не привезешь, он возьмет столько, сколько стоит половина другой, здоровой коровы. Так и предоставляешь дело судьбе и воле господа-бога, а коровенка страдает и теряет молоко. С теленком такая история: если уж посчастливится, то 6—8 злотых хапнешь за него, и только, усмехнешься горько — это на столько-то долгов, недоимок! А этот теленок должен все дыры заткнуть, когда он раз или два в год появится.

Есть и другие отрасли хозяйства. Кормление свиней, к примеру. Другая мать у себя и у ребенка ото рта отнимет, а свинье даст, чтоб скорей росла. А потом, как продаст вот по той цене, что я говорил, да отдаст деньги за недоимку, так еще и не одну слезу к этим деньгам прибавит.

Мы научились поститься, нужда требует. За проданный фунт масла можно купить полтора кило колесной мази — вот какая головоломная калькуляция. Не лучше обстоит дело и с табачными плантациями. Три четверти года работаешь над обработкой табака, питаясь надеждой, а при сдаче слышишь: «третий», «четвертый», «пятый сорт», «брак», «остальное закопать». Бедный плантатор хочет что-то крикнуть, сам не знает что, а только прошепчет: «Матерь божья, хорошо, что меня самого не закапывают». Счастливы еще те, которые, купив целую пачку махорки за 60 грошей, возвращаются домой с несколькими злотыми. Но есть другие, о которых и написать не умею, которых в воротах у выхода ожидает облава, обыск, карманная конфискация. Торгаши и казенная палата устраиваются так: посылают список должников в Управление табачной монополии, а там сразу взыскивают следуемое из платы за сданное сырье. Кто знает, сколько обид и злоупотреблений бывает при такого рода «взысканиях»?

Кто, родина наша, будет тебя кормить и защищать, если у земледельцев свободной отчизны недоля и нищета отняли физическую силу, а остатки терпения убьют в них душу и очерствят сердце?

А ведь причины этой нищеты — не тайна; если хотеть их видеть — то можно. Если земледелие упало в одно мгновение, так это только потому, что два раза на 50% падала оплата труда земледельца. То-есть таким образом: пшеница была 60 злотых, долой 50% — стала 30 злотых; долой еще 50% — было бы 15 злотых, ну, она сейчас от 16 до 17 злотых. Корова стоила 700 злотых, раз долой 50% — выходит 350, другой раз 50% — 175 злотых, а сейчас она и столько не стоит. Не падало бы в цене все, что живет и растет в Польше, не было бы и кризиса, который нас гнетет. Вот вам сравнение: на одной хорошей лошади едет польское государство, а на другой, такой же, — крестьянство. Так было перед кризисом. Проехали немного — под крестьянством лошадь падает — у него нет выхода — садится оно на корову. А корова — всякий понимает — бегает на 50% медленнее, чем лошадь. Наконец, берет командование кризис: «Равняйсь! Бега начинаются». Несмотря на все усилия сидящих на корове, корова не успевает за лошадью. Финансовые инспектора и судебные исполнители бегут на помощь, подгоняя крестьян и корову. И это не помогает, и не поможет. Я с плачем смеюсь на такое сравнение.

Льгота, предоставляемая примирительной камерой, — это такое спасение, от которого не умрешь, но и жить не будешь. Я не воспользовался ею. Изворачиваясь с долгами, я занимал в одном месте и отдавал в другое. Таким образом я выскочил из срока, который принимается во внимание примирительной камерой. А в таком положении, как я, много народу, и справиться очень трудно. Что лучше — занимать у еврея-ростовщика или в кас-

се — вот вопрос. У ростовщика — ростовщические проценты, а в кассе — неумолимый срок и протест векселей. Так плохо, а так нехорошо, — в этом и вся разница. Вдобавок счет на доллары приносит мучения одним, прибыли другим. Сейчас доллар 5 злотых 20 грошей, но или плати доллары немедленно, или продли срок и плати за доллар уже 9 злотых без 15 грошей.

Повторяю, земля — это мастерская, инвентарь — это инструменты земледельца, которые он всеми силами, трудом и экономией старается умножить и улучшить. Иногда нехватает места, нехватает земли, — эти вещи, правда, трудно добываются, но все-таки стараешься, живешь с бодростью и надеждой. Но если, наоборот, нагроможденные нехватки и обязательства — не из-за недостатка земли или кормов, а из-за злой воли — вырывают у меня половину прокорма семьи, то-есть одну корову, а у меня их всего две, то тогда все пропадает. Душевные страдания сжимаются, как пружина, но самые крепкие оковы должны лопнуть от слишком сильного напряжения. Если я за несколько дней не добуду два-три десятка злотых, чтобы заплатить недоимки, мне придется расстаться с тем, с чем я бы никогда не расстался ни за какие деньги.

Мы, крестьяне, — полуголодны, потому что содержание и сохранение хозяйства важнее, чем собственные потребности и собственный голод. В настоящее время чем кто больше заботится о хозяйстве, тем больше он непосильным напряжением вредит своему здоровью. Питание совершенно постное и очень плохое. Все жиры, какие мы получаем в хозяйстве, мы должны продавать. Жалуясь на свою долю, я имею основания. На своем шестиморговом хозяйстве я за год произвел и продал 9 штук свиней на бэкон, весящих от 90 до 100 кило, пару поросят, теленка, около 50 кило масла, и все яйца, и два центнера хлеба. Это стоило непосильного напряжения.

Что ж, я разбогател? Нет — я обеднел, потому что моим трудом богатеют другие. Продажная цена не окупает даже расходов производства. А работа очень тяжела, не ограничена часами, всегда восемнадцать часов, а то и больше, в зависимости от последних сил. Руки отдавлены, пальцы осенью болезненно растрескавшиеся от земли и грязи. Несмотря на свежий воздух, которым пользуется земледелец, он худ, желт, сгорблен трудом, ребра сжимают его легкие. Он так мучительно размышляет над своей повседневной тяжкой нуждой, что забывает дышать. А ночной отдых тоже горек: трудно заснуть и отдохнуть, потому что немеют и болят руки и ноги, и трудно повернуться на другой бок. Я видел рекламу: «Сахар укрепляет». Может и укрепляет, только не всех; меня — нет. Моя семья, состоящая из четырех человек, за год, за время болезней и праздников, потребила 1 килограмм 600 граммов сахара. Иногда мы варим из сахарной свеклы немного сладкой жижицы, когда нет молока, потому что корова не всегда доится. В этом году и этого нет, потому что вода смыла сахарную свеклу. Семья моя съедает иногда и яйцо, — раз в год, на пасху, или когда яйцо разобьется, его кладут в борщ. Но тогда оно не на пользу, потому что хозяйка очень шумит, что это убыток. И ничего удивительного, потому что ведь от этого яйца зависит, будет ли сегодня посолена пища, будет ли выстирана рубашка, будут ли в доме спичка и керосин. Яиц и так на все нехватает, — одно есть, так другого нет. Горше всего достаются соль и керосин, потому что без соли трудно проглотить пищу, а без керосина очень неудобно: осенью день короткий, а нужно и скот обрядить, и в рубашку заглянуть, а то мыла мало, белье стирается редко, а в таком белье быстро заводится живой инвентарь. Скоро, когда нажмет мороз, кончатся и яйца, эта последняя звездочка, что светит в дому. А тогда — выгреби последнее зернышко, а сам грызи стену.

Знают ли в Варшаве о том, что у нас пачку махорки режут на четыре части, так как легче купить и продать одну четверть. И что спички покупают поштучно, по четыре спички на грош, что соль покупается по десять-двадцать граммов, а керосин — по $^1/_4$, по $^1/_8$ литра, что две-три, четыре избы пользуются одной зажигалкой. Божья матерь!.. И когда это кончится?!

Приближается зима, и все боятся ее, как адских мук. Нет ни щепки, чтобы приготовить пищу, я уж не говорю, чтоб топить для тепла, — и купить не на что, и из лесу не приволочь. У кого сильная лошадь, тот еще съездит, — а это не близко — 25 километров в одну сторону,— а кто послабей — и речи быть не может, такой и с пустой телегой не доедет. А ведь камня вдоволь и столько безработных, а мы платим дорожный налог, а дороги такие, что грязь и вода затопляют телегу. Зимой полунагой крестьянин, конечно, боится холода. Домашней блузы у меня нет уже больше полугода, редко бывает целое белье, из-за отсутствия штанов я не хожу в город и в костел. Разве когда одолжу у кого-нибудь штаны, когда надо пойти на важное собрание Земледельческого общества.

Обувь — одно горе. У меня еще самая лучшая — с небольшими дырами, а семья

моя имеет, можно так выразиться, полусапожки, но не такие, как в городе, а наоборот: голенища есть, а головок нет. Постели — такие же, как обувь. Перья от домашней птицы, напиханные в какую-нибудь старую тряпку, — вот и перина. А то, чем же накрыться бедному мужику, чтобы хоть ночью немного отогреть кости? Перья лезут и высыпаются из такой перины, а наволоки купить не на что. Встав утром, мы похожи на нетопырей. У нетопыря волосы и крылья, а у нас на голове волосы, солома и перья. Перина обычно бывает семейная; она видит разное; пусть взрослые сами догадаются, что... И так воспитываются маленькие дети—это семейный очаг. Много бы об этом можно было написать, пожаловаться на то, что крестьянин не по своей вине обеднел, что ему нечем больше платить и что и это — его последнее гнездо, и даже эту кучу пера рвет и отнимает у него судебный исполнитель. Переживая такие вещи, что делается в душе?

Мать посылает ребенка в школу, осмотрит рубашонку, чтобы его что-нибудь не кусало в школе, очистит головку, повыберет перья. А ребенок плачет: «Мама, у меня нет тетради». Мать его утешает: «Нету у меня, дитятко, вот, может, завтра курочка яйцо снесет». А если не снесет?

День за днем, год за годом грустно проходят в печали, а еще ведь, помоги господи, надо пережить старость и инвалидность. Эта последняя часть жизни бывает очень горька. Она начинается тогда, когда крестьянин уже все поделит между детьми, а у самого больше нет сил работать. Все труднее становится воспитать добрых и ласковых детей, а еще труднее, при таких детях, иметь спокойную старость. Молодежь развращается. Одни по глупости, не отдавая себе отчета, а другие потому, что родители, терзаемые нищетой, не блюдут обязанность воспитывать детей. Такие вещи страшно мстят за себя, и может произойти такой общий вред, которого не поправить.

Зимой старость проходит на печи, и никто не позаботится о старике, а весной, когда солнце пригреет, то, если он слабо ходит, недобрые, бесчувственные дети, христианские язычники, толкают его, колотят старика, выгоняют его со скотом на пастбище. Так он и бедует весной, хотя зимой довольно намучился. А полевые птицы поют, будто плачут над его долей. Старичок послушает, посмотрит вверх, подумает о боге и шепчет, тяжело вздыхая:

«Господи, выслушай мою молитву, сделай так, чтобы, если я лягу, больше уж мне не вставать».

О многом я еще не написал, чего-то много сырости скопляется в глазах.

Два великих желания моей души исполнились, пусть исполнится и третье: пусть кто-нибудь из вас, но нашей крови и плоти — потому что мы ведь живем на Востоке — приедет! Все, — и то, о чем я писал, и о чем нельзя было написать, — я все покажу пальцем и открою душу, в которой живут страдания.

Сын крестьянина, работающий в хозяйстве отца. Вилейский уезд (Виленское воеводство)[1].

Я знаю, что все это мне не удастся так, как я хочу, но приступаю. Пишу одни действительности.

Хотя я мало образован и с белорусским акцентом в разговоре, и с орфографическими ошибками в писании, без всякой писательской стилистики, а только с отчаянием в чувствах, что все это пойдет прахом, и никто не обратит никакого внимания, — а пойдет оно прямо от почтальона в корзину, но ничего не поделаешь, хочется хоть что-нибудь делать, хоть и без пользы для кого-нибудь

Скептик тоже имеет свои идеи.

Я — мужик, настоящий мужик, что подтвердит каждый бюрократ надлежащей волости. И не только другие подтвердят—я сам в этом уверен и никогда от этого не отрекаюсь, ни в каких случаях, даже если речь идет о вопросах некоторого авторитета.

Мой отец является владельцем небольшого куска земли, насчитывающего с лишком 5 га, выделенного после комасации несколько лет тому назад и унаследованного после деда, который его приобрел трудом.

Семья состоит из девяти человек и в поте лица трудится на земле, зарабатывает на кусок хлеба. Я должен еще подчеркнуть, что есть между нами и неработоспособные — малолетние дети: двое ходят в школу, а один еще в дошкольном возрасте, не считая тринадцатилетнего мальчика, который окончил семиклассную начальную школу и из-за материальной нужды пропадает дома, хотя у него и способности есть, и прилежание к науке. Отец тоже потерял работоспособность, частью по старости, а больше по причине болезненного состояния организма.

Главными, основными работниками являемся мы с братом, а из женщин надо считать сестру и маменьку. У последней к работе такой темперамент, что я иногда даже завидую.

---

[1] Печатается с небольшими сокращениями.

Приработка на стороне очень мало, нехватает на необходимые домашние потребности. Заработок бывает больше сезонный: жать, косить, ворошить сено, а осенью копать картошку. Оплата — нищенская: в самое главное для работы время года, когда все как в огне кипит, когда пот с лица бежит ручьем, то-есть в жнитво,—злотый 25 грошей. А осенью, на картошке — 80 грошей. Да и такая работа не всегда бывает и не всякому доступна. Сначала надо угостить работодателя, если намерен у него работать, — такой уж обычай. Ничего удивительного: работников много, а работы мало, только в имениях.

Дохода от собственной земли нехватает даже на нужды хозяйства.

Наихудшее несчастье — это цены на сельскохозяйственные продукты, а несчастье состоит в том, что, как ты ни живи, а нужны деньги. И в первую очередь на подати. Правда, я слышал, что теперь государственные повинности можно платить натурой, будто бы принимают. Но ведь не каждому близко. Да и заплатят ли выше рыночной цены? А если нет, зачем везти 40 километров и больше? А во-вторых: чувствуется нехватка этого зерна, на которое мы возлагаем все надежды. Сколько же надо продать овса по злотому и 45 грошей за пуд, чтобы купить пуд соли? Рожь немного дороже (по 2 злотых 20 грошей за пуд), но ее не так много — много ли соберешь с этих 5 га. Самим ведь тоже приходится кое-что себе отделить, когда голод мучит. У него не украдешь, он отовсюду выкопает — такой у него замечательный нюх.

Эта природа может иногда наделать хлопот. Так я полагаю, потому что мне вспомнился один эпизод со свиньями.

Даты этого случая я не помню, то ли это было в конце 1931 года, то ли в начале 1932, но что-то около этого. Это был самый разгар падения цен на сельскохозяйственные продукты. Торговая жизнь была так упавши, что никто ничего не хотел покупать — страшно подумать. Наверно, от начала мира не видано было такого явления. Я хорошо помню это время, почувствовал его на своей спине. Я был свидетелем этой хозяйственной катастрофы. Жертвы ее имели жалостный вид. Депрессия отражалась в каждой черте лица крестьянина. Он был достоин жалости. И вот над ним сжалился уездный «Земледелец». Как известно, перед моментом кризиса крестьяне научились разводить скот, получая от него хозяйственный доход. Это были по большей части свиньи, которые еще имели покупателя на рынке. И вот этот последний сельскохозяйственный продукт, на который опирался деревенский мужик, стал колебаться: цена упала до минимума. Был сильный кризис.

Чтобы спасти мужика, а по правде сказать, чтобы воспользоваться случаем, земледельческое товарищество, во главе с уездным агрономом, раструбило по всем волостям, что будет покупать свиней по хорошей цене. Дата и место покупки были официально объявлены через гмины и солтысов.

Мужики, растроганные до глубины души, что, наконец, им идут на помощь и что скоро они заживут как раньше, собираются на базар. Базар был назначен у железнодорожной станции, куда в назначенный день были привезены свиньи.

Из «Земледельца» приехало несколько человек. Привезли с собой ветеринара. Немедленно явилось и все руководство гмины, заведующий кассой Стефчика, гминный ветеринар, бывший лавочник и другие.

Пошло дело. Людские голоса слились с визгом свиней в один дикий шум. Ветеринар у каждой уже купленной свиньи мерил температуру, а она верещала во все горло, не понимая, что заботятся о ее здоровьи.

Условия покупки были такие: каждая свинья должна была иметь свидетельство о происхождении, иначе ее нельзя было продавать. Затем она должна была быть достаточно жирной и здоровой. Условия были не очень выгодны для продавца. Мужики должны были отдавать свиней без денег, потому что у покупателей денег пока не было; они говорили, что заплатят после того, как продадут свиней где-то на варшавском рынке. Говорили, что заплатят по такой цене, какая в то время будет на рынке, за вычетом небольших расходов по транспорту. «Но небольших, так как железнодорожный тариф, — они говорили, — даровой, ничего не стоит. Так что полный расчет, — говорят, — отдать нам, а не частным купцам, которые оплачивают перевозку, значит, безусловно заплатят они дешевле, а у нас будет дороже. Деньги пришлют по почте или выплатят лично не дольше, чем через три дня от сегодняшнего числа.

Многие крестьяне боялись обмана и не отдали свиней «на волю божью», как тогда говорили, а некоторые согласились, и я в том числе.

Весов они с собой не привезли, не знаю почему, а на скорую руку одолжили у лавочника старые, испорченные, совсем негодные. Но это пустяки... Они сказали, что взвесят только так, ориентировочно, а там, где продадут, взвесят точно и по совести выплатят все следуемое до последнего гроша. Что ж делать? Мы махнули рукой, нельзя не поверить...

Взвесили моего кабана, вышло 170 кило. Кабан был большой, я думал больше

выйдет, но это ничего. Проходит три дня — ничего не слыхать. Среди мужиков воцарилась паника. Все то и дело заходили в кассу Стефчика проверять, не появился ли наш покупатель.

Наконец, еще через три дня явилось чудо: прибыл должник с наличными. Было это, помню, в среду, в местечке был базар. Кредиторы уже с рассвета ожидали выплаты, Отворилось окошечко, и представление началось. Перед выплатами, а особенно перед такими выплатами, всегда разыгрывается настоящая комедия. Тут и смех, и слезы.

Так и теперь. Первый стоящий у окошечка мужик подал свою квитанцию (принимая свиней, товарищество выдавало квитанцию, что получила от такого-то, имя, фамилия владельца, вес свиньи. Эта квитанция была единственным документом, без которого потом не выдали бы денег). Кассир посчитал и сказал, что следует получить столько-то... Мужик побледнел.

— Как это может быть? Следует больше.

Он не хотел подписывать поданную ему бумажку. Видя протест, кассир был вынужден объяснить причины низкой оплаты. Полились жалобы: во-первых, в вагон было погружено мало свиней, а заплатить за вагон пришлось полностью, во-вторых, на рынке упали цены, и тому подобное.

Недовольные мужики принялись орать. Некоторые словно милостыню просили: «Накинь, панок, хоть золотовку, погреться, вельми зимно». А другой: «Паночек, хоть на двоих». Так что тот не выдержал и выбросил пару злотых, говоря: «Из своего кармана даю». Шутник был!

Я тоже получил 105 злотых. Вес был тот же, что и «ориентировочный». За пуд выходило по 10 злотых, в то время как на местных рынках средняя цена была 14 злотых. Но и это бы пусть.

А хуже то, что теперь, когда от этих денег и следа не осталось, мы должны платить за них гербовый сбор. Казенная палата вдруг спохватилась и этой осенью разослала всем участникам продажи указания, что они не имели права давать заработать вышепоименованному товариществу, не будучи его членами, и за это должны заплатить штраф в форме гербового сбора. Так я это понял.

И вот теперь, когда уже появились у тебя новые потребности и новые материальные затруднения, человек должен получить еще и этот хозяйственный удар и вздрагивать при каждом скрипе дверей, ожидая судебного исполнителя.

И думаешь: почему было этот гербовый сбор не взыскать при расчете, когда платили за свиней и говорили, что это за вычетом всех расходов?

—

Понятно, что современность я называю бедой, это настоящая беда для меня. Хотя я сам не хозяин, но так как я завишу от отца, поскольку должен с ним вместе работать, то целиком чувствую на себе несчастье материального кризиса. Уйти от отца нет никакой возможности — куда? Вот и сижу дома, работаю что попало, хотя выгоды от этой работы никакой, кроме нищенской жизни. С нашим хозяйством справилась бы половина людей, которые у нас в семье. Это нельзя назвать ни работой, ни безработицей. Жизнь — это вовсе тюрьма, не отвечающая действительности. Всегда я угнетен духом, вместе с физической болью материальности. Кроме работы, нет никаких развлечений: ни книжек, к которым у меня большая порывистость, ни удовольствий.

Когда-то было весело, помню вечеринки, представления. Посмотришь — люди те же, а в душе человеческой другое. Разве станешь думать об удовольствиях, когда часто ешь без соли, — нет ее. На представление тоже нельзя пойти — оно платное, без платы представление не может существовать. Так оно и вышло из употребления. И вообще у всего населения такие мрачные лица, что лучшего оптимиста доведут до меланхолии. А что этому виной? Нищета.

В семье тоже всегда диссонанс. Придешь иногда с работы голодный, как собака. Настроение вроде ничего, пока сидишь за столом и ждешь картошки. Начинаются разговоры, больше всего о каких-нибудь нехватках в хозяйстве. Этот разговор всегда кончается тем, что начинается ссора. Разнервничаешься до нуля, все равно как поел, есть совсем не хочется, только дрожит все внутри, как от лихорадки, — и баста.

—

Трудно поверить, что мы теперь учимся на профессоров экономии. Наша экономия сейчас доведена до такой тонкости, что по сравнению с ней — ноль все книги в этой области. Экономить деньги, класть их под перину или в сберегательную кассу — это не штука, не очень-то трудно: не пить много водки, не играть в карты, не купить жене нового пальто, пусть старое доносит, — только и всего. Но экономить тогда, когда ничего нет, — вот это штука! И тут мы — великие экономисты. Мы экономим все и на всем. Большая часть мировой промышленности для нас хоть бы и вовсе не существовала. Сахару мы не употребляем совсем. Кухонной соли тоже не

употребляем. Ее заменяет неочищенная соль, которая для скота. Керосин жжем, только если крайняя необходимость. Табак курят совсем мало. Люди научились какой-то странной вежливости. В мужском обществе никто не закурит. А при женщинах— наоборот. Дело состоит в том, что при мужчинах он боится закурить, чтобы не дать другим. Потому что, увидев, что кто-нибудь закуривает, все бегут к нему, как дети, и просят так, что трудно отказать. Так что никто не имеет смелости даже признаться, что у него есть табак. А если кто хочет закурить, то прячется от всех. Даже не покупают, если кто-нибудь видит.

Это не только с табаком так, а и с многим другим. Но с этим еще можно устроиться. Хуже, если попасть в руки ксендза. Тут уж не поможет никакая хитрость. Все равно все пойдет своим чередом.

Умерла моя бабка. В день похорон я привез попа с псаломщиком. После похорон я спрашиваю: «Сколько следует?» Он, не колеблясь, говорит: «Десять золотых рублей». Я удивился. Ведь мы не получили после нее никакого наследства. Хватит батюшке и 20 злотых.

Но на такую сумму он не согласен. Торгуемся. Я даю 25. Он уступает еще 5 злотых. Я — 30. Наконец, согласился. А потом хоронил он в другой деревне мужика, так сказал, что у нас получил 150 злотых. Должно быть, чтобы тот не поскупился.

Потом мне потребовалась копия метрики. Пришел я к нему не без страха. Прихожу, говорю: так и так. Он хмурится и начинает допрашивать:

— В церковь ходишь?

— Хожу...

Но он не верит, знает, что я лгу, знает, что после праздников в церкви всегда пусто. А я тоже знаю, что я не очень верующий, так, раза два в год зайду... Он пронзительно на меня смотрит:

— У исповеди, небось, не был?

— Как так? — спрашиваю.

Но уже вижу, чего ему надо. Ему надо, чтобы я признался в вине и чтобы меня за это оштрафовать перед лицом бога на несколько злотых больше, — это его любимый идеал.

Точно исследовав мою святость, злой, садится он писать. Потом встает и ходит задумчиво по квартире, словно меня тут нет. Я, наконец, решаюсь спросить, когда будет готово?

— Уже... Только десять злотых...

И тут уж никакой торг не поможет.

Я шел домой возмущенный. Неужели в святом евангелии написано: «Пользуйся случаем. Радуйся чужой беде»?

В прошлом году приезжал он к нам святить дом. (Он это каждый год делает.) Покропил святой водой стены, потом спрашивает:

— Как Мисун живет?

— Очень плохо, — отвечаем.

— В таком случае, — говорит, — я к нему не поеду.

Значит, если тот бедный, так пусть у него черти живут, их уж и выгонять не надо. Знает, что тот не заплатит, потому что нет ничего. Ну и понятно, что поп думает о мамоне, а не о чертях, которым позволяет существовать, если не получит денег.

Не хуже действуют и торговцы свиньями. Там уж прямо море мошенничества. Не дай бог попасть в их руки. Сразу почувствуешь себя кругом обиженным, так что всякую радость жизни потеряешь. Сначала они торгуются всеми способами. Подходит такой купец к телеге:

— Сколько хочешь за все?

Скажешь ему цену. Он заходит с другой стороны.

— А сколько за пуд?

Подумавши, ответишь и на это.

Тогда он видит, что таким способом не обманет, уйдет. Через минуту опять подходит.

— Сколько за него хочешь?

Скажешь, что столько-то и столько-то за пуд.

— А на кило?

— Не продаю.

Боишься, потому что трудно сразу сообразить, тут зависит от веса кабана, так сам не знаешь, как бы не попасть впросак. А он видит твою непонятливость и напирает. Кричит во все горло, машет руками.

— Ну, отдаешь за столько?.. А за столько?.. Ну?

Говоришь, что так не продашь. Тотчас же явится другой, сообщник, наверно, и тоже начинает орать, трясти продавца за плечи, фыркать от злости, ругать дураком. Слушаешь, слушаешь и продашь.

Если не удается так надуть, он дает немного дороже, но с уговором, что прибавляет только в том случае, если будет не меньше 10 кило. Подумаешь и согласишься: может, останется 2—3 кило сверх 10. Но этого никогда не выйдет. Тот, что стоит у весов, помогает им мошенничать и всегда сделает или 9 или 8, хотя в кабанчике верных 15.

Или возьмут денег не додадут. Или, осматривая, уколют в язык и говорят, что

кабан больной. Тогда никто не купит, и человек принужден отдать этому за полцены.

—

Основная наша беда — это темнота. Слепой не видит природной земной панорамы, — а мы ощупью бредем в духовном мире. Смотрим и не видим. Видим... а ничего не понимаем. Этот духовный паралич не дает правильно смотреть на мир. А его глупость создает много суеверий, приносящих людям немало несчастья. Этот страх перед неизвестными явлениями природы вызывает в повседневной крестьянской жизни массу предрассудков.

Когда-то я сам был поклонником этих вымыслов. Теперь другое дело... Ненавижу.

В нашей деревне еще много таких людей. Ячменя не сеют, пока не увидят ячменных облаков. А когда уж их случайно увидят на горизонте, бросают все и со всех ног бегут сеять. Отличить эти ячменные облака от обыкновенных я не умею по сей день. Только знаю, что иногда они не появляются неделями и из-за этого опаздывает сев, а отсюда — плохой урожай.

То же и с посевом ржи. Чтобы она хорошо уродилась, нужно всю свою рожь сеять в одной рубашке, то-есть не меняя за все время сева. А сев может длиться до полутора месяца. Это просто мука — ходить столько времени в грязной рубашке. В действительности, должно быть, дело обстоит иначе. Рожь должна быть посеяна не в одной рубашке, без перемены, а в теплое время, в одной рубашке— без теплой одежи. В одной рубашке — значит в тепле, то-есть пораньше. Есть еще и другие предрассудки.

Население остается темным... Некому прочесть изданного указа или какого-нибудь воззвания. Те, что поумней, пользуются этой темнотой и делают разные злоупотребления. Это случается часто, на каждом шагу и во всяком деле. Судебный исполнитель тоже, случалось, обманывал. Немало народу он довел до разорения. Его мошенничества не знали границ. Например, описывает он имущество у одного хозяина. У того нет денег, чтобы уплатить сразу все следуемое — он вносит часть. Исполнитель дает временную квитанцию, бумажку, не имеющую никакого значения, говоря, что настоящую квитанцию даст потом, после уплаты всей суммы. А мужику что же? Все равно. Лишь бы исполнитель не унес чего-нибудь из дома. Мужик верит.

Потом он приносит остальное. Судебный исполнитель принимает, но он настолько занят, что у него нет времени даже выдать квитанцию — просит зайти через часок. Мужик приходит, но того уже нет. Жена говорит, что пошел куда-то по делам, а когда придет — неизвестно. Ждать нет смысла... Мужик приходит завтра. Завтра то же самое. Наконец, мужик махнет рукой, а вскоре и совсем забудет. Таких случаев было много.

Самое большое зло это то, что у нас мало земли и мало ума. Действительное зло — это дешевизна сельскохозяйственных продуктов по сравнению с промышленными изделиями. И еще — подати. Промышленных товаров мы почти не употребляем. Но подати, к сожалению, должны быть уплачены до копейки, не глядя на годовое состояние хозяйства. Так что выходит, что первый срок весенних уплат всегда остается на осень. Это происходит так:

На осень собираются все подати, дальше тянуть нельзя, потому что тут уж появляется судебный исполнитель. Значит приходится сразу продавать всю свою годовую продукцию, а осенью, как известно, цены на хлеб всегда низкие (вероятно, потому, что рынок завален хлебом). И так продаешь весь хлеб, не ожидая более выгодных цен... Приходит весна — опять подати. А тут хлеба нет и купить не на что — заработка нет. В таком случае недоимка остается на осень. Так из года в год это все и тянется.

И еще одно — отсутствие заработка. А он так нужен. Беда... Старая беда постоянно создает новые беды. Например, живет молодой парень на небольшом клочке земли. Трудится в поте лица, а тут все идет хуже чего нельзя, и ниоткуда он не видит никакого спасения. Постройка рассыпается впрах. Крыши протекают. Конь весной продан из-за отсутствия кормов. Корова была неплохая, ее хотели продать и купить худшую, чтобы таким образом выгадать несколько грошей. Продали, а купить другую тогда не случилось, отложили до следующего базара,— может, будет лучше. А тут тысяча нужд. Нужно купить штаны, потому что эти уже старые, соль тоже вся вышла, и покурить хочется. Смотрит, а к следующему базару осталось так мало денег, что нехватит на самую плохую коровенку. Делать нечего — одолжить, никто не одолжит, потому что он уж немало наодалживал. И делай, что хочешь... Остается и без коровы. Ничего нет... А недоимок порядочно. Счастливец!

Сейчас же является соображение: жениться. У какого-то там более зажиточного крестьянина есть неудачная дочь. А тут парень, хоть бедный, но порядочный, — почему ж не отдать? А ему почему на ней не жениться? Все-таки помощь — 100 злотых приданого. Значит—

по рукам. А через некоторое время приданое растает, а остается только жена... а вскоре и дети... Вот и получай, и готова новая беда, новое безвыходное положение.

Крестьянин Скерневицкого уезда (Варшавское воеводство). Хозяйство на 2 моргах (немного больше 1 га).

Мое жизнеописание, может, не будет такое интересное, как у других, потому что я еще молодой. Но, хотя я еще молодой, условия сложились так, что я уже самостоятельный хозяин и имею 2 морга земли. Как я живу на этом своем карликовом хозяйстве, постараюсь откровенно описать.

5 сентября 1912 года я прилетел насвет, в деревне Липец, гм. Слупя, Скерневицкого уезда, в глиняной избе моего отца.

Воспитывался я как большинство детей в деревне. Мой отец имел десятиморговое хозяйство, так что, как только я начал самостоятельно ходить, то стал пасти то гусей, то овец, а как стал постарше — коров.

В 1918 году у меня умер отец. Остались мать и пять человек братьев и сестер. А через год у нас сгорела изба. Ой, жизнь была, помню, уж такая жизнь! Помню, как мы переехали к тетке, соседке, но так как в ее избе две семьи не могли поместиться, то мы с братом спали в стойле. Страховку за избу мы получили только в 1929 году в сумме 65 злотых. Так как изба была глиняная, то стены остались. При помощи родственников мы покрыли крышу и живем в этой избе до сегодняшнего дня.

Я ходил в начальную школу в Липцах, где кончил пять отделений. В зимнее время я ходил всегда натощак и завтракал только, вернувшись из школы в час дня. Раз, помню, я принужден был не ходить в школу, потому что босиком уже невозможно было ходить, был мороз, а у матери не было денег, чтобы купить мне что-нибудь. Ходил я и в костел, также в рваном халатишке. Помнится мне, я не хотел ходить в костел в этом халате, но мать меня всегда выпроваживала кулаками. В таких условиях я воспитывался и провел свои детские годы.

В 1928 году у нас подохла лошадь, и мы остались с одной коровой. Моего старшего брата забрали в армию, я тогда был еще легкомысленный, и, чтобы было кому работать и заправлять хозяйством, мы взяли зятя в дом и отдали ему все хозяйство. Нам стало немного лучше житься. Не потому, что зять умел хорошо хозяйничать, — нет, а потому, что в те годы, как 1927, 1928 и 1929, для мужика еще была жизнь возможна. Хлеб был в цене и заработки были. Я сам в 1928 году за один месяц заработал 95 злотых, делая дренажные трубы. А теперь их почти никто не делает, потому что цемент очень дорог.

Когда зять к нам перебрался, нас было восемь человек в одной комнатке. Я спал в сарае. В тот год были большие морозы. Кто же не помнит зимы с 1928 на 1929 год? Простудился я тогда страшно. Когда я больной лежал в постели с жаром в 40°, я был оставлен на милость судьбы, потому что о докторе никто и не думал. Собирались только ксендза привести, а лечили меня своими средствами: горячие отруби на голову и т. п. Все-таки я как-то из этой болезни вылез.

В 1930 году, после возвращения брата из войска, мы устроили раздел земли. Нас было пятеро: три сестры и два брата (всего-то нас было десятеро, но половина умерла). Брат женился и забрал 4 морга свои и сестры, которая работает в Варшаве. Другие две сестры, которые были замужем, взяли свои морги. А я остался при одной сестре. Они убирали мои морги, а я у них работал и за это получал пищу и кой-какую одежу. Матери назначили на жизнь с каждой пятой части мешок ржи, четыре мешка картошки, два мешка угля, пол кубических метра дров, три кило солонины и один литр молока в день. Кроме того, каждые два года все должны были вскладчину купить ей пару башмаков и рубашку.

Хотя я был еще молод, но мне такой раздел вовсе не понравился, и я стал искать других выходов, чтобы улетучиться из деревни. Работы я нигде не мог достать и решил пойти в школу земледелия. А так как у меня не было денег, то я подал прошение в уезд о предоставлении мне стипендии. Стипендию я получил и 15 января 1931 года поехал в школу в Лович. Я был уверен, что после окончания школы попаду куда-нибудь в усадьбу на практику. Однако жизнь пошла против моих намерений, и после окончания школы я вернулся домой. Когда я вернулся, мой зять, который обрабатывал мою часть земли, отдал мне часть, которая мне приходилась по разделу, доказывая, что не хочет убирать мои морги и давать мне за это пищу и одежу. У меня не было ни гроша в кармане, никакого инвентаря и вообще ничего, кроме того, что на себе. В таких условиях я в 1932 году убрал хлеб со своих моргов. Его было три телеги.

Отдав мне землю, зять выехал от нас на свою, отцовскую землю, а мать, которая жила у брата, переехала ко мне.

Изба у нас глиняная, крытая соломой, в ней два помещения и сени. Сарай и стойлю деревянные, крытые соломой. В стойле дыры навылет, оно уже разваливается; а сарай тоже покривился от ветра.

В одном помещении живет брат, у брата нет пола, так что сырость страшная. В другом помещении живу я с матерью, которую мы все содержим. Так как я холостой, то разные добрые люди мне часто советуют жениться, что тогда мне лучше будет. Однако, глядя на действительность супружеской жизни бедных людей, я вовсе не вижу в этом улучшения своей судьбы. А если бы я и захотел, то откуда взять 30 злотых на свадьбу. А ведь есть и другие формальности, связанные со свадьбой. И за все нужно платить большие деньги. Например, оглашения.

В моей деревне хозяйства все больше десятиморговые. Некоторые уже раздроблены, а некоторые еще в целости, но и эти недолго продержатся потому, что молодежь подрастает, а ведь каждый жить хочет. Где семья меньше, там хозяйство остается в целости, но таких мало. У меня 2 морга. Теперь я бы, скажем, женился, взял бы за женой 2 морга, вместе 4 морга. Что это за выход? Ведь с женой нужно жить хоть немного лучше, нужно немного, так сказать, «удобств», топливо там, освещение и т. д. К этому прибавить подати, родителям дать содержание, хоть такое, какое мы даем своей матери. А иметь 4 морга и жену, это нужно все эти расходы помножить на два, да еще прибавить за обработку в поле, за подводы: за дровами, на мельницу и т. п. За обработку лошадьми 4 моргов один хозяин заплатил этой зимой 45 злотых да весной должен добавить 30 злотых, а заработать негде, хлеб дешев... Вот и живи тут, человече, потому что тебе господь-бог дал жизнь. А к этому надо еще прибавить расходы на содержание ребенка, который может появиться...

Во время жатвы и копки картошки работы много: и у себя надо все сделать, и помочь кому-нибудь, и заработать где-нибудь, если удастся. Обычно после жатвы понемногу молотят до копки картошки, а после копки обмолачивают остальное. А так как молотим мы цепами, то нужно много времени. Когда есть что делать, человек еще немного лучше себя чувствует. Хуже всего весной и летом, перед новым хлебом: и есть нечего, и делать нечего. Не раз, сидя где-нибудь в поле, на меже, я раздумывал о тяжести жизни, я приходил в отчаяние и готов был тогда даже лишить себя жизни. «Чем этак медленно умирать, — думаю, — лучше уж сразу кончить».

Кроме моего 2-моргового хозяйства, у меня нет никакой постоянной работы, только в жатву я заработал 17 злотых и купил себе поросенка. Его только и держу, больше у меня скота нет. От этого земля делается все хуже. Я было хотел продать мешка два овса и мешок ржи и купить себе хоть какого-нибудь теленка. Но зерно теперь очень дешево, боюсь: продам его сейчас по дешевой цене, а к весне придется покупать по дорогой. В сентябре этого года я заработал 6 злотых у одного хозяина на молотьбе цепом. Он платил 2 злотых в день и харчи давал. Вот такой заработок бы пригодился, если бы подольше так поработать.

И еще у одного хозяина я работаю за то, что он обрабатывает мою землю, к нему я иду по первому зову. Это для меня тоже хороший заработок, потому что мне не надо платить наличными за полевые работы, а то бы за весь год, то-есть за весну и за зиму, это бы обошлось около 40 злотых и на это пришлось бы продать около 4 мешков ржи. А что есть?.. Когда всего в этом году я рассчитываю получить 9 мешков ржи и 4 мешка овса. Овес я, впрочем, уже обмолотил и его теперь же, в ноябре, надо будет продать на подати.

Моя квартира — это большая комната с двумя почерневшими от старости окнами и с дырявыми рамами, в которые дует. Летом это удобно, потому что окна не открываются, так как в эти дыры проникает немного свежего воздуха, а на зиму мы их затыкаем мхом и старыми тряпками. В прошлом году я спал на полу, потому что не на что было купить кровать. В этом году я сплю на кровати, которую мне из жалости дала соседка. Кровать очень старая и надо осторожно ложиться, чтобы она не испортилась, потому что очень слабая кровать, но все-таки удобнее, чем на соломе, на полу. Я ее принес домой ночью, чтобы никто не видел, а то мне стыдно было.

У меня есть шкаф, который зять оставил, когда выезжал, потому что не стоило перевозить. Когда я белю избу, то не выношу его, а то он может рассыпаться. Но судебный исполнитель в прошлом году все равно описал его за недоимки, и вместо 5 злотых 34 гроша подати, я должен был уплатить 9 злотых 4 гроша, то-есть за то, что я своевременно не мог уплатить 5 злотых 34 гроша, я принужден был доплатить еще 3 злотых 70 грошей расходов по взысканию.

Я отвлекся от своего шкафа, но что о нем долго говорить. Это старая развалина, в которой ничего нет, кроме моих старых газет и тетрадей. Затем есть еще табуретка, которую покойный отец сделал из обрезков. Раньше мы на ней ели, а теперь я кладу на нее мешок с мукой. У матери есть своя кровать, такая, как у всех в деревне, и сундучок.

Есть еще скамейка, которую я в прошлом году сделал из старых досок. Неудобная, но все-таки есть на чем посидеть за едой. Когда я ем, я всегда сажусь на нее, а миску держу в руках, потому что стола у нас нет. Еще есть у нас соломорезка, которая осталась после отца, но солому я не режу, потому что коровы нет. Есть лампа, которую мы зажигаем, только когда уж действительно необходимость, но и то прикручиваем, чтобы меньше керосина выходило. Поэтому я никогда не читаю по вечерам.

Главная еда у меня картошка и хлеб. Сахару я вовсе не употребляю, только два раза в год, на пасху четверть кило и на рождество четверть кило. На завтрак — постный борщ с картошкой, на обед — черный хлеб, чаще всего сухой, разве что кто-нибудь из милости даст немного молока. На ужин опять картошка, капуста или горох. Солонину, если уж куплю четверть кило, то стараюсь, чтобы мне хватило, по крайней мере, на десять дней, хотя знаю, что желудок не обманешь. Можно себе представить, сколько у человека энергии к работе от такой еды! Зима на носу, а у меня нет ничего теплого, нет сапог. Есть только пара штиблет, в которых я хожу и в будни, и на праздники. А теперь на зиму у меня нет ни теплого пальто, ни свитера, ни теплого белья, и ничего из этих необходимых вещей я не смогу купить — на какие же деньги?

Я много раз замечал, что дети от двух до четырех лет в нашей деревне совсем плохо питаются; у них проступает кривизна в ногах, животы большие, раздутые картошкой и т. д. Некоторые до сих пор, до поздней осени, ходят босиком. Разве из таких детей вырастут здоровые граждане страны? А ведь нищета с каждым годом все больше.

Сама жизнь указывает на то, что так дальше не может продолжаться. Должен наступить справедливый социальный строй, опирающийся на кооперативные принципы, и тогда будет обуздана эксплоатация, и люди увидят цель жизни в благе всего человечества.

Хозяин некогда 10-моргового хозяйства, сейчас значительно уменьшившегося. Ласский уезд (Лодзинское воеводство)[1].

Пришло другое время. Деревня проснулась. Кругом уже кипело. Стали нам говорить, что будет Польша, что она уже поднимается, только слаба еще, но понемногу окрепнет. Мужики не хотели верить, потому — нам всегда говорили, что тут Россия и будет Россия, а тут вдруг лапцап и Польша! Чудеса, аж в голове мутится. Будет Польша, и будет она сама распоряжаться. «Ну, — думаем, — ладно, все-таки свои, а ворон ворону глаз не выклюет». Но мы, в деревне, не очень во всем этом разбирались, потому как нам всегда голову задуривали, а оставляли только кулаки, так что голова у нас слаба. «Что ж делать? — думаем. — Надо дать, что есть». И пошли в ход наши кулаки, потому как для драки, это мы годимся, а больше мы ничего не знали. Мужик может пахать, сеять, охаживать хозяйство, но когда пришлось разговаривать о Польше, то все попрятались по избам, там и орем, кто во что горазд. Некоторые пускались, правда, в политику, хотя о Польше только то и знали, что она называется Польша. Я послал двух сыновей в армию, больше ничего не мог сделать. Дрались они под Хировом, под Садовой Вишней и еще бог весть где. Воротились оба больные, худые, так что я их насилу узнал.

После войны начались новые времена. В деревне нужда, беда, аж пищит. И всюду, как на базаре. Что ни день, то приезжает новый святой апостол и устраивает митинг. Один говорит: «Витос!» Другой говорит: «Ешь, мужик, такой борщ, что, если им у козы под хвостом намазать, она до Кракова добежит!». Третий кричит: «Получишь, мужик, землю!»

Каждый день что-нибудь новое, чего и не слыхано было на божьем свете. А мы только головами кивали и балдели, потому, как тут до правды доберешься? Дали нам списки, велели голосовать; мы и голосовали. Случалось, конечно, что мужики другой раз и перессорятся из-за этих турус на колесах. От времени до времени в деревню приходили известия, что Польшу раскрадывают со всех сторон, так что мужики уж и перестали верить всем этим обещаниям и стали считать правительство таким же, как царское или там другое какое. И каждый мужик старался дать ему поменьше, потому как ясно: что правительственное, то не наше. Так оно обстоит дело и по сей день. Мужики —

[1] Печатается отрывок.

не граждане своей страны, потому что зло быстро сделали, а исправишь его теперь не скоро.

У меня было 10 моргов земли. Сыновья пришли из армии. Пришлось разделить землю на две части, потому что поженились они на бедных. Один жил в моей избе, другой в избе, что осталась после бабки. Старший был ранен в руку и, как он в войске был добровольцем, хлопотал, чтобы его наделили землей. На хлопоты мы потратили много денег, но землю он не получил: мало, стало быть, был ранен. Только ноги человек поотаптывал по разным учреждениям, управлениям, докторам, всего и радости. В избе у нас становилось все хуже. Десятерым прожить на 10 моргах трудно, а заработать на стороне негде. Приходилось искать нового выхода. Старший сын решил переселиться в город, потому теперь такая мода, что народ бежит из деревни. Да и что поделаешь, когда голод гонит? Работаешь на разных спекулянтов, а они выкупают имения и ставят фабрики, а люди бедствуют и проклинают землю своих прадедов. Мой сын тоже уехал в город. Мы продали что только было можно, остальное заняли и дали ему 2 тысячи.

В Лодзи сын приобрел будку — торговать углем. Осталось нас восемь человек. В деревне теперь все иначе, и сверху, и снизу. Поставлены новые избы, а из старых хозяев мало кто остался. Потому, которые продали хозяйства из-за долгов, которые поумирали, а те, что остались, живут по три поколения в одной избе и ждут конца. Потому что человек — крепкое животное и может долго выдержать. В школу никто из деревни не ходит. Сразу после войны, когда еще было лучше, тогда многие из деревенских кончили гимназии, но эти попрятались где-то по городам и сидят себе там, в деревне их и не увидишь. Раз уж сбежали от нищеты, зачем возвращаться? Они и следы за собой хотят стереть, потому что знают деревню насквозь. Часто я думаю обо всем этом мире, как все в нем изменилось.

И в моем хозяйстве все переменилось. У сына было много долгов, ему пришлось занимать, чтобы выплатить брату его часть. Еврей-ростовщик протестовал векселя, потом приехал судебный исполнитель и описал все имущество. Как-то, недели две спустя, пошел я в деревню, к старому Грегору. Сели с ним перед избой, разговаривая о том, о сем. Вдруг что-то загрохотало. Выскочил я на дорожку — самоход несется, аж грязь во все стороны брызнула. Прихожу домой, во дворе стоит самоход, а из стойла выводят коров, свиней, телят. Перекупщики суетятся, щупают скот. Судебный исполнитель держал в руках бумагу и читал: «Корова черная— 50 злотых — раз, два, три — продана! Телега — 20 злотых. Раз, два, три — продана!» Остального я уж не слушал: во мне сердце разрывалось. Невестка плачет, дети тоже. Потом вся эта свинско-перекупщическо-коровья процессия тронулась в путь. Забрали все: лошадей, коров, свиней, телегу. Остались только изба да беспомощные люди. Теперь-то началось настоящее горе. В избе я теперь мало сидел, потому что меня что-то душило и я не мог смотреть на эту нищету, а сделать ничего не мог. Я ослаб, потому что ем плохо. Да у детей и у самих-то нет столько, сколько человеку нужно, а я стар, мало к чему пригоден, как-нибудь пережду. Не я один. Времена такие.

Прошло полгода. Младший сын продал землю и уехал на кресы. 5 моргов он оставил мне, потому что я не хотел ехать. Начал я кое-как хозяйничать. Только недолго я пожил спокойно. Горе ходит не по небу, а по людям. Приехала из Лодзи невестка. Сын заболел скоротечной чахоткой, потому как простудился в армии, а потом в будке. Продал я немного пшеницы и ржи, взял деньги и поехал в Лодзь. Пришли мы к сыну на квартиру. Он лежал в постели и был уже очень плох. Дети играли все черные, в угольной пыли. В комнате было холодно, потому простой сарай, только что картоном обит. Стены все черные от угля, потому как из комнаты дверь прямо в склад, — когда уголь отпускают, пыль летит в комнату. На другой день сын умер. Горько мне было смотреть на все это его жилье. Дети худые, простуженные, все в струпьях — смотрят будто с того света. Место на кладбище стоило 30 злотых. У меня столько денег не было. Начал я ходить по разным ксендзам, по магистратам, за свидетельством о бедности. Наконец, вымолил эти даровые похороны. Ксендз за то, чтобы покропить святой водой, требовал 5 злотых. Ну, — думаю, — если не хочет, пусть не кропит. За деньги пусть не кропит. Бог,— думаю, — покропит твою могилу дождичком даром. Ты лучше их всех, у бога найдешь справедливость. Положили мы гроб на телегу и повезли на кладбище. Туман ползал между могилами. Одни были большие, богатые, а другие сравнялись с землей. Так различны эти последние владения мира сего.

Похоронили мы сына. Будку и остатки угля я продал. Детей с невесткой отправил в деревню, а сам пошел пешком.

На деньги, что я получил за будку, я докупил еще 2 морга земли и теперь хо-

зяйничаю с невесткой. Часто читаю книги покойницы-жены и думаю: «может, что-нибудь переменится к лучшему?»

Нынче в деревне страшная беда. Часто я размышляю над нашей мужицкой недолей. Почему человек, который работает от рождения и не знает, что такое отдых, должен так бедствовать? Ребенку семь лет — он должен целый день пасти коров. Потом он походит немножко в школу и опять все забудет — потому книжки в руки не берет, не на что купить. Всю жизнь человек проработает, спину поломает, пот ему глаза выест,— тогда он ночует в стойле или сарае, потому что дети наши воспитываются плохо. Если мать часто говорит сыну: «Чтоб ты сдох, как собака», то потом и сын не имеет к ней жалости.

Нынче беда в деревне, дальше некуда. Хлеб, и тот мало кто ест, а уж мясо, так разве на пасху или на рождество, и то не всегда. Дети тоже какие-то худые и словно мхом обросшие. Сразу после войны разные инструктора изо всех сил заставляли нас заводить образцовые хозяйства, но для нас это плохо кончилось. Все давали на выплату, а как пришли плохие времена, не одного мужика судебный исполнитель раздел до рубашки, а то и совсем выгнал в город. Народ бежит из деревень, надеются в городе получить хоть что-нибудь по безработице или хоть на общественные работы устроиться.

Не лучше ли было бы сократить имения, которые все равно податей не платят, и дать людям землю, чтобы они работали дома, а не бедствовали в городе? Мужик всегда чувствовал себя поляком, а теперь, если он убежит, что будет? Если бы кто знал, как здесь люди между собой грызутся, и из-за чего грызутся! А ведь каждый из них охотно бы работал вместо этого. Всего стало на свете больше, чем раньше, а люди голодают. А хуже всего то, что они знают, что так не должно быть. Какие у мужика радости в жизни? Сколько он набегается, намучится, прежде чем у него что-нибудь вырастет. А потом продаст это, а сам с детьми голодает. А удовольствия — так разве только то, что всякому от господа-бога отпущено. Да и то им не очень воспользуешься, потому — детей кормить нечем. А кроме того, мужик, сидя на одной картошке, сохнет и редко спит с женой.

Книжек в деревне и не увидишь. Очень странно все устроено на свете. Есть радио и в нем беседы для мужиков. Что бы это было, если бы деревня хоть одну зиму послушала эти чудеса? Но у нас во всей епархии, ни в одной деревне нет радио, потому что оно стоит 30 злотых в год, а у нас нет денег на такой большой расход.

Есть у нас вроде душа и тело. Тело мы кормим картошкой и чем бог пошлет, но душу нашу никто не кормит. Только и мудрости, что ксендз с амвона скажет, но это уж каждый из нас наизусть знает и оставляет на праздники, а в будни всякий своим умом живет, потому что голод не спрашивает, что хорошо, а что плохо. Мы, мужики, должны кормить свою душу пищей, что еще наши отцы приготовили, только во времена радио и разных чудес это уж слишком скромная пища. Нашим детям нечего делать, и они режут друг друга ножами, аж кровь брызжет. Пока с них этого достаточно, а что дальше будет — подождем. Для мужика один год — ничто и два года — ничто. Мы не сегодняшние. Мы можем долго ждать.

Организаций в деревне почти что нет. На тысячу человек молодежи, может, один какой-нибудь покупает газеты. Остальные, как сойдутся, так или ножами порежутся, или смеются целый вечер, потому что им нечего читать. О покупке газеты в деревне речи быть не может. Иногда заблудится какая-нибудь дешевая газетка сектантов или коммунистическая — даром. Все бедняки бегут в город, а если бы они получили землю, то работали бы и не должны были ожидать милостыни у дверей голодных кухонь. А потом будут строить тюрьмы для этих наших детей, что бегут в город. Каждый человек, который уходит из деревни в город, — это новый коммунист, потому что голод на все натолкнет.

Были у нас в деревне выборы в совет гмины, но никто никого не выбирал, потому что староста привез список, велел всем подписаться — и дело с концом. Некоторые хозяева у нас подписались тоже на государственный заем. Первую уплату отдали, потому что пришел полицейский с писарем и, если кто упирался, составляли протокол. Есть у нас один мужик, фамилия ему Ясечков Войцех. Восемь человек детей. Долгов выше головы. Пришли к нему за займом, — ничего не поделаешь, заставили подписаться. Первые 8 злотых заплатить, — так он в десяти домах занимал, и у меня тоже взял ползлотого, а что будет с дальнейшей уплатой, я уж и не знаю. Теперь он приходит ко мне каждые два дня и спрашивает, не предвидится ли какая война или революция. И не только он — все в деревне молят бога, чтобы была война или что-нибудь другое,— только бы жизнь переменилась. Если бы мужики жили между собой так близко, как рабочие в городе, уж не знаю, что бы было. Нынче надо выравнять все эти неравенства в мире и все сделать по закону, чтобы человек мог жить, как человек. Нам нужна не роскошь, не прихоти, а только, чтоб наш труд не был смешным в этом умном мире.

Этот мир сейчас такой, как моя дырявая сермяга или как решето: и пока заделаешь все дыры, вся вода утечет. Я думаю, если бы наше государство лучше уж за недоимки совсем бы забирало землю, тогда постепенно вся промышленность перешла бы в руки государства. Отобранную землю можно было бы дать безработным, которые сейчас столько стóят. Таким способом государство бы стало всем и управляло бы всей жизнью. Иначе, если все эти дела не привести в порядок и не привлечь к чему-нибудь всех этих бедствующих людей, — они сами воздадут справедливость, и это будет страшная справедливость, потому что велика кривда и обида. А мы учимся кое-чему с востока и даже слышим многое. И если этот восток останется таким коммунистическим еще тридцать лет, то у нас нынешнему порядку невозможно удержаться. Нынче каждый безработный — это новый коммунист, а если прибавить всех образованных безработных, евреев и поляков, то будут и вожаки, и даже уже есть. Они работают головой, а остальные кулаками.

Что-то будет?

Я думаю, если бы дьявол хорошенько рассмотрел теперешнюю жалкую жизнь крестьянства, и тот бы стал ангелом. Только тот может понять эту нищету, кто ее вынес, а тот, кто ее только видел, тот может говорить о ней, а не понимать ее. Некоторым слишком хорошо живется на свете. Но это все надо выравнять и дать человеку столько, чтобы он знал, что человек не может быть ни миллионером, ни нищим, но должен быть созданием, равно пользующимся благами мира по потребностям человека. Человек хочет работать, строить, делать, а должен считать милостью, если получит работу.

Я пишу, но кто меня поймет и кто станет читать? Буквы немного смазаны, потому что у меня слезы сами капают...

Все за мной, а передо мной — ничего.

Крестьянин Радомского уезда (Радомское воеводство). 3-морговое хозяйство.

Дневной свет я увидел в один августовский день в жалкой избушке моего отца, крытой соломой, с глиняным полом и закоптелыми стенами. Солнечные лучи попадали сюда через небольшое отверстие, пробитое в бревенчатой стене. В избе была одна-единственная кровать, длинная, хромая скамейка и шкафчик с выбитыми стеклами. Когда я стал двигаться собственными силами, то-есть ползать на четвереньках по грязному, ухабистому глиняному полу, — около меня уже не было той, которая в первые дни моего детства убаюкивала меня своим, полным чувства, голосом. Напрасно я пищал: «Ма-ма, ма-ам!» Тогда над моей колыбелью показывалась мать, но мать других детей, на попечение которой я был оставлен на все лето, в то время как моя собственная мать была далеко, в другой стране, кровавым трудом и потом зарабатывая обработкой чужих полей на соль и хлеб. Потому что земля отцов была как-то удивительно скупа и не хотела кормить своих детей. Отца мои детские глаза тоже никогда не видели. Он за жалкую пищу таскал рельсы на постройке германских железных дорог, грузя тяжести в доках Гамбурга или убирая хлеб в окрестностях Дрездена.

Поздней осенью, уже в заморозки, родители возвращались домой с мешками на спинах, чтобы после двух месяцев зимней спячки, в весеннюю распутицу снова пробираться сквозь кусты и разлившиеся ручьи на свою приемную родину труда и хлеба. После нескольких лет такого труда и скитаний, после долгих лет рабской каторги и ползанья у ног помещиков-работодателей и их лакеев, родители заработали столько, что могли купить 2 морга земли и старую, вросшую в землю избу.

Восьми лет отроду я стал ходить в школу, находящуюся в соседней деревне, в двух километрах пути. Летом я пробегал эту дорогу босиком, и мне было хорошо, легко и приятно. Но зимой мороз щипал уши, ветер швырял в лицо горсти снежной пыли и кусал голые руки. А я шел в тапках на деревянной подошве, с плахтой на спине и с холодной картофельной лепешкой в кармане, поминутно проваливаясь по пояс в снежные сугробы. В школе снег в тапках таял, по телу начинал пробегать ледяной холод. Грудь разрывалась от кашля.

На девятый год моей жизни вспыхнула мировая война. Понятие о войне, как о массе зла и несчастия, еще не вмещалось в моем детском сознании, так что, видя прощание отца, идущего на фронт, я не мог понять, что этот близкий мне человек идет на гибель и верную смерть в этой страшной бойне народов.

В скором времени через нашу деревню стали проходить огромные количества войска, пушек, лошадей и всякой амуниции. Однажды я увидел голодных солдат, которые ели сырую капусту. Это зрелище произвело на меня неизгладимое впечатление, вызывая величайшую ненависть к войне и к тем, кто ее устроил.

Во время войны мы подвергались большим лишениям. Матери приходилось ходить в далекий лес за дровами и таскать на спине вязанки хвороста или мешки шишек, чтобы сварить нашу жалкую пищу.

Иногда мать брала меня с собой собирать ягоды и коренья, так как все чаще нам заглядывал в глаза голод, заставляя есть, что попало, чтобы сберечь картошку, которая стала лакомством. Печеную в золе картошку я ел с благоговением, со слезами на глазах. А когда мать плакала, удрученная заботами о черной неизвестности нашей завтрашней судьбы, я не смел ее ни о чем спрашивать, а только поднимал глаза к небу и в полном доверии к силе, распоряжающейся громами, молился, чтобы эта сила вернула мне отца и сократила страдания матери. Но напрасно! Неблагодарный творец зла, скорби и слез не вернул мне отца. Война миновала. Вернулись солдаты. Но среди них нехватало многих сыновей и отцов, а к ним принадлежал и мой отец, который погиб на мертвом поле смерти, задушенный газами.

Война миновала. Миновали дни плача, дни печали и слез. Люди стали медленно подниматься из руин и развалин, как сонные духи просыпаться к труду и творческим усилиям.

Наша земля давала очень плохие урожаи, так что даже прокормиться было невозможно. Я до сегодняшнего дня помню, — и у меня слезы навертываются на глаза при этом воспоминании, — как однажды, в гостях у одного зажиточного мужика, меня угостили гречневой кашей с молоком. Вкус этой каши я и теперь помню и сохраню в памяти до конца жизни: так велика мощь голода.

Когда мать не в силах уже была справиться с нуждой, она принуждена была отдать меня на службу, а дома осталась только младшая сестра. И вот я пошел с узелком подмышкой продавать труд своих маленьких рук за несколько крошек хлеба.

Годы службы были для меня самой тяжкой школой жизни. Жизнь у более зажиточного мужика, могущего себе позволить покупку наемника, была тяжела. Этакий «хозяин» считал меня, как служащего у него, за существо низшего сорта, над которым можно вдоволь поиздеваться, побить, накормить объедками. Дети хозяина относились ко мне так же. Лучше одетые, лучше накормленные, меньше работающие, меня, оборванного и голодного, они считали ничем не лучше четвероногого, которое может спать на гнилой соломе и жрать сухие корки. Сначала я завидовал им, что они могут не работать, имея десятка два моргов земли, пару лошадей и несколько штук скота. Но немного спустя во мне стала зарождаться ненависть, словно бы тихий бунт против тех, что ели за столом, когда я, их слуга, должен был тихонько съедать свою пищу в углу у печки. И чем старше я становился, тем сильнее какая-то внутренняя боль разрывала мою грудь при мысли о том, как я унижен...

После окончания осенних работ — заморозки уже начали прихватывать землю, а поля покрылись тонким слоем снега,—мой работодатель заявил мне, что если я хочу у него оставаться дольше, то могу, но зимой я должен работать только за еду. Этот набожный мужик, который всегда ходил с четками в кулаке и крестился перед едой и перед началом каждой работы, не считался с тем, что работа круглый год за пару штанов и две пары башмаков на деревянной подошве и ночлег в конюшне, что это несправедливо, тем более он не хотел знать, что «работа за еду» была бы эксплоатацией, достойной разве римских патрициев.

Предложенных мне условий я не принял и, несмотря на ожидающую меня домашнюю нищету, ушел от хозяина.

Зимний вечер. На дворе царит глухая пустота ночи, усеянной звездами.

В нашей избе висела маленькая, сонная, коптящая лампочка и бросала тусклый свет на мрачные стены, увешанные изображениями святых. У печки обычно сидела моя мать и крутила веретено, которое, двигаясь то вверх, то вниз, наворачивало на себя тонкую льняную нитку. У столика сидела сестра и маленькими пальчиками перелистывала истрепанные страницы букваря. В печке клокотала на огне варящаяся картошка.

Эту зиму я не служил. Мне исполнилось шестнадцать лет. Целыми вечерами я сидел над книжками и учился. Мне хотелось знать больше, чем другие. Я хотел показать более богатым, чем я, своим ровесникам, что я беднее их, но зато они глупее меня. Это стоило мне недешево. Сколько я настрадался, чтобы добыть книжку, а потом?.. Чувствительный холод в избе, гаснущая лампочка, а иногда голод сколько раз отгоняли меня от книжки. Я был глух ко всему и с дикой настойчивостью вгрызался в печатные страницы и черпал из них знания, свет и радость жизни, которые потом стали для меня страданием, потому что я страдаю тем больше, чем лучше знаю, почему страдаю.

Весной, когда расцвели луга и хлеба покрыли землю зеленью, я пошел бить камни на постройке шоссе. Получив молоток — единственное орудие труда, — я сел с другими у длинной горы камня и сильными ударами превращал в мелкие обломки гранитные утесы. Потянулись длинные, монотонные дни, похожие один на другой, начинающиеся с восходом солнца и кончающиеся с ночной тьмой. Солнце заставало меня утром размахивающим молотом так, что только летели во все стороны

осколки камня, которые должны были стать фундаментом одной из тропинок цивилизации и широкой дорогой для мчащихся автомобилей, везущих богатых, сытых и веселых людей. Будучи милостью неба каменщиком, я колотил молотом изо всех сил, так, что пыль вздымалась тучами, мешала дышать и ела глаза. Солнце жарило во всю силу своей космической мощи, аж все мелькало и дрожало в глазах, как волнующееся море. Кожа на спине вздулась пузырями, обнаженные руки покрылись шелухой, иногда шла кровь носом. Но, несмотря на все это, нужно было работать и торопиться, потому что нищенская плата не позволяла отдохнуть.

С наступлением морозной осени работа на шоссе окончилась. В течение нескольких недель принудительного отпуска я возился около собственной избы: обкладывал стены соломой и вереском, укрывал картошку от мороза и домолачивал остатки ржи, которые могли нам пригодиться на борщ, но не на хлеб.

Через несколько недель заработанные мною летом деньги кончились и нужно было опять искать работу — на этот раз на рубке леса. Снег уже скрипел под ногами, когда я по узкой занесенной тропинке шел в бор. Ноги в деревянных башмаках были обернуты тряпками, на себе — старая, потертая кацавейка — такова одежда рабочего-дровосека, работающего на вольном воздухе, среди морозов и метелей. На дворе было еще серо, а бор уже гудел неистовым пульсом жизни, стонал от ударов топоров, гремел от ломающихся ветвей и валящихся стволов, звучал музыкой стальных пил, приведенных в движение руками сгорбленных, согнувшихся над своим трудом рабочих. А на их прояснившихся лицах глаза горели гордостью, что, тяжко работая, они смогут обогреть теплом огня, накормить картошкой и борщем и прикрыть плохонькими лохмотьями своих детей, жен и матерей, дрожащих от холода там, в этих домишках, рассеянных по полям и зарослям.

Иногда приезжал верхом владелец порубки и, оценив глазами количество выполненной работы, уезжал, не сказав ни слова, гордый своим величием, что вот он дал нам, голодным хамам, работу, вследствие чего мы сможем и завтра сохранить свое существование, еще нужное ему для создания богатства, могущества и славы.

Когда мне было восемнадцать лет, я пошел по следам отцов туда, где было что делать, то-есть на работу в Пруссию. Попасть туда могли преимущественно те, кто мог себе позволить дать в долг без отдачи взятку старосте, агенту или гминному писарю. Нужда и фактическая необходимость не имели значения. Пропуск получал тот, кто передавал в соответственные руки чиновников яйца, масло или деньги, а таким человеком был как раз более богатый мужик, посылающий за границу свою многочисленную семью, чтобы округлить свое имение. По благоприятному стечению обстоятельств я тоже оказался в числе этих счастливцев.

Которого-то числа в марте месяце я очутился в Розенберге. Станционные бараки были переполнены разнообразной толпой, орущей на все голоса. Входящего туда сразу обдавало паром, духотой и клубами дыма, носящегося по переполненным залам, где вповалку лежали на полу, на столах и на лавках усталые, измученные люди. Здесь царило непрестанное движение, голоса людей, уже отъезжающих на место назначения, и шум вновь прибывших.

Только после трехдневного пребывания в прогнивших бараках нас погрузили на поезд, идущий «на Берлин», и через минуту заскрежетали колеса перегруженного локомотива. За собой мы оставляли вонючие бараки, в которых остались еще тысячи таких «перекати-поле», которые еще не отсидели своей очереди, а через каждые несколько часов поезд, приходящий с польской границы, выбрасывал новые и новые полки потрясающих лохмотьями нищих, отправляющихся на неизвестные мучения, искать среди чуждого племени платы за продаваемый труд, чтобы помочь тем, что остались в стране застоя и голода.

После прибытия на место назначения (помещичья экономия) мы, при помощи одного из здешних рабочих, были размещены по «сьтубам»[1]: мужчины отдельно, женщины — отдельно. Сьтуба — большая комната с высокими грязными стенами, у которых расставлены кровати. В углу у входных дверей стоял большой шкаф для кухонной посуды, в противоположном углу было освобождено место для сундуков и корзин, напиханных грязными лохмотьями. Около кроватей стояло несколько длинных массивных скамей, а посредине большой тесаный стол. Когда мы разместились, в сьтубу пришел владелец усадьбы и, оглядев нас всех взглядом мясника, ушел. Через некоторое время пришел «инспектор», который, осмотрев неизвестные экземпляры человеческого зверинца, дал контрактовому соответственные поручения. На следующий день мы были уже на работе.

Начались тяжелые дни гонки при сдельной работе, дни каторги и нечеловеческого напряжения, навсегда пожирающего силы и здоровье, приносимые в жертву молоху богатства за кусок хлеба и немно-

[1] Испорченное немецкое «Stube»—комната.

го плохого супа. Одни из нас работали в поле на волах, другие — вручную. За каждой группой бдительно наблюдал десятник. Десятник с палкой в руках подгонял отстающих, часто «обрабатывая спины» более молодых и бессильных. Он издевался над теми, против кого был предубежден, давая им самую трудную работу; он мошенничал и надувал и на еде, и на деньгах. Он был господином и повелителем. Перед ним дрожали все. Он мог пожаловаться «барину», устроить снижение заработной платы, даже высылку обратно домой. Помещик верил только ему, только он имел голос, потому что был предан господину телом и душой, помогая ему в выжимании из рабочих всех жизненных соков. Это было тем более неприятно, что это ведь тоже был рабочий, большей частью поляк, но предатель, который за несколько сот марок целыми годами продавал своих братьев, на чем владелец зарабатывал много-много больше, чем он.

Возвращаясь из Пруссии, рабочие привозили немного денег. Но как они доставались! Во-первых, они были вымучены кровавым напряжением батрака, который черными, потрескавшимися руками рассыпал искусственные удобрения, вырезал сорняки в хлебах, картошке и свекле. С лицом, загоревшим, как уголь, убирал хлеб в жатву. А за свое целодневное напряжение получал столько, что ему нехватало даже на полное удовлетворение потребностей голодного желудка. А чтобы еще сэкономить что-нибудь он принужден был отказывать себе в самых необходимых вещах, начиная с сокращенной порции хлеба, намазанного маргарином, и кончая одеждой, купленной в старой лавчонке. Случалось, что человек экономил, экономил и все же ему не удавалось ничего подкопить за все лето, и только осенью, когда наступала уборка картошки, а потом свеклы, он начинал гнать изо всех сил, чтобы возможно больше заработать. Это была уже не работа, а какой-то дикий ураган. Казалось, что это делает не человек, а машина. Трудно было поверить, что этот человек, оборванный, сгорбленный, с диким блеском в залитых потом глазах, может быть способен к такой титанической борьбе с землей и ее плодами. А он, не чувствуя дождя, грязи и воющего ветра, не обращая внимания ни на что, дергал за листья, подкапывал корень маленькими вилами и вытаскивал свеклу из клейкой земли. Через несколько дней такой работы руки так опухали, что никто из нас не мог сжать их в кулак. А приходя вечером домой, каждый, как колода, валился на кровать и лежал без движения до утра, чтобы утром начать сначала.

После окончания работ мы, все изгнанники, ехали по домам, на родину. Это последнее понятие никогда слишком сильно не связывало ходящих на заработки в Германию. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь скучал по родине. Разве только по родной деревне, где оставил близких. Родиной была работа. Там, где была работа и хоть какие-нибудь средства к существованию,—там всюду было для несчастных отечество. Все равно под какой широтой и долготой это находилось, лишь бы облегчить свою долю, избавиться от страданий своих отцов и дедов.

—

Вернувшись из армии, я стал лицом к лицу перед черной действительностью жизни деревенского человека. Я принес с собой гнилые лохмотья, которые не обещали слишком долго жить, а других не на что было купить, потому что моих 2 моргов земли нехватало даже на содержание троих людей. К тому же мать, истощенная работой в Германии, недоеданием и войной, потеряла силы и перестала работать. Так что содержание ее и сестры упало на мои плечи. Но каким образом прокормиться и одеться на этом клочке земли? Оставалось только итти к помещику, просить, может, дадут какую-нибудь работу. Я пошел, просил, унижался у ног помещика. Нет! Велели притти когда-нибудь позже. Пошел через две недели. Мне предложили поденную работу при лошадях. С этих пор я много недель ходил за плугом по мокрой пашне, грязь которой облепляла сапоги так, что с трудом ноги приходилось вытаскивать. Иногда солнце уже скрывалось за горизонтом, а по помещичьим полям еще долго раздавались голоса пахарей «н-ню!», «тпру!», а помещик стоял на пригорке и следил за движениями своих подданных.

Когда полевые работы кончались, нас посылали с хлебом в город. Нас выгоняла из дому ночь, дождь и ветер, воющий по закоулкам. Дорогой приходилось сидеть высоко на ящике, на мешках с хлебом, едва прикрывшись старой, истрепанной тряпкой, которая немного защищала от дождя. После такой езды за 30 километров по каменистой дороге, голова чуть не лопалась от боли. Возвращались мы в 11 часов ночи. Тогда голодный, озябший и мокрый, я ложился спать на конюшенных нарах, которые после такого путешествия казались удобнейшим матрацем. Через пять часов сна нужно было вставать и тащиться на работу. Человек был так замучен, что не было времени ни умыться, ни кое-как почиститься. Я ходил, как сумасшедший: грязный, оборванный, пропитанный запахом навоза. Эти отвратительные условия труда усугублялись еще тем,

что к нам обращались с омерзительными ругательствами, которые употребляли все, начиная с помещика и кончая приказчиком.

Но это подлое издевательство со стороны этих кровопийц было еще ничего. Они вспомнили давно прошедшие времена барщины, когда они могли бить дворового, а он, как собака, ползал у их ног. Я видел собственными глазами, как помещица приехала верхом на молотьбу и била рабочего по лицу. Я видел, как у мужика мелькнул в глазах зловещий огонек и — погас, так как свирепая действительность кричала его разуму: «Куда пойдешь?.. Где получишь работу?.. Чем прокормишь жену и детей?..» И этот сильный мужик, от удара кулака которого могла треснуть челюсть, покорно опустил глаза и ждал, пока остынет гнев госпожи. Ибо, куда пойдет этот несчастный, за что ухватится, если всюду, во всю длину и ширину Польши, нечего делать?! Нынче уже не пойдешь в Германию, не пойдешь в город, да и жизни себя не лишишь. Человек слишком любит эту жизнь, свою нищету, своих грязных и оборванных детей и живет надеждой на лучшее завтра.

Во время моей службы у помещика умерла моя мать. С целью похоронить ее я пошел к ксендзу. Тот за погребение тела матери потребовал столько, что, дабы заработать эту сумму, я должен был работать 40 дней. Я просил его представить себе, что такое 40 дней работы на помещика. Сколько нужно пота и крови, чтобы это заработать. Он сказал, что это не его дело. Плати и баста!

За пять минут кадения ладаном и принятие притворной умоляющей позы, я принужден был заплатить 35 своих рабочих дней (то-есть 35 злотых), проведенных на дожде и холоде, в грязи и пыли затем, чтобы он, посредник того света, мог ничего не делать и пользоваться плодами труда.

Через некоторое время после смерти матери я ввел в свой дом жену, чтобы вдвоем легче было тащить этот жизненный воз. А так как в такую семейную артель обязательно нужно вступать при помощи костела, значит пошел туда и я. Для начала духовный отец велел мне заплатить 10 злотых за так называемые оглашения. Через три недели я пошел договориться о свадьбе. Ксендз потребовал 60 злотых. Я предложил ему 20 злотых. Он и слушать не хотел. Да еще, мало этого, обругал меня хамом, холуем, безбожником, вольнодумцем и тому подобными эпитетами, после чего открыл дверь и велел мне убираться. Этого я уже не мог стерпеть. Охваченный страшным гневом, я схватил ближайший стул и ударил им по священной голове, а тогда уже ушел.

На третий день после этого случая меня прогнали со службы в усадьбе без объяснения причин.

К ксендзу с женой я уж больше не ходил, и с тех пор мы живем, как у нас говорят, «на веру», хозяйничая на трехморговом клочке земли. Плохое это хозяйствование. Урожая нехватает даже на пропитание. А одежда, а топливо? Нужно было хвататься за какую-нибудь работу. Главный заработок в деревне, который скорее всего можно получить, — это молотьба. Я взялся за молотьбу. Ходил от мужика к мужику, от гумна к гумну и размахивал куском дубины, чтобы сильными ударами выбить зерно из колосьев и создать материал для хлеба.

Часть такой работы я выполнял как отработку за помощь лошадьми при обработке моей земли, за привоз дров из леса или за проценты на одолженные перед новиной у зажиточного хозяина несколько килограммов муки.

Остальное мне выплачивали сывороткой от масла, картошкой или другими хозяйственными продуктами. Другой работы, кроме этой, ни на грош.

Летом за то, что я «хозяин», я был назначен на работу по постройке гминного шоссе. Я должен был отработать шесть рабочих дней. В 7 часов утра надзиратель выгонял нас на работу. Нужно было бить киркой твердую глину и рвать жесткую землю так, что пот тек по лицу, заливал глаза и пропитывал рубашку на теле. Работа эта происходила как раз перед новым урожаем, когда в доме не было ни крошки хлеба, а во многих домах не было и картошки. В полдень жена приносила мне обед, состоящий из картошки и кипяченой сыворотки. Но никто не обращал внимания на то, что эти черные, со впалыми щеками, скелеты — голодны и шатаются от слабости. Никто не чувствовал, что работать даром, да еще в таких условиях, — это обида и несправедливость. Никто этого не чувствовал, никто не протестовал, а вместо этого просто приказывал гнать нас за 6 километров к месту работы, оказывая неслыханный нажим на бунтовщиков.

Но настоящий ад жизни я узнал только, когда у меня родился ребенок. Люльку для него я занял у добрых людей. Крестить мы его не крестили, потому что у меня не было 10 злотых. А откуда мне их было взять, когда уже к новому году у меня не было ни зерна в амбаре, а в чулане едва несколько десятков кило муки? Как мрачно выглядела наша низкая изба, когда в сумерки младенец начинал пищать от голода в люльке, а мать не могла насытить его своей увядшей грудью! Ели

мы кое-как. Утром — картофельная похлебка или растертая картошка, на обед — сухая картошка и борщ из одной свеклы, заправленный разбитым яйцом, или ячменная каша с сушеными грушами, на ужин опять картошка — и так кругом. Понятно, что в таких условиях ребенок не мог расти и умер, избавившись от страданий будущего.

Кто-нибудь может подумать, что так люди живут и воспитываются в деревне только в отдельных случаях. Но это только наивность. Даже хозяин на нескольких моргах (от 5 до 10 моргов), имеющий нескольких детей, воспитывает их таким образом, что, как только они дорастут до 11—12 лет, он поочередно отдает их пасти коров, а когда станут постарше — лошадей, и такую жизнь они ведут до достижения самостоятельности.

В нашей деревне есть такие дома, где спят по пять человек в одной кровати, так что не разберешь, где ноги, а где головы. Единственным питанием обитателей нашей деревни являются картошка и капуста, а в некоторых домах едят только два раза в день: поздний завтрак и обед вместе с ужином; а когда дети закричат: «Есть», то мать испечет им картошки или разогреет картошку с завтрака. Это происходит больше зимой, когда день короче и легче проспать голод. Некоторые семьи зимой приходят в свою избу только на ночь, потому что днем там невозможно высидеть от холода, дров не на что купить, а заработать негде и нечего.

Всюду рекламируют, что «сахар укрепляет», но в деревне люди его не знают. Например, в нашей деревне на 600 обитателей лавка продает 3 килограмма сахару в неделю. Разве что кто купит больному ребенку на 5 грошей. Можете себе представить, что у нас народ покупает спички на штуки (4 спички на грош), а тонкие папиросы мужики разрывают на три куска! Перед новиной, когда зерно в колосьях уже затвердевает, у нас очень входит в моду кушанье, называемое «житяки». Это вроде каши из измельченных жерновом зерен ржи. Эту кашу тушат в глиняном горшке, и беднота ест ее с сывороткой или с молоком. Ее делают обычно в страду, так как тогда нужно особенно много сил, а народ ослабел до такой степени, что в прошлое жнитво, случалось, косцы падали в обморок во время работы на помещика. Бывало, такой парень, выходя утром на работу, поест только еще воняющей зеленью картошки и пойдет косить. Ну сначала он довольно широко и мерно махал косой по земле и срезал склонившиеся колосья хлеба. Но, по мере того, как солнце подымалось все выше, он все слабел, обливался потом, все медленнее вел косу, пока, наконец, не уставал от чрезмерного напряжения. Он упирался косой в землю, ноги, не в силах удержать тяжести тела, подгибались в коленях, в глазах темнело, в ушах начинали звонить таинственные колокола. Потом он шатался и падал без сознания на землю.

Этой осенью копать картошку в усадьбе сходились издалека, за 5—7 километров. Из дома выходили еще затемно и кончали работу в сумерках, когда уже нельзя было различить картошку в земле. И за эту работу получали 80 грошей в день. Более строптивых тотчас же выкидывали с работы, говоря: «Тебе не нравится, а? Так убирайся к чертям, на твое место тысячи других найдутся...»

Когда уборка картошки окончилась, бедные люди ходили на усадебное картофельное поле и ворошили землю в надежде найти оставленные кое-где картофелинки.

Один раз — а дело было в полях, далеко от усадьбы, — бедняки, как обычно, разыскивали отдельные картофелины, когда вдруг налетел помещик верхом, окруженный дворовыми. Он приказал им отобрать собранную картошку и бросить ее на пашни, чтобы запахать под озимые.

Прошлой весной, когда солнце уже стало высушивать сырость на полях, на усадебном картофельном поле показались люди и начали собирать померзшие и сгнившие картофелины, валявшиеся на земле, размытые дождем и снегом, чтобы отнести их домой и, сняв верхний слой, испечь крахмальные лепешки, чтобы насытить умирающих с голоду детей.

В сто раз хуже, чем сегодняшняя беда, забота о неизвестном будущем завтрашних дней. Каждый день, утром и вечером, перед моими глазами встает призрак еще большей нищеты, а может быть, и голодной смерти на этой же самой земле, которая меня кое-как вырастила, но не позволяет мне жить. Сердце разрывается от отчаяния, что я должен умирать с голоду, когда кругом полно хлеба. Помешательство клубится в моем мозгу при мысли, что я должен быть бездеятельным, не имея возможности строить лучшее будущее, так как у меня руки скованы.

Мы, нищие мужики, из-под соломенных крыш протягиваем к вам руки и умоляем: придите нам на помощь, вырвите нас из когтей несчастья, так как мы тоже хотим жить и пользоваться плодами своего труда! Мы не хотим богатства, мы хотим работы и справедливого распределения плодов труда между всеми трудящимися, ныне обездоленными, голодными и подвергающимися издевательствам.

А. Осипов

ОБ ОЧЕРКЕ «В ОДНОМ КОЛХОЗЕ»

В № 8 нашего журнала был напечатан очерк Р. Акульшина «В одном колхозе». Поверив в осведомленность писателя, редакция поместила этот очерк без предварительной проверки. Между тем, как выяснилось в результате посещения колхоза «Победа» представителями МК ВЛКСМ и редакции «Молодой гвардии», Р. Акульшин извратил действительное положение вещей и сделал ряд предвзятых, неправильных выводов.

Редакция считает помещение очерка Р. Акульшина «В одном колхозе» серьезной ошибкой и полностью присоединяется к печатаемой ниже статье тов. Осипова (заведующего Отделом крестьянской молодежи МК ВЛКСМ), правильно освещающей работу комсомольской организации и жизнь молодежи колхоза «Победа».

В нашей стране с большим уважением относятся к работе писателя и привыкли доверять его слову. Тем большая ответственность ложится на литератора, особенно когда он берет на себя роль критика недостатков и нездоровых явлений в нашей жизни. Он обязан проявить в этом случае максимальную чуткость к людям, тщательно проверять факты и сделать из них выводы, правильно отражающие действительность и не искажающие ее.

Всех этих требований не выполнил Р. Акульшин, автор очерка «В одном колхозе», опубликованного в № 8 журнала «Молодая гвардия».

На протяжении всей своей корреспонденции Р. Акульшин изображает дело таким образом, что, мол, в передовом колхозе «Победа», Дмитровского района, Московской области, растет отсталая, безынициативная, мало чем интересующаяся молодежь, которая только и знает, что занимается хулиганством и другими «сомнительными развлечениями». Комсомольская организация колхоза, по Р. Акульшину, совершенно не работает, и в успехах колхоза молодежь и комсомол ни в какой мере не повинны.

Только с завязанными глазами, не желая видеть действительного положения вещей, только не зная нашу молодежь, мог притти Р. Акульшин к таким выводам. Подробная проверка работы комсомольской организации колхоза «Победа» убедительно доказывает, что автор очерка «В одном колхозе» неправильно освещает работу комсомольской организации, поведение молодежи, ее отношение к труду, политический и культурный уровень, стремления и запросы..

Выискивая одни только отрицательные факты, базируясь на отдельных случаях неправильного поведения комсомольцев и молодежи, сгущая краски

и даже искажая ряд фактов, Р. Акульшин делает вывод о том, что комсомольская организация колхоза «Победа» является «больным организмом» и что таких комсомольцев «в Советском Союзе в настоящее время уже немного и с каждым днем их будет все меньше».

Дальше автор утверждает, что комсомольцы и молодежь колхоза «Победа» являются лодырями, работают «скрепя сердце», разваливают трудовую дисциплину в колхозе и т. п.

Все эти утверждения ни на чем не основаны. Обратимся к фактам.

Из 23 комсомольцев, состоящих на учете в организации, 11 работают на находящейся рядом ткацкой фабрике и 12 — в колхозе. Все комсомольцы честно работают на своих участках. Так, комсомольцы И. Широков и А. Макеев являются счетоводами колхоза. Колхозное счетоводство находится в образцовом состоянии, о чем единодушно заявляют председатель колхоза и колхозники. Комсомолец А. Зуйков работал рядовым колхозником, летом этого года был выдвинут на должность колхозного парниковода и с работой справлялся. Образцовая работа Зуйкова отмечалась районной газетой. За 8 месяцев он выработал 221 трудодень. В сентябре этого года тов. Зуйков призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии. Комсомольцы Е. Морозов, П. Дроздов, Н. Макеев, С. Зиновьев, работая рядовыми колхозниками, выработали от 180 до 200 трудодней каждый. Комсомольцы-учащиеся Графов, Лукин, Костылев и другие, избач В. Графов в каникулярное время и выходные дни активно помогали колхозу в проведении уборки урожая. Они выработали свыше 50 трудодней каждый.

Так же хорошо относятся к труду комсомольцы, работающие на ткацкой фабрике. Например, комсомолец П. Дроздов работает на Муравьевской ткацкой фабрике два года, пришел туда неквалифицированным рабочим, обучился на помощника мастера. Недавно выдвинут мастером смены, с работой справляется. Комсомолец Кружков работает помощником мастера комплекта. Хорошо знает технику производства, комплект систематически выполняет и перевыполняет нормы выработки. Ткачиха-комсомолка Макеева является лучшей стахановкой фабрики, перевыполняет нормы. Неоднократно премирована. Изучала техминимум, который сдала на «отлично». Добросовестно относятся к работе и остальные члены комсомольской организации — Ланцова, Скороходов и другие.

Нельзя согласиться и с тем, что настасьинские комсомольцы «мало чем интересуются, кроме сомнительных развлечений», не хотят учиться, повышать свою производственную квалификацию, что они больше всего любят сказки и басни, как утверждает Р. Акульшин. Такая характеристика совершенно расходится с действительностью.

Если взять общеобразовательный уровень комсомольцев колхоза «Победа», то из 23 человек — 2 имеют подготовку в объеме 4 классов, 8 комсомольцев имеют образование 5—6 классов, 10 окончили неполную среднюю школу и 1 имеет образование в объеме 9 классов. Многие комсомольцы продолжают учиться, работают над повышением своей производственной квалификации.

Комсомолец-счетовод Широков окончил заочные курсы счетоводов при НКЗ СССР. Счетовод Макеев уже год как обучается на этих курсах. Бывший заведующий избой-читальней Костылев поступил учиться в техникум политпросветработы в г. Егорьевске, комсомолец Егоров учится без отрыва от производства в аэроклубе.

Комсомольцы и молодежь, работающие на фабрике, овладевают техминимумом; многие из них уже закончили обучение с отличными и хорошими показателями.

Проверка картотеки колхозной библиотеки показывает, что молодежь про-

являет огромный интерес к чтению газет и художественной литературы.

Вот отдельные примеры.

Н. Макеев — 17 лет, счетовод колхоза, заместитель секретаря комсомольской организации, культурный, грамотный и дисциплинированный товарищ. Регулярно читает «Правду», «Известия». Читает много художественной литературы. За полтора года он прочел 36 книг, среди которых — «Тихий Дон» М. Шолохова, «Хлеб» А. Толстого, «Овод» Войнича, «Рожденные бурей» Н. Островского и другие.

Е. Скороходов — 20 лет, образование 9 классов, читает газеты, художественную литературу. За год прочел около 40 книг.

С. Морозов — 20 лет, образование 4 класса, рядовой колхозник. С августа 1936 г. прочел около 70 книг художественной литературы, в том числе «12 стульев» Ильфа и Петрова, «Воскресение» Л. Толстого, «Одиночество» Вирта, «Девяносто третий год» Гюго и др.

И. Широков регулярно читает «Правду», «Известия». За год прочел 17 книг.

Около 40 книг прочел В. Графов (секретарь комсомольской организации). Много читают и другие комсомольцы.

Все это с достаточной убедительностью говорит о культурном уровне, о запросах комсомольцев и молодежи колхоза «Победа». Остается непонятным, почему Р. Акульшин не видит или не желает видеть эти факты. Также вызывает недоумение и характеристика, данная им работе комсомольской оранизации. Из приведенных Р. Акульшиным примеров, из сделанного им обзора протоколов комсомольских собраний следуют только одни отрицательные выводы. Автор не мог не видеть положительное в работе организации.

В 1938 году комсомольская организация колхоза «Победа» приняла в комсомол 13 человек несоюзной молодежи, в 1939 году принято в комсомол 9 человек. В 1939 году подготовлено 25 значкистов ГСО. Комсомольцы-призывники Зуйков и Зиновьев перед призывом в РККА сдали нормы на 4 оборонных значка. Многие комсомольцы активно участвовали и участвуют в общественной работе. И. Широков в период выборов в Верховный Совет РСФСР работал членом участковой избирательной комиссии, сейчас он — общественный инспектор райфинотдела. За образцовую работу 3 раза премирован. Тов. Скороходову поручена организация драмкружка, 6 комсомольцев выделены для работы в 10 дворах в качестве агитаторов, чтецов и т. д.

Р. Акульшин, делая выборки из протоколов комсомольской организации, не мог не видеть, что комсомольская организация провела ряд ценных мероприятий. Так, ссылаясь на протокол № 4, он старательно выписывает невыполненное постановление о запрещении курить, грызть семечки в клубе и т. п. и не замечает (хотя это первый вопрос на повестке дня) решения собрания о проведении литературной конференции по книге Н. Островского «Как закалялась сталь». Такая конференция была проведена при активном участии комсомольцев и молодежи.

По решению комсомольского собрания, в период подготовки к весеннему севу был организован сбор золы, позже проведен субботник по посадке картофеля, в котором принимали участие 18 комсомольцев.

Поставив своей единственной целью представить работу комсомольской организации и молодежи колхоза в «черном свете», Р. Акульшин допускает грубое искажение ряда фактов. Например, он описывает факт назначения колхозного бригадира Г. С. Егорова заведующим клубом якобы из-за отказа комсомольской организации выделить заведующего клубом из числа комсомольцев и вот в результате перемещения тов. Егорова... пошел град, побил огородные посевы, и первой причиной такого несчастья оказалась... комсомольская организация. Однако все обстоит значи-

тельно проще. Тов. Егоров был назначен заведующим клубом потому, что врачи по состоянию здоровья запретили ему полевую работу... Уж не собирается ли Р. Акульшин обвинить комсомол и в болезни тов. Егорова?

При чтении очерка Р. Акульшина у читателя складывается впечатление о колхозе «Победа», как отсталом колхозе, где царит бескультурье и хулиганство, виновницей чего является колхозная молодежь. Автор пишет о производственных успехах колхоза, но резко отделяет их от культурного уровня колхозников. На самом деле это не так. Наряду с тем, что колхоз добился хороших производственных показателей, неизмеримо выросло и материальное благосостояние колхозников, и культура села.

В каждом доме имеется электричество и радио. В колхозе — хороший клуб, детские ясли, хорошие общественные постройки и дома колхозников. Имеется звуковая киноустановка; 6 раз в месяц демонстрируются новые кинокартины. Колхозная библиотека, в которой имеется свыше 5 000 томов, насчитывает 350 читателей. Именно поэтому колхоз из года в год успешно справляется с сельскохозяйственными работами, и к этим успехам, по заверению всех колхозников, несомненно причастна и колхозная молодежь.

Правда, в работе комсомольской организации есть существенные недостатки. Она не перестроила еще своей работы в соответствии с решениями XVIII съезда ВКП(б) и слабо пока-что вникает в хозяйственные дела своего колхоза. Действительно, в таком передовом колхозе, как «Победа», культурная работа может и должна быть организована лучше, чем теперь, и комсомольцы должны стать застрельщиками этой работы. Плохо поставлена политико-воспитательная работа среди комсомольцев и несоюзной молодежи, в силу чего и имели место недисциплинированные поступки отдельных комсомольцев—пьянство и даже хулиганство. Причиной этих пороков являлось то, что комсомольская организация не вела решительной борьбы с ними, причем большая часть вины падает на Дмитровский райком ВЛКСМ, который не оказывал достаточной практической помощи комсомольской организации.

Комсомольская организация колхоза очень молода и по возрасту комсомольцев, и по стажу, она не имеет достаточного опыта и требует повседневного руководства. Райком же комсомола такого руководства не обеспечил.

Вот об этом и следовало поставить вопрос Р. Акульшину, а не заниматься огульным охаиванием колхозной молодежи, которая, несмотря на отдельные недостатки, в целом является и здоровой, и работоспособной, и, нет сомнения, в ближайшее время улучшит свою работу. Уже сейчас комсомольцы наметили и осуществляют ряд важных мероприятий: организовали политзанятия, активно включились в подготовку к предстоящим выборам в местные советы депутатов трудящихся.

Следовательно, автор корреспонденции «В одном колхозе», делая неправильные выводы, вольно или невольно, оболгал молодежь передового колхоза и сам колхоз.

Такие очерки, как очерк Р. Акульшина, не могут правильно ориентировать и молодежь, и комсомольскую организацию колхоза и лишь вводят в заблуждение читателей.

В. Мануйлов

ЛЕРМОНТОВ И НАРОД

(К 125-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова)

1

Почти сто лет тому назад В. Г. Белинский в статье о стихотворениях Лермонтова с великой уверенностью предсказал, что придет «время, когда имя его в литературе сделается народным именем, и гармонические звуки его поэзии будут слышны в повседневном разговоре толпы, между толками ее о житейских заботах». Так именно и случилось: литературное наследие Лермонтова вошло в нашу культуру и обогатило нашу речь наравне с творениями Пушкина, Грибоедова, Гоголя, Л. Толстого... «Звуки его поэзии» живут в речи нашей эпохи, страна любит и помнит Лермонтова больше, чем когда бы то ни было. Только в наши дни, в стране социализма, великий народ может в полной мере оценить своего поэта.

Как беспомощны были попытки некоторых вульгарных социологов втиснуть Лермонтова в узкие понятия «внутридворянских прослоек», сумевших разглядеть в Лермонтове только его «дворянскую ограниченность» или признаки «становления буржуазной идеологии». Как исчерпывающе точно определил Белинский место и значение Лермонтова: «Мы узнаем в нем поэта русского, н а р о д н о г о (курсив Белинского. — *В. М.*), в высшем и благороднейшем значении этого слова, — поэта, в котором выразился исторический момент русского общества!»

Лермонтов — народный поэт, «всевластный обладатель царства явлений жизни, он воспроизводит их, как истинный художник; он поэт русский в душе — в нем живет прошедшее и настоящее русской жизни» — вот что увидел Белинский в Лермонтове. Нужен был проницательный и смелый ум великого критика, нужен был его острый взгляд, чтобы так безошибочно верно различить новое и значительнейшее явление русской литературы. И, как бы заранее предвидя недоверчивую улыбку самодовольного петербургского обывателя, Белинский открыто предупреждал: «Знаем, что наши похвалы покажутся большинству публики преувеличенными; но мы уже обрекли себя тяжелой роли говорить резко и определенно то, чему сначала никто не верит, но в чем скоро все убеждаются, забывая того, кто первый выговорил сознание общества и на кого оно за это смотрело с насмешкою и неудовольствием».

Лермонтов родился в 1814 году, в той самой Москве, которая за два года до этого была отдана французам и сожжена. Весь русский народ поднялся, чтобы изгнать врага из пределов родины. Это была народная война, это была героическая эпоха. Лермонтов вступил в сознательную жизнь уже в годы реакции, но отголоски освежающей «грозы двенадцатого года» доходили до него в рассказах старших. О 1812 годе Лермонтов впоследствии вспоминал не только в «Бородино», но и в драме «Странный человек», где Заруцкой говорит: «А разве мы не доказали в 12 году, что мы русские? — такого примера не было от начала мира — мы современники и вполне не понимаем великого пожара Москвы; мы не можем удивляться этому поступку. Эта мысль, это чувство родилось вместе с русскими; мы должны гордиться, оставить удивление потомкам и чужестранцам! ура! господа! Здоровье пожара Московского».

Детство Лермонтова проходило в глубине крепостнической провинциальной России,

в усадьбе его бабки, — Тарханах Чембарского уезда Пензенской губернии. Подобно Тургеневу и Льву Толстому, Лермонтов с детства общался с народом, слышал живую, меткую крестьянскую речь, наблюдал быт и нравы многочисленной дворни. Недалеко от усадьбы была деревня. Мальчик слышал разговоры о тарханских бескормицах, недородах, о рекрутчине.

Сотоварищами детских игр Лермонтова были крестьянские мальчики — с ними он играл в войну и разбойников, затевал кулачные бои. Еще в 80-х годах были живы старики-крестьяне, которые с любовью вспоминали о нем.

Впоследствии пятнадцатилетний Лермонтов уже хорошо понимал плодотворность тесного общения с народом и народным творчеством. В одной из своих тетрадей он записал: «Наша литература так бедна, что я из нее ничего не могу заимствовать; в 15 же лет ум не так быстро принимает впечатления, как в детстве; но тогда я почти ничего не читал. Однако же, если захочу вдаться в поэзию народную, то, верно, нигде больше не буду ее искать, как в русских песнях. Как жалко, что у меня была мамушкой немка, а не русская, — я не слышал сказок народных: в них, верно, больше поэзии, чем во всей французской словесности». Это было сказано до выхода в свет пушкинских сказок.

2

Лермонтов рос болезненным ребенком. Его бабушка Е. А. Арсеньева трижды возила его на Кавказ. Путевые впечатления, кавказская природа, рассказы старших о кавказской войне запечатлялись в памяти мальчика. Кавказ стал излюбленной темой Лермонтова еще в его детских стихах и юношеских поэмах. И замечательно, что жизнь народов Кавказа заинтересовала Лермонтова не менее, чем кавказская природа.

Молодой Лермонтов задолго до того, когда ему пришлось самому принять участие в кавказской войне, понял хищнический, колониальный характер этой войны. Лермонтов знал, что победа рано или поздно будет на стороне русского самодержавия:

Какие степи, горы и моря
Оружию славян сопротивлялись?
И где веленью русского царя
Измена и вражда не покорялись?
Смирись, черкес! и т. д.
(«Измаил-бей».)

Но вместе с тем он любил «сынов Кавказа» «воинственные нравы», он явно им сочувствовал:

Горят аулы; нет у них защиты,
Врагом сыны отечества разбиты,
И зарево, как вечный метеор,
Играя в облаках, пугает взор. —
Как хищный зверь, в смиренную обитель
Врывается штыками победитель;
Он убивает старцев и детей,
Невинных дев и юных матерей
Ласкает он кровавою рукою,
Но жены гор не с женскою душою:
За поцелуем вслед звучит кинжал, —
Отпрянул русский,—захрипел,—и пал!
«Отмсти, товарищ!» и в одно мгновенье
(Достойное за смерть убийцы мщенье!)
Простая сакля, веселя их взор,
Горит,—черкесской вольности костер!..

Костер гибнущей и идеализированной Лермонтовым кавказской вольности освятил всю мятежную и стремительную жизнь поэта. В наши дни, в сталинскую эпоху, когда старая Россия, эта тюрьма народов, превратилась в содружество братских республик, нам особенно дороги и близки в творчестве Лермонтова гуманные мотивы сочувствия к угнетенным народам, интерес к их жизни и их исторической судьбе. Теперь эти народы свободны, и они читают Лермонтова на своем родном языке. Социалистическая революция разрешила вековые противоречия, с которыми Лермонтов непосредственно столкнулся еще в детстве, во время первых своих путешествий на Кавказ.

3

Лермонтов, пансионер Московского университетского пансиона, уже проявляет интерес к народно-бытовым сюжетам. Таково раннее его стихотворение «Преступник» (1829 г.).

Впрочем, образы и язык этого стихотворения еще далеки от народной поэтики. Здесь гораздо более ощутимо влияние «Братьев разбойников» Пушкина и «Дон Карлоса» Шиллера, чем подлинных песен о разбойниках. «Атаман» (1831 г.) также далек от народного подлинника. Это весьма условный пересказ песни о Степане Разине [1].

Но интерес к народной жизни, к участи крепостного крестьянства в творчестве молодого Лермонтова выражен совершенно определенно. В отроческом, наивно-иносказательном стихотворении «Жалоба турка» (1829 г.) Лермонтов задумался о своей «отчизне», о русских крестьянах, которые «стонут от рабства и цепей». Через два года он пишет драму «Странный человек». Целую сцену посвятил Лермонтов разговору своих героев с крепостным крестьянином, присланным от всего села с просьбой выкупить крестьян у жестокой соседки-помещицы. Лермонтов-студент, так же как и студент Белинский, написавший

[1] Приписывавшаяся Лермонтову песня о теще в плену у зятя-татарина («Что во поле пыль пылит») на самом деле является записью народной песни. Но и самый факт записи юношей Лермонтовым народной песни достаточно показателен.

драму «Дмитрий Калинин», нашел смелые слова, чтобы правдиво рассказать об участи оброчных мужиков, о злодействах управителя, о жестокостях помещиков.

Это было в годы жестокой николаевской реакции. Но юноша Лермонтов знал и верил, что настанет год, «когда царей корона упадет»...

Молодого Лермонтова все больше привлекает тема народной революции, восстание Пугачева. Еще до начала работы Пушкина над «Капитанской дочкой» и до выхода в свет «Истории Пугачевского бунта» Лермонтов приступает к историческому роману «Вадим». Этот первый, незавершенный опыт прозы носит еще все признаки увлечения Лермонтова школой западноевропейского и русского «неистового романтизма». Герой романа, горбач Вадим, — типичный романтический герой, святой злодей, гордый мститель. Но когда Лермонтов переходит к народным сценам и передает разговоры крестьян, тотчас пробивается живая, реалистическая струя, веет подлинной правдой жизни. Это уже не от литературных образцов, но от личного опыта поэта, от его удивительного чутья. И эти страницы овеяны поэзией народных преданий и разбойничьих песен.

Подобно Пушкину, Лермонтов нисколько не идеализирует восставших крестьян и пришедших к ним казаков-пугачевцев. Лермонтов спокойно описывает сцены жестокой расправы восставшего народа с помещиками. Но как понимает Лермонтов всю неизбежность этой народной мести! «Умы предчувствовали переворот и волновались; каждая старинная и новая жестокость господина была записана его рабами в книгу мщения, и только кровь их могла смыть эти постыдные летописи».

С какой зрелой простотой и правдивостью передан приход отряда Орленко в деревню Палицына (гл. XXII), как жива сцена с приказчиком! Чего стоит хотя бы заключение этой главы: «С отчаянием в груди смотрел связанный приказчик на удаляющуюся толпу казаков, умоляя взглядом неумолимых палачей своих, — с дреколием теснились они около несчастной жертвы и холодно рассуждали о том, повесить его или засечь, или уморить с голоду в холодном анбаре; последнее средство показалось самым удобным, и его с торжеством, хохотом и песнями отвели к пустому анбару, выстроенному на самом краю оврага, втолкнули в узкую дверь и заперли на замок. — Потом народ рассыпался частью по избам, частью по улице; — все сии происшествия заняли гораздо более времени, нежели нам нужно было, чтобы описать их, и уже солнце начинало приближаться к западу, когда волнение в деревне утихло; девки и бабы собрались на заваленках, — и запели праздничные песни!.. — Вскоре стада с топотом, пылью и блеянием, возвращаясь с паствы, рассыпались по улице, и ребятишки с обычным криком стали гоняться за отсталыми овцами... и никто бы не отгадал, что час или два тому назад, на этом самом месте, произнесен смертный приговор целому дворянскому семейству...»

По всей вероятности, ни Пушкин, ни Белинский не знали этих юношеских произведений Лермонтова, но по стихотворениям, написанным после смерти Пушкина, и по «Герою нашего времени» Белинский сумел сразу же разгадать в Лермонтове «львиную натуру, страшный и могучий дух».

4

В 1835 году в журнале «Библиотека для чтения» была напечатана поэма «Хаджи-Абрек», подписанная «Лермонтов». Это имя было известно только небольшому кругу московских и петербургских знакомых. Некоторые любители литературы благосклонно приняли поэму молодого автора, но славы эта поэма Лермонтову не принесла.

«Смерть Пушкина возвестила России о появлении нового поэта, — Лермонтова», так определил В. А. Сологуб впечатление, которое произвели на всех стихи Лермонтова «Смерть поэта». Не только «прослойка» дворянской интеллигенции, но вся грамотная Россия услышала в ненапечатанных этих стихах выражение своего гнева. Это был голос народа. Современники именно так и расценивали это событие. «Навряд ли когда-нибудь еще в России стихи производили такое громадное и повсеместное впечатление», писал В. В. Стасов. «Стихи Лермонтова на смерть поэта, — вспоминал впоследствии Панаев, — переписывались в десятках тысяч экземпляров, перечитывались и выучивались всеми».

Лермонтов считал, что назначение поэта, что его долг в том, чтобы его стих

...носился над толпой
И, отзыв мыслей благородных,
Звучал, как колокол на башне вечевой
Во дни торжеств и бед народных.

Стихи на смерть Пушкина прозвучали, как набат, они всколыхнули всю Россию. Пушкин был убит, на его место встал законный, достойный наследник. Живая жизнь, народ, русская поэзия оказывались сильнее «жадной толпы, стоящей у трона, свободы, гения и славы палачей». Но стихи «Смерть поэта» напечатаны были впервые только через 19 лет — их опубликовал Герцен в «Полярной звезде» за 1856 год в Лондоне.

5

Лермонтов был сослан на Кавказ. Весь 1837 год он провел «в беспрерывном странствовании, то на перекладной, то верхом». Нищая крепостническая Россия прошла перед его глазами от Петербурга до Тифлиса, от Кизляра до Тамани. Но Лермонтов не был только «странствующим офицером, да еще с подорожной по казенной надобности». Он жадно жил, всматривался в жизнь своей страны. Новые люди, новые места радостно волновали его. «Хороших ребят здесь много, особенно в Тифлисе есть люди очень порядочные, — восклицал Лермонтов в письме к С. А. Раевскому, пострадавшему за распространение стихов на смерть Пушкина. — Как перевалился через хребет в Грузию, так бросил тележку и стал ездить верхом; лазил на снеговую гору (Крестовая) на самый верх, что не совсем легко; оттуда видна половина Грузии, как на блюдечке, и право я не берусь объяснить или описать этого удивительного чувства; для меня горный воздух — бальзам; хандра к чорту, сердце бьется, грудь высоко дышит — ничего не надо в эту минуту; так сидел бы да смотрел целую жизнь. Начал учиться по-татарски, язык, — который здесь, и вообще в Азии, необходим, как французский в Европе».

Встреча с сосланными на Кавказ и разжалованными в солдаты декабристами, ночлеги в казачьих станицах, знакомства с бедными кавказскими служаками-офицерами, вроде простого и открытого Максима Максимовича, — все эти впечатления обогащали Лермонтова новыми раздумьями о своей родине, о ее людях, и легко дышалось ему в бесконечных скитаниях! Здесь зарождался замысел «Героя нашего времени», здесь были написаны многие зрелые стихотворения Лермонтова. Под кавказским небом поэт был у себя дома. Но стоило получить прощение, стоило вернуться в душный и тесный круг петербургского света, как Лермонтовым овладевала безысходная и желчная тоска:

И скушно и грустно! — и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды...

6

«Русский народ, этот сторукий исполин, скорее перенесет жестокость и надменность своего повелителя, чем слабость его», писал Лермонтов в «Вадиме». Николаю I нельзя было отказать ни в жестокости, ни в надменности, но его трусливая слабость превосходила и жестокость и надменность. За сомнительный успех Туркманчайского договора Россия расплатилась трагической гибелью Грибоедова. Раздутую славу турецкого похода Паскевича осторожно, но неопровержимо разоблачил Пушкин в «Путешествии в Арзрум». Царствование Николая было бесславно, и всякое напоминание о былых победах звучало укором. Так прозвучало и стихотворение Лермонтова «Бородино», напечатанное в июньской книжке «Современника» за 1837 год и как бы предварявшее 25-ю годовщину действительно героической битвы:

«Скажи-ка, дядя, ведь недаром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана.
Ведь были схватки боевые,
Да говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!»
Да были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри — не вы!

Это были патриотические стихи, но патриотизм их был не николаевский и не бенкендорфский. Лермонтов гордился за свой народ, победивший в освободительной войне, и Лермонтову было горько и стыдно за настоящее. Именно так расшифровал основную идею этого стихотворения Белинский: «Эта мысль — жалоба на настоящее поколение, дремлющее в бездействии, зависть к великому прошедшему, столь полному славы и великих дел».

В 1836—1837 годах тема Бородина имела уже прочно установившуюся традицию. Но даже такие стихотворения, как «Бородинское поле» Дениса Давыдова или «Певец в стане русских воинов» Жуковского, конечно не могут итти в сравнение с «Бородино» Лермонтова. После 1812 года в журналах появилось множество псевдонародных песен о Бородине и войне 1812 года. Певцом и рассказчиком в них представлялся, как и у Лермонтова, отставной солдат. Но все эти песни, вошедшие потом в песенники, отличались ложным тоном, напыщенным патриотизмом, хвастливым отношением к побежденному врагу. Впрочем, Лермонтов, повидимому, слышал и знал настоящие солдатские и казачьи песни о войне 1812 года. Но в них мы встречаем только случайные черты, совпадающие с «Бородино» Лермонтова [1].

Тема Бородина давно занимала Лермонтова. Еще в 1830 году он написал «Поле Бородина». Тогда это был приподнятый монолог условного, почти абстрактного рассказчика. Теперь, через шесть-семь лет, Лермонтов вырос и созрел. Тот же Белинский отметил и подлинный реализм «Бородино»: «Это стихотворение отличается простотою, безыскусственностью: в каждом слове слышите солдата, язык которого, не переставая быть грубо-простодушным, в то

Об этом подробнее см. у П. В. Владимирова «Исторические и народно-бытовые сюжеты в поэзии М. Ю. Лермонтова». Киев, 1892 г., стр. 28—30; см. также книгу С. М. Дурылина «Как работал Лермонтов». «Мир», 1934 г., стр. 30—33.

же время благороден, и силен, и полон поэзии. Ровность и выдержанность тона делают осязаемо-ощутительной основную мысль поэта».

7

Через год была напечатана в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду» «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». И здесь, по словам Белинского, «поэт от настоящего мира не удовлетворяющей его русской жизни перенесся в ее историческое прошедшее, подслушал биение его пульса, проник в сокровеннейшие и глубочайшие тайники его духа, сроднился с ним всем существом своим, обвеялся его звуками, усвоил себе склад его старинной речи, простодушную суровость его нравов, богатырскую силу и широкий размер его чувства, и, как будто современник этой эпохи, принял условия ее грубой и дикой общественности, со всеми их оттенками, как будто бы никогда и не знавал о других,— и вынес из нее вымышленную быль, которая достовернее всякой действительности, несомненнее всякой истории... Наш поэт вошел в царство народности, как ее полный властелин и, проникнувшись ее духом, слившись с нею, он показал только свое родство с нею, а не тождество... Он показал этим только богатство элементов своей поэзии, кровное родство своего духа с духом народности своего отечества».

Это было в годы, когда в русской филологической и исторической науке и в только что зарождавшейся этнографии начиналось глубокое и плодотворное изучение народной старины и народного быта. Русскую интеллигенцию начинала интересовать народная поэзия, предания, легенды, поверья, обычаи, ей начали открываться необыкновенные богатства духовной жизни своего народа. Достаточно вспомнить, каким событием в истории русской литературы было опубликование в самом начале XIX века «Слова о полку Игореве» (1800 г.), а затем «Древних российских стихотворений, собранных Киршою Даниловым» (1804 г.). С этими памятниками Лермонтов был, безусловно, хорошо знаком.

Среди пансионских и университетских преподавателей Лермонтова были Мерзляков, Снегирев, Погодин, Надеждин, Качановский. Лермонтов знал их статьи, в которых такое большое внимание уделялось изучению старины и народной жизни и творчества.

Повышенный интерес к старине и народности наблюдался и в художественной литературе того времени. Пушкин тогда, кроме «Братьев Разбойников», уже напечатал «Жениха» (1827 г.), «Зимнюю дорогу» (1828 г.), пролог к «Руслану и Людмиле» (1828 г.), «Утопленника» (1829 г.). Псевдонародные песни и романсы Мерзлякова и Дельвига распевались всеми московскими девицами и вызывали множество подражаний. Лермонтов не мог не знать «Старой были», «Убийцы» и других народных баллад Катенина. Наконец, на страницах журналов и альманахов все чаще начинают появляться народные песни в их подлинном виде. Не случайно Шевырев в «Московском вестнике» писал о том, что надо спешить «уловить русские песни, столь родные нашему сердцу, которые, может быть, скоро унесет с собою навеки старое поколение».

Прекрасное знание русских былин и исторических песен подсказало Лермонтову поэтику удивительной «Песни».

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» вложена в уста «гусляров молодых, ребят удалых», начинается «запевкой» и кончается «славой». И гусляры, и поэтическая рамка, в которую вставлена «Песня», и ее отдельные части сразу веют на нас духом народной поэзии, любящей запевы, припевы, всякую «причеть». В песнях Кирши Данилова Лермонтов нашел веселых гусляров-скоморохов, которые

Садилися на лавочки,
Заиграли во гусельцы,
Запели они песенку

и ряд зачинов и припевок. Вот одна из припевок, в которой детали соответствуют лермонтовской песне:

То старина, то и деянье,
Как бы синему морю на утешенье,
А быстрым рекам слава до моря,
Как бы добрым людям на послушанье,
Молодым молодцам на перениманье,
Еще нам веселым молодцам на потешенье
Сидючи в беседе смиренные,
Испиваючи мед, зелено вино;
Где-ко пиво пьем, тут и честь воздаем
Тому боярину великому
И хозяину своему ласковому.

Но «Песня» Лермонтова — не мозаика; в ней нет текстуальных совпадений со старинами и лирическими песнями, нет чисто механического соединения разноцветных лоскутков, выхваченных из народных песен. Это — законченное художественное произведение.

Лермонтов шел своим путем — путем зоркого художника. Он отвечал запросам лучших людей своей эпохи и во многом предвосхищал научные и философские запросы своего времени. Его творения, так же как и лучшие образцы русского фольклора, приобщали молодое поколение к сокровищам народной культуры. Но как эта народность была далека от официальной «народности» Уварова, который будучи товарищем министра просвещения, 4 декабря 1832 года подал Николаю I докладную записку, где наметил, ставшие впоследствии

роковыми, главные «истинно русские охранительные начала: православие, самодержавие, народность».

8

Весной 1840 года Лермонтов был снова сослан на Кавказ. Он был командирован на левый фланг кавказской линии и принял участие в нескольких «экспедициях противу горцев».

Шла настоящая колониальная война. Рискуя жизнью на каждом шагу, Лермонтов, как и позднее Лев Толстой, был «исправным боевым офицером». Но чем больше видел Лермонтов сожженных аулов, вытоптанных полей, убитых и раненых чеченцев и русских солдат, тем мучительнее тревожил его вопрос о жестокости этой хищнической войны. И предвосхищая кавказские повести и «Севастопольские рассказы» Льва Толстого, Лермонтов, без каких бы то ни было признаков официальной патетики, просто и глубоко человечно описал героизм русских солдат, нисколько вместе с тем не оправдывая завоевательную политику николаевского самодержавия. Особенно замечательны в этом отношении стихотворения о Валерикском бое («Я к вам пишу: случайно! право») и «Завещание» («Наедине с тобою брат»).

Все теснее сживался Лермонтов со своими боевыми товарищами — простыми казаками и солдатами. Он разделял жизнь своих подчиненных, ел с командой из одного котла. Не случайно его демократический образ жизни так возмущал гвардейцев, которые злобно истолковывали поведение Лермонтова — как физическую нечистоплотность и желание пооригинальничать. Только немногие близкие друзья различали под маской принужденной веселости и грубого удальства глубокую, затаенную грусть и почти детскую нежность.

Общение с казаками подсказало Лермонтову создание таких подлинно народных стихотворений, как «Казачья колыбельная песня» и «Дары Терека» [1]. Интересовался Лермонтов и восточным фольклором — об этом свидетельствует его запись сказки «Ашик-Кериб».

[1] Об этом подробнее см. Л. Н. Семенов «Лермонтов и Лев Толстой». М., 1914 г., стр. 119, 421—424 и Н. Мендельсон «Народные мотивы в поэзии Лермонтова». «Венок М. Ю. Лермонтову», 1914 г., стр. 193—195.

9

В конце 1840 года Лермонтову удалось получить кратковременный отпуск, и в середине января 1841 года он — в который раз! — отправился в знакомый путь с Кавказа в Петербург. Опять вся Россия прошла перед глазами поэта. Это была та самая родина, за которую «на погибельном Кавказе» умирали от болезней и в боях, одетые в солдатские шинели, русские крестьяне. И мысли о России опять овладели сознанием поэта. Всматриваясь в редкие огни далеких деревень на нескончаемых просторах пропахшей дегтем и дымом России, Лермонтов думал о том, за что же он любит эту страну, среди которой всю жизнь было ему суждено скитаться вольным и невольным странником. Эти раздумья запечатлелись в одном из лучших, самых зрелых стихотворений Лермонтова — «Родина» («Люблю отчизну я, но странною любовью»). Слава, купленная кровью, и «полный гордого доверия покой» Российской империи не трогали поэта. Но как его радовали самые скромные признаки случайного благополучия народа и редкого довольства в крестьянском быту! Полное гумно, покрытая соломой изба, с резными ставнями окно — это было самым отрадным, что мог увидеть Лермонтов на родине. И, как все лучшие люди своей страны, Лермонтов верил в ее светлое будущее. Не случайно он однажды записал: «У России нет прошедшего: она вся в настоящем и будущем. Сказывается и сказка: Еруслан Лазаревич сидел сиднем 20 лет и спал крепко, но на 21-м году проснулся от тяжкого сна и встал и пошел... и встретил он тридцать семь королей и семьдесят богатырей и побил их и сел над ними царствовать... Такова Россия».

15 июля старого стиля 1841 года Лермонтов был убит на дуэли. В николаевской России это был уже испытанный и оправдавший себя способ избавиться от лучших и потому лишних людей, беспокойных и непокорных.

Н. Богословский

ВЕЛИКИЙ РЕВОЛЮЦИОНЕР-ДЕМОКРАТ И ПРОСВЕТИТЕЛЬ

(К 50-летию со дня смерти Н. Г. Чернышевского)

Биография Чернышевского не богата событиями. Жизнеописание его было бы историей сложнейшей внутренней жизни, могучего духовного роста, повестью о непоколебимой стойкости его революционного гения, пролагавшего новые пути в науке и литературе. Больше всего биографу пришлось бы говорить об исторических событиях, способствовавших эволюции миросозерцания Чернышевского, о непрестанном творческом труде, от которого он не отступал, даже находясь в крепости, а затем на каторге и в ссылке на далеком Севере, в полном духовном одиночестве.

Он родился в 1828 году в г. Саратове, в семье священника. Чернышевский говорит в автобиографических заметках, что с детских лет он сделался библиофагом, «пожирателем книг». Четырнадцатилетний мальчик поражал всех своей необыкновенной начитанностью. К моменту поступления в духовную семинарию (1844) Чернышевский, по свидетельству его школьных товарищей, знал несколько европейских языков.

Чернышевский блестяще окончил семинарию, но от духовной карьеры уклонился и поехал учиться в Петербургский университет, где пробыл четыре года в самую жестокую пору мрачной реакции царствования Николая I. Реакция особенно усилилась после событий 1848 года на Западе, когда русское правительство, охваченное боязнью европейского влияния, стремилось задушить всякое проявление свободной мысли. Считая просвещение, науку и литературу источниками «крамолы», оно преследовало их, хотело подчинить служению «православию, самодержавию и «народности» [1], по знаменитой формуле тогдашнего министра народного просвещения Уварова.

Поступив в университет, Чернышевский принялся усердно заниматься, намереваясь в будущем посвятить себя научной деятельности. Он очень много читал, посещал лекции, увлекался филологией, готовился к ученой карьере. Но душа и мысль Чернышевского жили за университетскими стенами.

На формирование политических взглядов Чернышевского огромное влияние оказали события европейской революции 1848 года. Сохранившиеся дневники молодого Чернышевского показывают, что он трепетно следил за каждым шагом, за каждым поворотом в этой борьбе. Он зачитывался французскими газетами, пристально анализировал расстановку классовых сил на исторической арене 1848 года. Размышляя о французских событиях, Чернышевский так определяет в дневнике свои взгляды: «Я стал по убеждениям в конечной цели человечества решительно партизаном социалистов и коммунистов и крайних республиканцев, монтаньяр решительно». Развитию этих взглядов содействовало также и увлечение идеями утопического социализма, в частности Ш. Фурье и В. Консидерана.

В тот же период началась ломка и в общефилософском мировоззрении Чернышевского. Он вырос в религиозной семье и в юности был безгранично предан религиозным традициям. «Сущность христианства» Фейербаха, с которой он познакомился в 1849 году, привела Чернышевского к коренному пересмотру основ своего мировоззрения. После мучительной внутренней борьбы и глубокого духовного кризиса религиозный юноша покончил раз и навсегда с верой и пришел к материалистическому мировоззрению.

К 1850 году Чернышевский бесповоротно

1 Подразумевалось — шовинизму.

укрепился в своем революционно-радикальном настроении. Теперь он говорит уже не о расположении к социализму под влиянием вычитанных мнений, а о горячей вере в него, о решимости на любые отчаянные, самые смелые, самые безумные поступки в борьбе. Он «почувствовал себя личным врагом, почувствовал себя в измененном положении, так, как чувствует себя заговорщик, как чувствует себя генерал в отношении к неприятельскому генералу, с которым должен вступить завтра в бой» (запись в дневнике 15/V—1850 года). Отныне социализм становится делом всей жизни Чернышевского.

По окончании университета Чернышевский некоторое время занимался педагогической деятельностью в Саратове, но ему пришлось оставить место учителя гимназии вследствие недоразумений, возникших по доносам тамошних реакционеров. В 1853 году он переехал в Петербург и вскоре приступил к сотрудничеству в журналах.

—

Исторические условия не позволили этому прирожденному политическому борцу широко развернуть практическую революционную работу. Он мечтал встать во главе крайне левой политической партии в России. Он искал подвига для блага закрепощенного народа, он хотел воспитывать массы в революционном духе.

В условиях того времени единственным его оружием могло быть перо писателя. Но тогдашние порядки, царская цензура на каждом шагу ставили преграды выражению революционной мысли в научной или публицистической форме.

Чернышевский с великим, непревзойденным искусством умел обходить указанные препятствия. Это обстоятельство особо отмечено и Марксом, и Лениным.

В формулировке судебного приговора над Чернышевским (как она передана была Марксу Г. Лопатиным) Маркс подчеркнул слова о том, что Чернышевский «сохраняет в своих сочинениях неуязвимую с точки зрения закона форму и вместе с тем открыто изливает в них яд». Ленин также писал в 1901 году о «могучей проповеди Чернышевского, умевшего и под цензурными статьями воспитывать настоящих революционеров».

Первым крупным произведением Чернышевского была его магистрская диссертация «Эстетические отношения искусства к действительности».

Чернышевский руководился в своих занятиях не столько личными наклонностями и вкусами, сколько потребностями общественного развития. В своей монографии о Лессинге он говорит, что прирожденный философ Лессинг «молчал о философии, ибо не время еще было философии стать средоточием немецкой умственной жизни... Умы были готовы оживиться поэзией, а не были еще готовы к философии, и Лессинг писал драмы и толковал о поэзии...» В известной мере слова эти могут быть отнесены и к самому Чернышевскому. Он начал свою научно-литературную деятельность с самого, казалось бы, отвлеченного вопроса об эстетических отношениях искусства к действительности. Но в том-то и состояла особенность дарования Чернышевского, что как бы далеки и отвлеченны ни были с первого взгляда проблемы, затрагиваемые Чернышевским, они всегда приобретали в его освещении остроту вопросов живой современности. Писал ли он об эстетике, об Аристотеле, или о переводах Шиллера на русский язык, всюду он, не уклоняясь от прямой темы, умел связать с нею актуальные вопросы своего времени.

В диссертации Чернышевского по эстетике замысел его был гораздо шире того, что он мог дать по цензурным условиям. Чернышевский хотел показать, как на смену идеалистической философии и связанной с ней системы политических и социальных взглядов явилось материалистическое учение Фейербаха, но он лишен был этой возможности, ибо цензура не позволила ему даже назвать имя Фейербаха, а университетское начальство устранило из его трактата имя Гегеля. Именно невозможность ставить общефилософские проблемы во всей широте заставила Чернышевского ограничиться областью эстетики.

Чернышевский с величайшей скромностью утверждал, что роль его свелась лишь к истолкованию идей Фейербаха в применении к искусству. Однако это далеко не так. Чернышевскому пришлось заново строить материалистическую эстетику, несомненно родственную по духу учению Фейербаха, но во многих отношениях совершенно самостоятельную [1].

Чернышевский в своем сочинении оспаривал и разбивал основные положения идеалистической эстетики, которая, от античных философов до Канта и Гегеля, покоилась на религиозном истолковании идеи прекрасного. Задача философии и вообще науки, по Фейрбаху, заключалась в реабилитации действительности, в изгнании вы-

1 «Фейербах слишком много напирал на природу и слишком мало на политику», говорит К. Маркс. Чернышевский, наоборот, развивал именно сильные, а не слабые стороны своего учителя и подчеркивал главным образом революционные тенденции в учении Фейербаха, во многом выйдя за пределы фейербаховской философии. Это сказалось и на эстетической концепции Чернышевского, положившей начало теоретическому обоснованию реализма в искусстве.

мысла и абстракций из наших представлений и понятий. Такова же была и первоочередная задача эстетики, построенной на основе философии Фейербаха.

Идеалистическая эстетика видела в искусстве один из способов познания и выражения «абсолютной идеи» и ставила красоту в искусстве выше красоты в природе. Исходя из предпосылок фейербаховской философии, противопоставляющей природу, как единственную реальность, абсолютному духу, Чернышевский отстаивает обратный тезис — о превосходстве красоты в действительности над красотой в искусстве.

В соответствии с сущностью учения Фейербаха, Чернышевский выдвигает взамен идеалистических абстракций свое определение прекрасного: «прекрасное есть жизнь». Красота дается не воплощением «абсолютной идеи» в «конечных образах» — она дана в объективной природе и жизни. Красота — свойство действительности, и в произведениях искусства нет ничего, что не было бы дано этой действительностью.

Такое определение прекрасного вытекало из правильного понимания отношений действительного мира к воображаемому и вело к верному взгляду на истоки искусства и на его назначение.

Чернышевский не ограничивался утверждением превосходства действительности над искусством, не ограничивался низведением искусства в сферу реальной жизни. Он утверждал также, что понятие красоты относительно, не одинаково для всех людей, классов, сословий, и он определял искусство, как одно из орудий преобразования действительности.

Трактат Чернышевского сыграл огромную роль в борьбе с идеалистической эстетикой. Это была первая попытка создать систематическую научную эстетику с материалистической точки зрения. Во многих отношениях диссертация сохраняет свое значение и для нашего времени.

Строя свою эстетику на страстном возвышении действительности, жизни, природы, Чернышевский тем самым закладывал основы реалистической эстетики. Этой своей стороной она особенно родственна нашей советской литературе. Чернышевский отрицал искусство, оторванное от жизни, тяготеющее к призрачным образам бесплодной фантазии, он отрицал тепличные цветы искусства для искусства. Он призывал художников к полнокровному воспроизведению жизни во всем ее многообразии. Но это воспроизведение не должно быть пассивным, говорил Чернышевский. Он считал необходимым условием для всякого большого художественного произведения дать ответ на вопросы современности, «ибо истинный художник в основание своих произведений всегда кладет идеи современные».

Настоящий писатель должен быть в гуще жизни, его не могут не волновать вопросы, порождаемые действительностью, и тогда «в его произведениях сознательно или бессознательно выразится стремление дать свою оценку, свой живой приговор о явлениях» действительности. Тогда его «произведения будут, чтобы так выразиться, сочинениями на темы, предлагаемые жизнью... тогда художник становится мыслителем».

Ложные течения в искусстве, которые мы всячески стремимся изжить, — формализм и натурализм, — решительно осуждались Чернышевским. Строго говоря, впервые философски обоснованная критика формализма и натурализма дается в диссертации Чернышевского. Формализм, как мы его понимаем, начинается там, где искусство, — по определению Чернышевского, — переходит в искусственность. Формализм там, где «господствует мелочная отделка подробностей, цель которой — не приведение в гармонию с духом целого, а только то, чтобы сделать каждую из них в отдельности интереснее или красивее, почти всегда во вред общему впечатлению произведения, его правдоподобию и естественности». Формализм там, где «господствует мелочная погоня за эффективностью отдельных слов, отдельных фраз и целых эпизодов, расцвечивание лиц и событий не совсем натуральными, но резкими красками».

Разве сегодня не этими же признаками характеризуем мы те явления искусства, которые пронизаны формализмом? Многие возражения Чернышевского против формалистических ухищрений были обращены вместе с тем и против бессмысленного, ничем не одухотворенного копирования, когда мелочное выписывание отдельных черт и бесконечных мелочей заводит художника в дебри натурализма.

Появление «Эстетических отношений» было важно не только тем, что поднимало на большую высоту измельчавшую после смерти Белинского теорию искусства, не только тем, что прокладывало пути реалистической эстетике, но и тем, что на примере теории искусств раскрывало перед читателями общую картину крушения идеалистической философии Запада.

Трактат Чернышевского, помимо специального значения, имеет еще и огромное общефилософское значение, являясь одним из замечательных проявлений материалистической мысли в России XIX века. Выдающееся значение Чернышевского как фило-

софа-материалиста было отмечено Лениным в книге «Материализм и эмпириокритицизм» (1908) и в статье «О значении воинствующего материализма» (1922).

Жрецы науки того времени всячески сопротивлялись проникновению в нее живой революционной мысли. Не находя формальных поводов к недопущению Чернышевского к магистрским испытаниям и к защите диссертаций, профессора и совет университета сделали все от них зависящее, чтобы помешать Чернышевскому осуществить его намерение. Достаточно сказать, что между окончанием диссертации (1853) и утверждением ее советом университета (1855) прошло более полутора лет. Да и после защиты ее Чернышевский был утвержден в звании магистра только три года спустя, когда у него вообще пропал интерес к научно-университетской деятельности. В эти годы Чернышевский стал ближайшим сотрудником наиболее передового тогдашнего журнала «Современник», редактируемого Некрасовым. С приходом Чернышевского в «Современник» журнал стал центром революционно-демократических сил, и Чернышевский вскоре занял в нем руководящее положение. Он выступал в журнале, как критик, историк литературы, публицист, экономист, философ и историк.

Кратковременный, но необычайно интенсивный период сотрудничества Чернышевского в «Современнике» был важнейшим этапом на его жизненном и творческом пути. Первые же выступления Чернышевского обнаружили в нем замечательно глубокого критика. В отличие от умеренной эпигонской критики, характерной для тогдашних журналов, в статьях Чернышевского зазвучали решительные и смелые суждения о творчестве современных писателей. В этом отношении Чернышевский явился продолжателем Белинского. Он без всяких обиняков осуждал посредственные произведения, даже если они принадлежали перу прославленных писателей.

Он опрокинул немало ложных авторитетов и, наоборот, воскресил имена незаслуженно забытых писателей. Он воевал с рутиной и лже-ученым педантизмом с такой же страстностью, с какой боролся против них «неистовый Виссарион».

Крупнейшими критическими и историко-литературными работами Чернышевского являются «Очерки гоголевского периода русской литературы» и «Лессинг». В «Очерках» дан всесторонний детальный анализ течений русской общественной мысли двадцатых-сороковых годов XIX века. Снова перед Чернышевским встали, казалось бы непреодолимые, препятствия — порою он не имел возможности называть просто по именам тех лиц, которым посвящены «Очерки» (Герцен, Белинский, Бакунин и др.). Однако, прибегая к намекам и иносказаниям, Чернышевский мастерски рассказал историю их внутреннего развития.

Современная Чернышевскому критика с эстетическим уклоном резко нападала на «гоголевское» сатирическое направление в литературе и призывала вернуться к традициям так называемого «чистого искусства». Чернышевский держался прямо противоположной точки зрения. Он считал Гоголя величайшим из русских писателей, главою «единственной школы, которою может гордиться русская литература». Творчество Гоголя, с необычайной силой обнажившее социальные противоречия крепостной России, казалось Чернышевскому наиболее полно отвечающим на запросы своего времени. И он решительно встает на защиту «натуральной» школы, идущей по стопам Гоголя (Гончаров, Тургенев, Григорович и др.).

Образцами замечательной революционно-публицистической критики являются статьи Чернышевского о Тургеневе, о Салтыкове-Щедрине, «Об искренности в критике».

В первых же своих критических выступлениях Чернышевский остановился на задачах литературной критики. Он обличал непоследовательность и беспринципность критиков-эпигонов, бессилие и безыдейность их статей, нетребовательность их вкусов.

Чернышевский призывал критиков вспомнить о традициях Белинского. Не называя последнего по имени, Чернышевский писал: «Такова ли была критика тогда, когда имела огромное, живое и прекрасное значение в литературе, влияние на публику? Нет, она была тогда требовательна, разборчива, смела, строга» («Рецензия на сочинения Погорельского», 1854). Об этой же принципиальности он напоминал и журналам. «Какая же последовательность была бы в журнале, который бы считал себя обязанным, сначала бывши ратником за лучшее в литературе, потом сделаться ратником за худшее только из привязанности к именам? Такой журнал изменил бы себе. Не говорим уже о том, что он лишился бы своего почетного места в литературе, потерял бы всякое право на сочувствие лучшей части публики, подвергся бы общему осмеянию наравне с своими клиентами» («Об искренности в критике»).

Чернышевский придавал огромное значение литературе. Он считал, например, что Байрон в истории человечества — лицо едва ли не более важное, нежели Наполеон.

Смерть Николая I несколько разрядила атмосферу жестоких цензурных гонений. Подъем общественного сознания после Крымской войны 1855 года и нарастание революционного кризиса перед крестьянской реформой отразились и в литературе.

Чернышевский решил, что настало время

отдать свои силы публицистике, политической экономии, внутренней политике. Он оставляет литературно-критическую трибуну в журнале, как только встречает достойного преемника в лице молодого Добролюбова.

Близилась отмена крепостного права. Крестьянский вопрос был поставлен на очередь дня. На страницах журналов разгорались споры о земельной реформе и освобождении крестьян. Чернышевский пишет ряд статей по крестьянскому вопросу, в которых как истинный революционный демократ разоблачает политическую и моральную дряблость и трусость русских либералов. В этих статьях он резко осуждает малодушие умеренно-либеральной дворянской интеллигенции, дрогнувшей перед решительными классовыми схватками, и напоминает о неизбежности близящейся революции.

В эти же годы он переводит «Основания политической экономии» Д. Милля, сопровождая перевод своими обширными комментариями, в которых вскрывает непоследовательность буржуазной политической экономии. Эту работу Чернышевского очень высоко ставил Карл Маркс. «Основания политической экономии» Милля с примечаниями Чернышевского стала тогда настольной книгой русских революционеров. Желая поднять теоретический уровень нарождавшейся русской демократии, Чернышевский написал блестящую статью «Антропологический принцип в философии», в которой излагал основные положения материализма.

—

Влияние Чернышевского росло не по дням, а по часам. У него явилось множество горячих поклонников в среде разночинной революционно настроенной интеллигенции. Выступления Чернышевского способствовали формированию взглядов целых общественных слоев. Каждая его статья с жадностью прочитывалась и передавалась по рукам. Но у Чернышевского явилось и множество врагов из среды крепостников и либералов, позиции которых подвергались непримиримо последовательной критике со стороны Чернышевского. Внешне всегда сдержанная, но внутренне кипучая журнальная работа поглощала все силы и время Чернышевского вплоть до самого ареста.

Правящие круги очень скоро поняли, каким опасным врагом является для них Чернышевский.

Его настойчивые выступления по вопросам освобождения крестьян, его боевая публицистическая деятельность заставили правительство заняться срочным подысканием любого предлога к тому, чтобы изолировать вождя революционных демократов. Предлог не заставил себя долго ждать.

В конце июня 1862 года агентами правительства было перехвачено письмо Герцена из Лондона к Н. А. Серно-Соловьевичу. В письме этом Герцен упоминал имя Чернышевского, предлагая перенести издание «Современника» в Лондон.

Это и послужило поводом к аресту Чернышевского. Он был арестован 7 июля 1862 года у себя на квартире и тотчас же доставлен в важнейшую государственную тюрьму — Алексеевский равелин Петропавловской крепости. Здесь Чернышевский, в ожидании решения следственной комиссии, усиленно занялся переводами различных исторических сочинений (Гервинуса, Шлоссера, Маколея, Неймана) и писанием оригинальных беллетристических произведений. Вырвав из рук Чернышевского перо публициста, правительство не сломило его упорной воли. Страстный революционер, он в любых условиях работал не покладая рук.

Среди других многочисленных работ Чернышевский в каземате написал роман «Что делать?», в котором он изобразил «новых людей». Роман был напечатан в «Современнике», но вскоре же конфискован. Роман говорил не только о том, каковы эти «новые люди», но и о том, каковы они должны быть и что они должны делать. Чернышевский, между прочим, поставил своей задачей показать в романе тип революционера. Такова фигура «особенного человека», конспиратора Рахметова. В нем Чернышевский зорко предугадал некоторые черты народовольца семидесятых годов.

Трудно теперь представить себе то впечатление, какое произвело на читателей того времени появление романа. Плеханов писал, что с тех пор, как завелись печатные станки в России, ни одно печатное произведение не имело такого успеха, как «Что делать?».

Роман оказал прежде всего громадное практическое воздействие на революционные слои шестидесятников, стремившихся воплотить в жизнь принципы, выдвинутые Чернышевским в романе.

Один из современников свидетельствует, что тогда «всюду начали заводиться производственные и потребительские ассоциации, коммуны для общежития... Фиктивные браки с целью освобождения из под ига семейного деспотизма в подражание героям романа Лопухову и Вере Павловне сделались обыденным явлением жизни...»

Под знаком «Что делать?» развивалось не только женское движение тех лет. Образ Рахметова властно стоял перед глазами многих революционных деятелей шестидесятых-семидесятых годов. Он заставлял их следовать его примеру и в личной жизни

и в борьбе за переустройство общества. Роман поднял бурю споров в литературе, породил ожесточенную полемику, вызвал бесчисленное количество статей и рецензий. Обскуранты и реакционеры встретили роман с возмущением и гневом. Наоборот, революционная интеллигенция шестидесятых годов увидела в романе свое евангелие.

В дни самых горячих споров и толков о романе «Что делать?» автор его после почти двухгодичного заключения в крепости был лишен постановлением сената всех прав состояния и сослан в каторжные работы, а затем на поселение в Сибирь. В Сибири Чернышевский продолжал настойчиво и неутомимо работать, хотя круг его литературных занятий волей-неволей сузился. Для научной работы скудный запас имевшихся книг был совершенно недостаточен. Он пробовал писать сочинения по политической экономии, по истории, но все эти попытки должны были неизбежно прекращаться за отсутствием необходимых пособий.

Первоначально Чернышевский надеялся, что ему удастся, несмотря ни на что, обеспечить свою семью литературным заработком. Он думал, что по крайней мере беллетристические произведения, подписанные вымышленной фамилией, смогут найти себе место на страницах того или иного журнала.

Но этим надеждам Чернышевского не суждено было сбыться. О печатании его произведений в России, даже под псевдонимом, не могло быть теперь и речи. Правительство не упускало из виду своего узника, напряженно следя за его сношениями с внешним миром.

Творческая работа Чернышевского в Сибири протекала в мучительных условиях, и совершенно неудивительно поэтому, что многое осталось незавершенным, рукописи обрывались на полуслове, многое сжигалось, замыслы умирали, едва блеснув, и вновь рождались, видоизменяясь, чтобы снова умереть. Обладая громадным даром импровизации, Чернышевский часто без подготовки рассказывал своим товарищам по заключению целые повести, рассказы и отрывки из романов. Многое из того, что он рассказывал, так и осталось незаписанным, или уничтожалось им после того, как записывалось.

Но одно из наиболее выдающихся сибирских произведений Чернышевского уцелело и еще при жизни его было опубликовано за границей. Это роман «Пролог», вводящий нас непосредственно в гущу политической борьбы, разыгравшейся в конце пятидесятых годов вокруг осуществления так называемой «крестьянской реформы» 1861 года.

«Пролог» является во многих отношениях образцом настоящего социального романа. Правда, рассчитывая напечатать роман в России, Чернышевский стремился завуалировать его подлинное содержание и еле сдерживаемую резкость направления. Но ненависть автора к царизму и крепостничеству, презрение его к либеральным болтунам «эмансипаторам», показавшим себя во всей красе в дни осуществления «крестьянской реформы», бьет через край в произведении, изображающем эту эпоху. Ленин, цитируя то место «Пролога», где герой романа Волгин убеждает своего друга в том, что нет никакой существенной разницы между «прогрессистами» и помещиками, писал: «Нужна была именно гениальность Чернышевского, чтобы в эпоху самого свершения крестьянской реформы (когда не была освещена она даже на Западе) понимать с такой ясностью ее основной буржуазный характер».

Когда для Чернышевского истек срок каторги, он был поселен в глухом оторванном тогда от жизни городишке Вилюйске. Чернышевский лишился последних слушателей и товарищей. Его окружала глухая тайга, болота, топи. Вилюйск был населен забитыми, нищими якутами, с удивлением взирающими на инородца. Он прожил здесь около двенадцати лет в полном духовном одиночестве, в остроге, под казачьим конвоем, хотя ему и разрешалось «свободно» гулять неподалеку от острога. Великое благородство и стойкость его души сказались в том, что он за все эти годы в письмах к жене и детям не проронил ни одной жалобы. Наоборот, он стремился изобразить им свое страшное существование в ледяной пустыне, как вполне благоустроенную, чуть ли не комфортабельную жизнь.

Забросив Чернышевского на край света, правительство тем не менее опасалось, что он будет насильственно освобожден единомышленниками. Действительно, такие планы возникали у отдельных смельчаков. Так, в деле каракозовцев есть упоминание о намерении освободить Чернышевского. Известны также неудавшиеся попытки Г. Лопатина и затем И. Мышкина спасти Чернышевского. В июле 1875 года Мышкин, под видом жандармского офицера Мещеринова, явился в Вилюйск и предъявил поддельное предписание Иркутского генерал-губернатора о немедленной выдаче Чернышевского для препровождения последнего из Вилюйска в Благовещенск.

Исправник заподозрил инсценировку. Он заметил в бумагах нарушение официального стиля и заявил, что, без распоряжения

непосредственного начальства (из Якутска), Чернышевский не будет выдан. Мышкин-Мещеринов выразил желание отправиться немедленно в Якутск. Исправник снарядил его в дорогу и послал с ним, якобы для сопровождения, двух казаков, с которыми отправил донесение о случившемся. В дороге Мышкин, улучив момент, стал стрелять в казаков, ранил одного из них и скрылся в лесу. Вскоре, однако, он был пойман, арестован и осужден.

—

За долгие годы, прожитые Чернышевским в Вилюйске, родные писателя многократно обращались к царю (без ведома Чернышевского) с просьбой о помиловании. Только в 1883 году, после коронации Александра III, Чернышевскому разрешено было вернуться в Россию на поселение под надзор полиции в Астрахань. Осенью 1883 года Чернышевский, под именем «секретного преступника № 5», тронулся в долгий путь. Он вернулся в Россию надломленным, больным, но все еще не утратившим готовности работать. Он привез с собою широкие планы научно-литературной работы, но сразу же натолкнулся на всевозможные препятствия. Власти ставили условием его литературной деятельности предварительную цензуру и псевдоним. Издатели не решались привлекать Чернышевского к самостоятельному сотрудничеству. И Чернышевскому пришлось ради заработка взять на себя переводческую работу. Он перевел «Основные начала» Спенсера, одиннадцать томов «Всеобщей истории» Вебера, «Сравнительное языкознание» Шрадера, «Энергию в природе» Карпентера и ряд других книг.

Он невысоко ставил таких авторов, как Вебер, Шрадер и Карпентер, и чуть ли не стыдился, что невольно содействует изданию книг, не имеющих подлинно научной ценности. Но выбора не было.

В 1889 году Чернышевскому разрешено было вернуться в родной Саратов, и здесь, после непродолжительной болезни, он умер в ночь на 17 октября.

—

Трудно одним каким-нибудь словом определить значение Чернышевского в истории развития русской общественной мысли и литературы. Философия, экономика, история, публицистика, литературная критика, беллетристика — так широки и разнообразны были его интересы. Несмотря на то, что каторга и ссылка отняли у него двадцать лет жизни, он, обладавший поистине энциклопедическими знаниями и универсальным талантом, оставил ценнейшее наследие во всех указанных областях науки и искусства. К. Маркс называл Чернышевского «великим русским ученым и критиком» и не однажды говорил, что из всех современных экономистов «Чернышевский представляет единственно оригинального мыслителя и что политическая смерть Чернышевского (то-есть ссылка в 1864 году в Сибирь. — *М. Б.*) есть потеря для ученого мира не только России, но и целой Европы».

Ф. Энгельс в одном из писем называет Чернышевского и его соратника и друга Добролюбова «социалистическими Лессингами».

Роль Чернышевского, как революционера, четко определена В. И. Лениным, который горячо любил сочинения Чернышевского и даже чувствовал к нему, по словам Н. К. Крупской, какую-то непосредственную близость. Ленин писал:

«Чернышевский был социалистом-утопистом, который мечтал о переходе к социализму через старую полуфеодальную крестьянскую общину, который не видел и не мог в 60-х годах прошлого столетия видеть, что только развитие капитализма и пролетариата способно создать материальные условия и общественную силу для осуществления социализма. Но Чернышевский был не только социалистом и утопистом. Он был также революционным демократом, он умел влиять на все политические события его эпохи в революционном духе, — проводя через препоны и рогатки цензуры, — идею крестьянской революции, идею борьбы масс за свержение всех старых властей» (Ленин, Соч., т. XV, стр. 144).

А. Колосков

ВЕЛИКАЯ СТРАСТЬ

«...Только страсти, и только великие страсти могут поднять душу для великих дел. Без них конец всему возвышенному как в нравственной жизни, так и в творчестве...»

Дени Дидро

1

Советский патриотизм находит свое проявление в самых различных фактах жизни нашей родины: и в подвиге пилота, смело преодолевающего воздушные пространства, и в героизме красноармейцев, грудью защищающих советские рубежи и несущих освобождение своим братьям украинцам и белоруссам, и в стахановской работе рабочего и колхозника, и в честной, самоотверженной работе советской интеллигенции. «Как лучи восходящего солнца отражаются в каждой капельке росы, как морской прибой заливает каждую песчинку прибрежья, так и могучий подъем общественного движения проявляется в отдельных фактах жизни, как бы они ни были ничтожны», сказал как-то великий русский ученый большевик К. А. Тимирязев.

Так и советский патриотизм — это великое чувство многомиллионного народа — проявляется ежедневно и ежечасно, и не только в великом, но и в малом, из которого складывается великое.

Советская литература — патриотическая литература.

Истинный патриотизм — любовь к родине, любовь к трудовому народу — пронизывает все великие произведения, созданные писателями нашей страны.

Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Некрасов, Л. Толстой, Белинский, Добролюбов, Чернышевский—разве не эта великая страсть, которую мы называем любовью к родине, вдохновляла их сердца?

Пламенными патриотами своей родины были великие зачинатели новой, социалистической литературы — А. М. Горький и В. В. Маяковский.

Горький страстно любил родину, и в культивировании этого чувства в народе великий писатель видел важнейшую задачу нашей литературы. В статье «О социалистическом реализме» Алексей Максимович писал:

«Мы живем в счастливой стране, где есть кого любить и уважать. У нас любовь к человеку должна возникнуть и возникает— из чувства удивления перед его творческой энергией, из взаимного уважения людей к их безграничной, трудовой коллективной силе, создающей социалистические формы жизни, из любви к партии, которая является вождем трудового народа всей страны и учителем пролетариев всех стран».

Родине, народу, великому делу Ленина—Сталина всего себя отдавал талантливейший поэт нашей советской эпохи Маяковский.

Лучшим своим стихотворением он считал всегда то, которое наиболее удачно передает чувства и мысли народа и которое может служить миллионам тружеников оружием борьбы за коммунизм.

Патриотизм пронизывает каждое произведение Маяковского. И даже в короткой двухстрочной стихотворной надписи на карамельной обертке умел он выразить это чувство необычайно ярко и сильно:

Слушай, земля,
Голос Кремля!

2

Задача настоящей статьи: посмотреть, как чувство советского патриотизма реали-

зуется в творчестве молодых советских поэтов. Причем мы думаем ограничиться лишь несколькими именами и лишь произведениями последних лет, взяв только то, что кажется нам в том или ином отношении наиболее характерным.

— —

Пусть не удивляется читатель, что наш обзор молодой советской поэзии мы начнем с мало знакомого, а может быть и вовсе незнакомого ему имени.

В прошлом году в областном Свердловском издательстве вышла маленькая книжечка стихов К. Мурзиди «Отчизна» [1]. В ней чуть больше десятка стихотворений. Может быть, именно поэтому книжка К. Мурзиди осталась незамеченной (об авторе ее было сказано лишь несколько слов в одной из обзорных статей «Литературной газеты»).

Открывается книжка К. Мурзиди стихотворением «Есть такое слово». Великая сила, вдохновляющая на героический труд и невиданные подвиги, заключена в простом и горячем слове «Сталин», говорит поэт.

В нашей Советской стране, в нашем «мире молодом»

Дружит это слово
С песней и трудом,

С мужеством народа,
С боевым огнем.
В нем такая сила,
Страсть такая в нем,—

Скажешь это слово,
И печаль пройдет,
И достигнет летчик
Голубых высот.

Скажешь это слово,—
Засияет снег,
И таким счастливым
Станет человек,

И таким веселым
Станет каждый час!..
Это слово—к бою
Поднимает нас...

Стихи Мурзиди, к сожалению, еще далеки от технического совершенства, но каждое из них проникнуто живыми и искренними чувствами любви к великому Сталину, к партии и родине. Вот стихотворение «Утро». В советскую жизнь вливается жизнь нового человека — у матери рождается сын, и вся страна откликается на его первый крик.

И как бы эхом на него
Откликнулись моря,
И под бортами кораблей
Забились якоря.

И как бы отзвуком на крик
Пошли шуметь сады,
И крепкий сок переполнял
Созревшие плоды.

И словно весь зеленый мир
Прислушался, привстал,
И встрепенулся соловей—
Защелкал, засвистал.

И потеряли два орла
По перышку с крыла,
И в латы желтые свои
Ударила пчела,

И запах сот, сквозь чуткий сон,
Услышал пчеловод,
И встал, салютуя, «Садко»
Во льдах полярных вод,

И разом, словно сговорясь,
Ушли, поя весну,
Шахтер под землю, летчик—в высь,
А водолаз—ко дну.

Сила стихов К. Мурзиди — в силе его чувств, отражающих мироощущение нового человека, хозяина своей земли, творца новой жизни.

Глубоко эмоционально выражает поэт патриотические настроения, стремления и желания, присущие советским людям.

3

Также не декларативно, а естественно и органически входит советский патриотизм в творчество Евгения Долматовского, особенно в его «Дальневосточные стихи» [1].

Быть может, самое ценное качество этих стихов в том, что в них показано, как патриотизм становится великой созидающей силой, преодолевающей все и всяческие препятствия:

Идут составы дальние,
Звенят слова прощальные,
Пусть много есть широких
И солнечных дорог,
Но лучшая дорога—
В края, где дела много,—
На близкий и любимый,
На Дальний Восток.

В этих призывных словах «Песни хетагуровок» верно подмечена одна из характернейших черт советских патриоток и патриотов: не боясь трудностей, итти туда, куда зовет итти родина, и делать то дело, которое приказывает делать страна, партия большевиков.

Люди советского Дальнего Востока в изображении Евг. Долматовского сохраняют те свои лучшие черты, за которые мы их так любим: целеустремленность, настойчивость, веру в победу. В лирическом стихотворении «Бухта Ольга» поэт говорит о тех, которые придут завтра на берег океана, «построят все, что снилось — наяву», и то, что построят — новые города, форты и башни, — назовут они именами своих любимых. В стихотворении «Радистка» перед нами встает мужественный образ комсомолки, оставшейся верной своему долгу и родине, несмотря на жестокие пытки, которым ее подвергли захватившие в плен враги.

Интересно стихотворение о садоводе,

[1] К. Мурзиди, Отчизна. Свердлгиз, 1938 г.

[1] Евг. Долматовский, Дальневосточные стихи. «Советский писатель», 1939 г.

разбившем «завтрашний сад» на берегу пограничной реки и упорно преодолевающем препятствия, чинимые суровым климатом тайги. Тяжелую жизнь прожил этот садовник.

Как старая яблоня, стал он крив,
Как берег реки, горбат.

Но железной волей советского патриота сопротивление природы сломлено, и

Яблок тяжелые кулаки
Сурово занесены,

как предупреждение всем тем, кто стоит по ту сторону советской границы и кто попытается нарушить священные рубежи советской земли.

Цикл стихотворений посвящен верным стражам советского Дальнего Востока: пограничникам, красноармейцам, летчикам и морякам. Их беспредельная отвага, бесстрашие, преданность делу родины вызывают в поэте чувство гордости и восхищения.

Хорошее впечатление оставляет стихотворение «Присяга» — о том, как едут на Дальний Восток молодые красноармейцы. Они несут в своих сердцах одно желание:

Итти
Сквозь солнце, дым и жажду,
Простого не ища пути,
Страдать, работать
И однажды
С победой к Сталину притти.

4

Яркое проявление советский патриотизм получает в произведениях Александра Твардовского. Твардовский, как известно, разрабатывает исключительно колхозную тематику. В этом отношении сфера его поэтической деятельности как бы ограничена. Однако, будучи поэтом, остро ощущающим современность, Александр Твардовский решительно преодолевает эту ограниченность, обусловленную тематикой. Стихи его внутри одной общей темы необычайно разнообразны и всегда наполнены мыслями и чувствами, которые присущи не только колхозному крестьянству, но всему советскому народу.

Книга стихов А. Твардовского «Дорога» [1] — талантливое и многообразное отражение жизни новой, советской деревни.

В самом деле, разве мог крестьянин раньше так смело и радостно относиться к жизни, как относится к ней сторож, изображенный Твардовским в стихотворении «Новое озеро». Этот сторож, который в прошлом выглядел самым забитым, сереньким мужичком, сейчас чувствует себя хозяином жизни, он твердо уверен, что «все ему доступны чудеса».

Понадобится — сделает озера,
Понадобится выстроит здесь город
Иль вырастит зеленые леса...

Человек выпрямляется («Рубашка», «Мужичок горбатый», «Про деда Данилу») и взволнованно отвечает на заботы и ласки новой жизни («Радость», «Встреча»).

В стихотворениях «Мать и дочь», «Отец и сын», «Мать и сын» тонко, умно и поэтически выразительно показаны новые взаимоотношения в крестьянской семье, где место прежней разобщенности отцов и детей заступает самая теплая и искренняя дружба, вытекающая из сознания общности задач.

Одним из лучших стихотворений Твардовского в книге «Дорога» является стихотворение «Путник». Значительность и художественная сила его в том, что оно глубоко и верно отражает чувства братского союза, объединяющего граждан Советской страны, их любовь ко всей обширнейшей нашей земле:

В долинах уснувшие села
Осыпаны липовым цветом,
Иду по дороге веселой,
Шагаю по белому свету.

Шагаю по белому свету,
О жизни пою человечьей,
Встречаемый всюду приветом
На всех языках и наречьях.

На всех языках и наречьях
В родимой стране — без изъятья —
Понятны любовь и сердечность,
Как доброе рукопожатье...

Везде я — и гость, и хозяин,
Любые откроются двери.
И где я умру, я не знаю,
Но места искать не намерен.

Под кустиком первым, под камнем
Копайте, друзья, мне могилу.
Где лягу, там будет легка мне
Земля моей родины милой.

5

О стихах краснофлотского поэта Алексея Лебедева [1], написанных простыми, смелыми словами, можно сказать строчками из его собственной «Песни»:

В них яростный балтийский ветер,
И зарево Октябрьских дней,
И лучшее, что есть на свете,
Любовь к республике своей...

Жизнь краснофлотцев Балтики складывается из самых различных частностей и деталей. Но каждая такая частность всегда проникнута общим. И каждое произведение Лебедева — будь то стихи о строевой подготовке краснофлотцев, или об изучении ими морской истории, о часовом радисте, тральщике, о парусе, чайнике или матросском кисете — всегда одухотворено

[1] А. Твардовский, Дорога. Гослитиздат, 1938 г.

[1] Алексей Лебедев, Кронштадт. Гослитиздат, Ленинград, 1939 г.

высокой идеей служения родине, сознанием необходимости неустанно растить ее мощь и множить ее победы.

Возьмем, например, стихотворение «Чайник». В нем идет речь о самом обыкновенном медном чайнике, из которого краснофлотцы наливают себе в кружки самый обыкновенный кипяток. Казалось бы, что здесь поэтического? А Лебедев нашел это поэтическое.

Чайник делится своим теплом с краснофлотцем, промерзшим на посту. И вот обращение поэта-краснофлотца, снова отправляющегося с товарищами на вахту, к «братишке»-чайнику:

Быть может, мы не вернемся,
Бывает все на границе;
Но ты одинок не станешь,
Другие ребята придут
Из Сызрани и из Омска,
Поднявшие знамя балтийцев...

Стихотворение «Морская история» проникнуто сознанием исторической роли советского флота. Напоминая героические страницы морской истории, отмеченные крупнейшими победами, Алексей Лебедев говорит:

Мы тех побед наследники прямые,
Но дальше всех итти нам по морям.
Нас шлет страна на вахты боевые,
И Сталин путь указывает нам.

Обращаясь к революционному прошлому нашего флота (цикл «Флаг союза»), поэт вдохновляется героическими примерами борьбы за утверждение советской власти и, обращаясь к матери-родине, от своего имени и от имени своих друзей по флоту дает горячую клятву верности сыновнему долгу:

Республика! Мы окрепли,
Пришли на твои границы
Счастливые, гордые честью
Быть посланными во флот.

Пускай нас штормами треплет,
Но в море идут эсминцы,
И вахты стоят на месте,
Когда засвистят в поход.

6

Можно назвать и еще немало молодых поэтических имен, для которых тема патриотизма является ведущей темой творчества.

Так, книга К. Симонова «Настоящие люди» [1] является своеобразной галлереей народных героев, которые, презирая трудности и опасности, боролись за счастье своей страны. Таковы кузнец Онцыфор из поэмы «Ледовое побоище» и герой поэмы «Победитель», большевистский полководец Клим Ворошилов, герой гражданской войны Пархоменко и другие. Каждый из этих образов может служить примером для советской молодежи, вдохновляя ее на героические подвиги во имя своей матери-родины.

Хорошие патриотические стихи заключены в небольшой книжке ленинградской поэтессы Елены Рывиной «Двадцать песен» [1]. Песни эти — о комсомоле, о балтийских моряках, о любви, о счастливом материнстве, об изобилии советской земли, где «всюду щедрости черты» и где

К тебе, работник и хозяин,
Густые ветви простирают
Тобой взращенные сады.

Прочувствована «Песня о друге» — песня о Сталине:

Все, что есть у нас, все что дано нам,
Все, что будущий день нам отдаст,
Друг наш волей и сердцем бессонным
Добывал неустанно для нас.
Если свод голубой,
Если счастье с тобой,—
Не забудь о великой судьбе:
Человек этот жизнь свою
Сделал борьбой,
Чтобы солнце светило—
тебе.

Успешно работает над патриотической темой Ан. Исаков [2]. Его «Казачья дума» («Собирались казаченьки, собирались на заре...») стала народной песней, песней советского казачества.

7

Нельзя обойти вниманием и тот факт, что есть среди молодых советских поэтов отдельные товарищи, не понявшие своих задач, блуждающие где-то в стороне от большой дороги, по которой идет наша литература.

Таким блужданием представляется нам поэтическая работа Павла Шубина. Речь идет о его книге «Ветер в лицо» [3].

Тема книги автором определена следующими довольно-таки невразумительными словами (стихотворение «Тема»):

Неправда, не здесь,
Не под лампой настольной,
Нежданная—ты оживешь;
Ты—море и парус,
Ты—звон колокольный,
Ты—под вечер птичий галдеж;

Ты—звонкий к полуночи
Свист козодоя,
Ты—мир сновидений простых,
Где низкие звезды идут под водою,
Как стая ершей золотых.

Само собою разумеется, и море и парус могут быть предметом поэзии, если они

[1] Константин Симонов, Настоящие люди. Гослитиздат, 1938 г.

[1] Елена Рывина, Двадцать песен. «Советский писатель», 1938 г.

[2] Андрей Исаков, Стихи и песни. Северо-осетинское областное издательство, Орджоникидзе 1938 г.

[3] Павел Шубин, Ветер в лицо. Гослитиздат, Ленинград, 1937 г.

служат отправной точкой для поэта, идущего от них к большой и значительной поэтической мысли. Но у Шубина последней как раз и нет. В его стихах не чувствуется никаких высоких стремлений. Единственное его желание:

Просто так, по раскидистым плесам
С непокрытой итти головой,
Чтобы пахло ромашкой и просом,
Чтоб рассвет, залегающий косо,
До конца не иссяк синевой.

Просто так, мимо стриженых пожней,
Широко открывая глаза;
Чтоб следов не хранил подорожник,
Чтобы память ни правдой, ни ложью
Никогда не тянула назад.

Так «просто» и ходит Павел Шубин, не замечая великих дел, творимых на нашей земле. Во всем сборнике можно найти лишь 3—4 стихотворения, в той или иной мере связанные с общественной жизнью страны. Действительно, Шубин прав, когда говорит о себе:

Страна, страна! Не мне права
Воспеть тебя даны;
Я слишком беден на слова,
А те, что есть, бледны.

Очень странное впечатление производит книга стихов другого ленинградского поэта А. Чивилихина [1].

Касаясь тем советской действительности, Чивилихин или ограничивается словесными декларациями («Октябрьская элегия», «Граница») или так отяжеляет свои стихи экскурсиями в древность и сверхглубокомысленными рассуждениями, что трудно бывает понять, о чем, собственно, идет речь.

Вот, к примеру, начало одного стихотворения:

О том до нас дошло повествованье,
Что в Аттике, преданьями богатой,
Три партии враждой непримиримой
Друг другу досаждали. И в одну
Входили все живущие в равнинах,
В другую—все, кто жил в соседстве с морем,
А в третью—все живущие в горах.

Это стихотворение называется «26 июня 1938 года», и только по названию можно догадаться, что посвящено оно выборам в Верховный Совет республики.

Или вот стихотворение «О людях движения» — о танкисте, штурмане, летчике и шофере. Чивилихин ни слова не говорит, о каких танкистах, штурманах, летчиках и шоферах идет речь. Для него они просто «великие служители движения», абстрактные образы, а отнюдь не советские летчик, танкист и шофер.

Стихи Чивилихина лишены страсти и волнения, они не согреты чувством советского патриотизма, которое присуще подлинной советской поэзии.

Ибо любовь к родине и есть та великая страсть, которая способна зажечь сердце читателя.

[1] А. Чивилихин, Стихи. «Советский писатель», 1939 г.

Е. Крекшин

МАЯКОВСКИЙ О ПОЛЬШЕ

У русских и украинцев клич один:
— Да не будет пан над рабочим господин.

Освобождение наших единокровных братьев, трудящихся Западной Белоруссии и Западной Украины, от гнета польских панов — волнующая поэтическая тема.

В хоре советской поэзии в песнях о Красной армии, армии-освободительнице, к сожалению, не звучит живой голос «агитатора, горлана, главаря» Владимира Владимировича Маяковского. Не трудно представить, как бы вдохновили его исторический день 17 сентября, мудрая, наполненная любовью к народу речь главы советского правительства товарища Молотова, переход нашей доблестной армией бывшей польской границы.

Однако стихи больших поэтов не умирают вместе с автором. «Через головы поэтов и правительств» доносятся к нам сегодня стих и речь «лучшего, талантливейшего поэта нашей советской эпохи». И каждый советский читатель слышит его, как стоящего рядом, идущего плечом к плечу.

В книге записей Музея Маяковского в Москве есть такие строки, написанные летчиком-орденоносцем тов. Кукиным:

«Маяковский дорог тем, что он воспитывал нас в духе современности, знал ее, жил ею и поэтому многое предугадывал.

...В будущей войне одною винтовкою нельзя будет драться. Понадобится и искусство, чтоб помогло. А это — то, что в годы гражданской войны и во все последующие годы делал Маяковский».

Следом за Красной армией в освобожденные местности пришли поэты и писатели, композиторы, художники и артисты. Это счастье — нести освобожденному народу дары советского искусства — не выпало на долю Маяковского.

Но оружием поэзии он неоднократно сражался со шляхетской Польшей. Над рабочим столом поэта мы видим портрет— Владимир Ильич на проводах красноармейцев на польский фронт. Стихи Маяковского были на этом фронте. Он видел, как:

Мчится пан и лют и яр,
смерть неся рабочим

но он знал, что:

бить на фронте пановье
мчат красноармейцы.

За девятнадцать лет, прошедшие со времени советско-польской войны (1920 г.), выросла и изменилась наша страна. Высокая культура, прекрасная техника, замечательное овладение ею — все это преобразило нашу армию, вывело ее на первое место в мире.

Но повадки нашего противника, его моральный облик остались без перемен. Шляхтичи ничего не поняли, ничему не научились за эти девятнадцать лет. И кажется, что Маяковский говорит о наших днях, описывая отступление польской армии.

Чтоб жители неповинные остались без хлеба,
пожаром вокзалов задымило небо.
Электрические станции взорвали. Без света,
без тепла киевляне. Не все еще это!
Чтоб люди в муках корчились без воды,
сожрал водокачки огонь и дым.
Теперь оцените Антанты проповедь,
что мы-де
разбойники,
а они—
Европа—ведь!
Культура—коммуна! Строители—мы!
А паны—
погромщики,
сеятели тьмы.

Тогда паны отступали от Киева. Больше им не пришлось увидеть сердца Советской Украины. Но привычка — вторая натура.

Украинские села Круйское и Варен (бывшее Львовское воеводство) и многие другие с такой же злобой жгли польские офицеры, подтверждая, что характеристика, данная им Маяковским, остается справедливой и до сих пор.

И тогда, и теперь шляхта играла лакейскую роль, рассчитывая не столько на свои силы, сколько на помощь своих хозяев — поджигателей войны.

Думал красных пан удавить,
думал пальбою весь мир удивить.
Шлет ему Англия кучи добра:
танки,
людей
и подол серебра.

Как известно, не в коня пошел корм... Не только историей звучат строки Маяковского:

Мчит Пилсудский,
пыль столбом,
звон идет от марша...
Разобьется глупым лбом
об коммуну маршал.
Паны красным ткут петлю,
нам могилу роют.
Ссыпь в могилу эту тлю
вместе с Петлюрою!
Лезут в дрожь вгоняя аж,
на коммуну паны,
да оборвут
об штык
об наш
белые жупаны.
Быть под панским сапогом
нам готовит лях-то.
Да побежит от нас бегом
выдранная шляхта.
Шляхта ждет венец такой.
Ладно,
ждите больше.
А за этой
за войной
быть коммуне в Польше!

«...Польша не имея сил продолжать войну и с тревогой ожидая контрудара красных, оказалась вынужденной отказаться от своих претензий насчет захвата правобережной Украины и Белоруссии и предпочла заключить мир с Россией («Краткий курс истории ВКП(б)», стр. 231). Разбитые паны затаили злобу и при поддержке своих хозяев на Западе продолжали бряцать оружием, обращенным на восток.

И Маяковский правильно оценивал временное вынужденное «миролюбие» польской военщины:

Паны перемирие заключили,
но линию империалистическую не бросили гнуть.
Снова
грозятся
войной
грохнуть.
Как бы
вместо того, чтоб передохнуть,
панам
не пришлось передохнуть.

Маяковский зорко видел подлинную сущность незадачливых правителей Польши, в их наиболее ярком выражении — Пилсудском. В цикле стихов «Маяковская галлерея» дан портрет Пилсудского, являющийся обобщенным типическим портретом пилсудчины — этой язвы на теле польского народа. Стихи были написаны в 1923 году. В 1939 году в Вильно, Брест-Литовске, Львове мы лишний раз убедились, насколько верно они выражают военные качества польского офицерья.

У Пилсудского
нет
никакого роста.
Вернее,
росты у него разные:
маленький—
если бьют,
большой—
если победу празднует.

Победы были неведомы руководителям польской армии. Не на военных фронтах лучше всего проявились их таланты.

Приоткроется челюсть,
жря
или зыкая—
а там
вместо языка—
верста треязыкая.
Почему
уважаемый воин
так
обильно
языками благоустроен?
А потому
такое
языков количество,
что три сапога,
по сапогу на величество,—
а иногда
необходимо,
чтоб пан мог
вылизывать
единовременно
трое сапог:
во-первых—
фошевы
подошвы,
френчу
звездочку шпорову,
да туфлю
собственному
буржуазному
борову.

В этом и заключалась хваленая сила польской армии, превозносимая наемными писаками.

Зато
и сахар
попадает
на носик
этой
злейшей
из антантовских мосек.
То новеньким
заменяет
жупан драненький,
то танк подарят,
то просто франки.
Устрой
перерыв
в хозяйских харчах—
И пес
моментально б
сник
и зачах.

«Перерыв в хозяйских харчах» привел к скандальному поражению польской армии

за несколько дней германо-польской войны. Цена руководителей польского государства и армии стала ясна всему миру. Вместе с Маяковским мы можем сказать:

Не очень ли
портрет
выглядит подленько?
Пожалуй,
но все же
не подлей подлинника.

20 лет панская Польша, — искусственно созданное, нежизнеспособное государство — играла роль одного из горшков на кухне войны, готовившейся специалистами по человеческой бойне. «Хулиганы в мировом масштабе» — так называл Маяковский этих специалистов И добавлял:

Конечно,
должны войти и паны
в опись этой шпаны.
Десяток банд коренится
в лесах
на польской границе.

Он призывал:

Пора
на очередь
поставить вопрос
о делах
мандаринства и панства.
Рабочие мира,
прекратите рост
международного хулиганства!

Сейчас этот вопрос все более и более решается практически усилиями Советского Союза и мирового рабочего движения.

Весной 1927 года Маяковский побывал в Польше. В путевых заметках он пишет:

«Крестьянку Польши под микроскопом не отличишь от белорусских баб. Я видел их работающими и на польской части Белоруссии и на советской. Только проволочные заграждения границы отделяют их».

17 сентября 1939 года эти заграждения рухнули под тяжестью советских танков. В очерке «Наружность Варшавы» Маяковский рассказывает, как они выглядели.

«Единственно, что обще всем кварталам, всем улицам и дорогам и всей Польше— это несомненное количество военных.

Откроешь глаза — сплошное козырянье. Закроешь глаза — сплошной звон шпор».

«Военщина Польши назойлива и криклива. Расширяющиеся вверху, украшенные позументами шапки, перья, вздымающиеся и свисающие, штаны, с диким выпуском, и целая разукрашенная елка — это грудь в орденах.

На обратном пути мы стояли 5 минут на какой-то станции. Станция, очевидно, не застроилась с самой войны. У вокзала всего одна стена и на ней утвержден колокол. Позади стены, как-то сбоку, ютились временные «багажная» и «телеграф». Но на фоне этой одной стены все же стояло каких-то четыре разноцветных жандарма.

Граница.

Я видел множество границ. Вернее, не видел: проезжал не замечая, где кончается одна сторона и где начинается другая.

Польскую границу не заметить нельзя— она вся, во множестве рядов, перевита колючей проволокой.

Но, очевидно, и этого мало.

Еще и еще лежат огромные катушки, ощерившиеся колючками.

Наматывай, сколько влезет...

В кого?»

В стихотворении «Польша» Маяковский отвечает на этот вопрос:

Хотя
по Варшаве
ходят резво,
ни шум не услышишь,
ни спор,
одно
звенит:
офицерский звон
сабель,
крестов
и шпор.
Блестят
позументы и галуны,
как будто не жизнь,
а балет.
И сабля
ясней молодой луны,
и золото эполет.
Перо у одних,
у других тюльпан,
чтоб красило
низкий лоб.
Я, дескать, вельможный,
я, дескать, пан,
я, дескать, не смерд,
не холоп.
Везде
исследуйте улиц тыщи,
малюсеньких
и здоровенных.
Идет гражданин,
а сзади сыщик,
а сзади—
пара военных.
Придешь поесть,
закажешь пустяк,
а сбоку
этакий пялится.
И ежишься ты,
глаза опустя,
а вилку
стиснули пальцы.
Во мне
никакой кровожадности нет,
и я
до расправ не лаком,
но пользы нет
от их эполет
ни миру,
ни нам,
ни полякам.
Смотрю—
на границе
на всякий случай,
пока
от безделья томясь,
проволока
лежит колючая
для наших штанов
и мяс.
А мы, товарищ,
какого рожна
глазеем
с прохладцей с этакой?

До самых зубов
вооружена
у нас
под боком
соседка.

Наблюдения во время поездки показывали Маяковскому экономическую несостоятельность польского государства, созданного и поддерживаемого для целей, не имеющих ничего общего со счастьем польского народа. В очерке «Поверх Варшавы» Маяковский отмечал:

«Польша развивалась, как крупная промышленная часть бывшей России. Промышленность осталась — рынков нет.

На Запад с лодзинским товаром не сунешься — на Западе дешевле и лучше. Западу нужна Польша, как корова дойная, Польша земледельческая.

У многих поляков уже яснеет ответ на вопрос — быть ли советской республикой в союзе других советских или гонористой демократической колонией...»

Ныне трудящиеся поляки, живущие на территории Западной Украины и Западной Белоруссии, вместе со своими братьями по классу голосовали за советскую власть, за сталинскую дружбу народов.

О них писал Маяковский в 1920 году в окне сатиры РОСТА:

Помните, красноармейцы, когда
будете брать их,
о польских рабочих,
наших братьях!
Помните,
встретясь с врагами в поле,
что рабочие
идут
не по доброй воле.
В бараний рог их в Польше гнут,
воевать их гонит
только кнут.
Образуются, очутившись на нашем
месте,
и в панов
ударят
с нами вместе!
Бей панов,
к победе иди!
Но если
в плен—рабочий,—
щади!

Гуманное отношение нашей армии к пленным, к населению известно всему миру. Панским небылицам о жестокостях красных никто не поверил. Панская Польша рухнула, раздираемая национальными и классовыми противоречиями. Эти противоречия блестяще вскрыты Маяковским в стихотворении «Чугунные штаны»:

Саксонская площадь;
с площади плоской,
парадами пропыленной,
встает
металлический
пан Понятовский—
маршал
Наполеона.
Штанов нет.
Жупан с плеч.
Конь с медным хвостом.
В правой руке
у пана
меч,
направленный на восток.
Восток—это мы.
Восток—Украина.
Деревни
и хаты наши,—
и вот
обратить
Украину
в руины
грозятся
меч и маршал.
Нам
драться с вами—
нету причин,
мы
братья польскому брату.
А будете лезть,
обломаем мечи
почище,
чем Бонапарту.
Не надо нам
вашего
ни волокна.
Пусть шлет вас
народ,
а не клика,—
и, сделайте милость,
пожалуйте к нам,
как член
всесоюзного ЦИК'а.
А если вы
спец
по военной беде,
под боком—
врагов орава,
ваш меч
оберните
на Бельведер,
градусов на девяносто
вправо.
Там маршал
и лошадь
с трубою хвоста
любого поляка
на русского,
за то,
что русский
первым восстал,
оттуда
будут науськивать.
Но в Польше
маршалов
мало теперь —
трудящихся
много больше,
и если
ты
за Польшу,
тебе
придется
с нами стоять теперь
вдвоем
против панской Польши.
А памятники есть и у нас.
Это—
дело везения.
И брюки дадим
из чугуна-с;
заслужишь
и стой...
До видзения!

7 июня 1927 года в Варшаве был убит наш полпред тов. Войков. Стихотворение Маяковского «Слушай, наводчик» разоблачает подлинных хозяев шляхетской Польши, так позорно обанкротившихся в наши дни:

Читаю...
Но буквы
казались
мрачнее, чем худший бред:
«Вчера
на варшавском вокзале
убит
советский полпред».
Паны воркуют.
Чистей голубицы!
— Не наша вина, мол...—
Подвиньтесь, паны
мы ищем тех,
кто револьвер убийцы
наводит на нас
из-за вашей спины.
Не скроете наводчиков!
За шиворот молодчиков!
И видим:
на плитах,
что кровью намокли,
стоит
за спиной
Чемберлен в монокле.
И мы
тебе,
именитому лорду,
тебе
орем
в холеную морду:
— Смотри,
гроза поднимается слева,
тебя
не спасет
бронированный щит!
Подняв
площадями
кипения гнева,
народ
стомилльонный
от боли рычит.
Наш крик о мире—
не просьба слабых,
мы строить хотим
с усердьем двойным.
Но если
протянутся ваши лапы
и нам навяжут
ужас войны,—
мы Войкова красное имя
и тыщи других
над собой,
как знамя наше подымем
и выйдем
в решительный бой.

И вместе с нами выйдут миллионы трудящихся освобожденной Западной Украины и Западной Белоруссии и миллионы трудящихся всего мира, чтоб раз навсегда покончить с поджигателями войны.

В этих боях стихи великого советского поэта будут звучать, как боевой марш.

С. Евгеньев

ПОЭТ-АГИТАТОР

(Толен Шамшиев. Город Алатоу. Перевод с киргизского. Гослитиздат, 1939)

За последние годы творчески вырос и возмужал молодой, талантливый киргизский поэт Толен Шамшиев. Его первые стихи появились на страницах печати в 1932 году. Ныне Толен Шамшиев — автор шести сборников стихотворений.

Интересна биография поэта. Родился он в 1913 году в Куршабском районе, на юге Киргизии. Рано осиротев, он испытал не только горе и тяжкую нужду, но и тяжесть недетского труда. Оборванный, голодный и истощенный, он пас стада баев. Толен рос, как росли тысячи сыновей и дочерей порабощенного родного ему народа. После Октябрьской революции беспризорный мальчик поступил в детский дом. Проходят годы. Толен — студент педагогического техникума: здесь он начинает писать стихи. В 1934 году вышла в свет его первая поэма «Отуз Адыр».

Сила Шамшиева — в простоте и искренности. Шамшиев всегда говорит о пережитом и перечувствованном. Поэту в высокой степени свойственны живая, пытливая, мысль, серьезная разработка темы. Чувство родины у поэта весомо и действенно: оно соединено с образами близкой ему действительности, с ощущением колорита земли, на которой он живет. Он дает непосредственный образ Советской Киргизии.

Стихи Шамшиева, вошедшие в книгу «Город Алатоу» (первый сборник стихов в русских переводах), славят новую жизнь, новых людей, новый быт. Он поет о великой партии Ленина — Сталина, до неузнаваемости изменившей жизнь киргизского народа, открывшей многим и многим Толенам прекрасную дорогу к счастью. Очень показательны стихи, посвященные поэтом товарищу Сталину: в них вдохновенно выражены чувства, которые питают к нему не только киргизский народ, но и все трудящиеся люди. Толен Шамшиев находит простые, но трогательные слова в их безыскусственном сочетании, понятные и близкие всем народам.

В одном из самых популярных стихотворений «Товарищ Сталин» поэт восклицает:

Политиками пастухи-киргизы стали,
Лепить, играть, слагать стихи киргизы стали!

Толен Шамшиев сам является ярким олицетворением этой мысли: бывший пастух, ныне поэт — депутат Верховного Совета своей республики...

Важное место в творчестве Шамшиева занимают стихи о колхозной деревне, о ее людях. Поэт знает и любит деревню. И героями его стихов и поэм являются реальные люди обновленной земли—стахановцы, чабаны, хлопководы, колхозницы. Жизненно правдив образ Зейнеп, бывшей батрачки, ныне строительницы новой жизни, из поэмы «Торжественный день». С лирическим волнением воспевает поэт жизнь киргизских женщин-колхозниц и в стихотворении «Кундузкан» и в поэме «Сестра».

Воспитанный ленинским комсомолом, Шамшиев в своих произведениях любовно воспел молодежь. Толен Шамшиев выступает как продолжатель славных традиций киргизских народных певцов и импровизаторов.

Сборник «Город Алатоу» свидетельствует о том, что поэт хорошо владеет ритмом стихотворной речи. Однако надо отметить некоторую бедность словаря. Нередко хороший образ или сравнение теряются среди поверхностных или просто трафаретных.

И. Сац

«ГОРНАЯ ДОРОГА»

(Илья Мухачев. Горная дорога. Стихи. «Советский писатель», 1938

Илья Мухачев — один из наиболее известных поэтов советской Сибири. Притом он принадлежит к числу тех писателей, чье творчество, не теряя общего значения, имеет ярко выраженный «местный» характер: в стихах Мухачева всегда чувствуется его родина.

У Ильи Мухачева несомненное чувство природы:

В долине той, где светлые, босые,
Шумят березы около ключа,
Я наблюдал, как пробиралась Бия
Меж берегов, сердито грохоча. (Стр. 3.)

Или:

. . . . . .
Хорошо пасти коней.

Вороной в густой осоке
Над водой заносит ногу.
Молча лиственник высокий
Уступил ему дорогу. (Стр. 27.)

В небольшой книжке можно найти немало строк, где есть подлинно поэтическое внимание к окружающему миру. Притом Илья Мухачев — поэт культурный, владеет различными формами стиха и редко грешит против их законов. Правда, бывают у него непонятные фразы, вроде:

Я там бродил, смеялся незабудкам,
Что рождены не бегать, не летать...

— то-есть пустые мысли, какие могут быть производимы в бесконечном числе, если высказывать, например, ту истину, что рыба «не рождена» бродить по саду, а орел «нерожден» сидеть в кресле за столом. Но эти неудачные строки не определяют книгу в целом, как и пристрастие поэта к некоторым словам, повторяемым слишком часто: «Рассыпался зернистый водопад...» (3), «По рассыпанному следу...» (21), «Над россыпью овец...» (24), «Рассыпанными табунами откормленных коней...» (25).

Эти недостатки искупаются такими строками:

Прошли года. Я снова здесь.
Бежит река, волной играя,
Маральник начинает цвесть,
Чабан поет весну Алтая.
Над тальником береговым
Утес, туманами повитый, —
Я узнаю его: под ним
Мои тов рищи зарыты.
. . . . . .
И, подавляя сердца боль,
Я молча кланяюсь утесу...
(Из поэмы «Знакомые места», стр. 45—46).

Но, несмотря на наличие в сборнике «Горная дорога» интересных, творчески свежих стихотворений, по нашему мнению, во многих из них есть один общий порок. И. Мухачеву редко удается развитие лирической мысли. Пейзажи бывают хороши; но это — картины, в них нет внутреннего движения, которое связывает с природой судьбу человека или человеческое чувство. Цитированный нами отрывок из поэмы «Знакомые места», как и стихотворение «Каторжанин», в этом смысле, лучшее, что есть в книге. Но уже, например, «Октябрь» поверхностен и риторичен:

Он — в каждом из нас. Он — в цветеньи
Тех звезд, что в аулах зажглись.
Он — наша любовь и рожденье,
И песня, и слава, и жизнь.
Стоишь ли в логу со стадами,
Глядишь ли на травы долин,
Все кажется: вровень с горами
Ты вырос — земли гражданин.

Это еще не мысль, а неподвижное чувство, ждущее, чтобы его действительное значение раскрылось в реальных, жизненных образах. Дальше автор говорит о «веселой, светлой школе, где учатся дети твои», но

сейчас же вновь возвращается к одической отвлеченности первых строк:

И вновь сознаешь ты: все это —
Леса, что синеют кругом,
И горы, и свежесть рассвета —
Стране твоей, в сказках воспетой,
Великим дано Октябрем. (Стр. 23.)

На самом деле леса, горы, рассвет существовали и до социалистической революции в нашей стране. Приписывая ей то, чего она, конечно, сама никогда не ставила себе в заслугу перед историей, перед народом и обходя ее действительное содержание, поэзия лишь умаляет ее величие.

Ему нехватает живого, органического чувства, глубокого художественного понимания жизни людей в природе. Он любит и людей, и природу и делает попытки найти, в чем их единство. Но его попытки еще не увенчались успехом. Он все еще довольствуется слишком примитивными решениями. Это либо риторика, представляющая собой по существу отказ от задачи; либо мысль о господстве человека над природой, но выраженная отнюдь не в такой форме и к тому же упрощенно:

Опять иду тропой, лесами.
Душистые в начале дня,
Фиалки синими глазами
Пугливо смотрят на меня.

Почуяв запах незнакомый,
Спустилась выдра в водоем,
Ей чудятся раскаты грома
В движеньи, в голосе моем.

А я свободно этой глушью
Иду — и тем душа горда:
Я — человек, и мне послушны
Растенья, звери и вода.
(«Человек», стр. 39.)

Здесь понимание «господства» выражено в детски-примитивной форме, и потому даже забавно. Но автор чаще варьирует тему:

И железная лопата
В каменную грудь,
Добывая медь и злато,
Врежет страшный путь.

И если у Лермонтова эта мысль сложна, то у И. Мухачева в ней есть легкость и лихость, есть даже какая-то недобрая радость при виде того, как гибнет родная красота.

Из страницы в страницу рассказывается о динамите взрывающем недра. Спору нет — разработка недр имеет первостепенное значение. Но динамит — это еще недостаточное средство для поэтического понимания природы и для того, чтобы определить отношение к природе современного, социалистического человека.

Труд, терпеливое изучение природы, поиски в ней источников для улучшения человеческой жизни, так называемая «борьба с природой» не имеют ничего общего с ожесточенным и злобным культом «господства». Эти чувства были в равной степени чужды и великим ученым, экспериментаторам, овладевавшим природой, и великим изобретателям, и великим поэтам, думавшим о «победе» над неизученными силами природы. Всюду, где есть глубокое понимание природы, есть к ней и любовь, и сознание ее величия, неисчерпаемой силы, есть отношение к человеку, как «сыну природы».

Чуждо поэзии и не имеет ценности то ожесточение, с каким Мухачев валит кедры и топчет землю. В «борьбе с природой» поэтичен труд: он тяжел, но благороден, он настойчив, но не злобен, в нем нет упоения разрушением самим по себе, — и он не противопоставляет так жестко и враждебно природу и человека, как это делает И. Мухачев, лишая свою тему ее истинного содержания.

Нам кажется, что автор рецензируемой книги не найдет искомой связи, следуя по избранному теперь пути.

Должно быть, в лирической поэзии необязательно прямое сопоставление человека с внечеловеческим миром.

Каким теченьем вас пригнало?
Где растеряли пыл грозы?
Но облака молчат, по скалам
Развесив белые усы.

Пускай молчат — устали... дремлют.
Плывя на север табуном,
Они не раз поили землю
Косым сверкающим дождем.

Эти строфы из стихотворения «Облака» как образец поэзии — не очень хороши. Но в них есть и достоинство: несмотря на то, что в них не выступает человек персонально, они, по нашему мнению, много человечней и поэтичней, чем те стихи, где автор хотел спеть гимн человечеству, изображая его упрощенно и односторонне.

Уполн. Главлита А-21961. Сдано в набор 27/X—10/XI 1939 г. Подп. к печати 19/XII 1939 г Бумага 70×101 см. 1/16 доля. 15 п. л. по 59 т. зн. М. Г 130 Нар. 970. Фабрика юношеской книги изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», ул. Фридриха Энгельса, 46. Тираж 35 000 экз. Технический редактор И. И. Соленов. Корректоры И. Кудашев и М. Соколова.

Цена 3 руб.

Адрес редакции: Москва, Центр, Новая площадь, д. 6.
Телефон К-1-14-33.